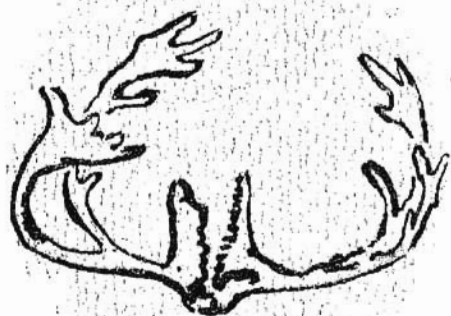


РЫТХЭУ

ЧУКОТСКАЯ САГА



Авторизованный перевод
А. Смоляна

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Ленинград 1957

Рисунки В. Петровой



I

ОКОШКО

Старый Гэмалькот сидит у входа в свою ярангу и, тихонько напевая, строгаёт чурку; давно уже пора подновить нарты, — с правой стороны двух копыльев не хватает.

Правда, сейчас весна, нарты еще не скоро понадобятся. Но недаром русские говорят: «Готовь сани летом...» Правильно говорят! Плох тот хозяин, который вспоминает про свои сани только тогда, когда выпадет снег. Гэмалькот не из таких, — он хозяйственный человек. Он даже лета не будет дожидаться, а приведет свои нарты в полный порядок весной, перед тем как убрать их на теплые месяцы.

— Из этой чурки хороший копыл выйдет, — напевает старик, — крепкий копыл выйдет, ладный...

Он перестает строгать, поднимает голову и видит, что вдоль стойбища идут домой его сыновья — молодой охотник Унпэнэр и школьник Йорэлё. Унпэнэр бережно, обеими руками несет большой кусок оконного стекла, а Йорэлё со своей школьной сумкой из нерпичьей кожи не идет, а прямо-таки пляшет вокруг старшего брата.

То справа забежит, то слева. И всё норовит притронуться к стеклу — делает вид, будто помогает нести.

Гэмалькот встает, стряхивает с кухлянки стружки и входит в ярангу. У очага хлопочет его жена Нутэнэут. Старик пододвигает поближе к очагу китовый позвонок, уже много лет с успехом заменяющий ему табуретку, садится и говорит:

— Несут всё-таки.

Нутэнэут понимает, что он расстроен. А ведь как весело напевал только что, строгая чурку! Но стоит ли показывать, что она заметила перемену в его настроении? Как о чем-то совсем ей не интересном, она спрашивает:

— Что несут?

— Что? Будто не знаешь!

Старик подозрительно смотрит на жену, — скорее всего она с сыном заодно. Он разгребает щепкой угольки, откатывает один из них, берет его заглубевшими пальцами и кладет в свою трубку. Закурив, он собирается, наконец, ответить, но в это время на него нападает приступ кашля. А когда приступ кончается, отвечать уже не надо: сыновья пришли. Унпэнэр осторожно опускает стекло на земляной пол и, прислонив его к стене, говорит:

— Вот. Принесли.

Никто не откликается. Отец взглядывает на Унпэнэра так, словно тот принес в ярангу не оконное стекло, а по меньшей мере бешеную собаку. Затем отворачивается к огню и снова начинает кашлять, хотя, по совести говоря, мог бы уже и не делать этого.

Йорэлэ чувствует, что между отцом и старшим братом назревает ссора. А ему так не хочется, чтобы они ссорились! Правда, Унпэнэр спокойно счищает грязь, налипшую на торбаза; отец покуривает трубку; мать, как ни в чем не бывало, продолжает возиться у очага, от которого уже доносится аппетитный запах вареного моржового мяса. Никто еще не сказал ни одного худого слова. Но Йорэлэ чувствует, что гроза вот-вот разразится. Ему не по себе.

Йорэлэ мечтал о том, что, придя домой, они с Унпэнэром сразу же возьмутся за сооружение окна. Об этом, конечно, сейчас лучше и не заикаться. Хорошо бы сейчас рассказать что-нибудь, чтобы нарушить эту напряженную, неприятную тишину... Но, как назло, Йорэлэ ни-

чего не может вспомнить: в школе его сегодня не вызывали, ничего интересного, кажется, не произошло.

Йорэлё снимает с себя школьную сумку. Из нее торчит свернутый трубкой лист бумаги — большая журнальная иллюстрация, которую Йорэлё еще утром выменял у товарища на красный карандаш. Как же он мог забыть об этом?! С тех пор, как он встретил Унпэнэра, несущего стекло, всё остальное сразу вылетело у него из головы.

— Смотрите! — радостно кричит Йорэлё, разворачивая иллюстрацию и старательно разглаживая ее ладонью на низеньком столе. — Это я у Марата выменял. Его отец в Уэлен ездил, оттуда привез. Смотрите!

Нутэнэут и Унпэнэр склоняются над большой, во всю журнальную страницу, цветной фотографией. Йорэлё читает:

— «Москва сегодня. Высотное здание Московского университета на Ленинских горах».

— Вот это да! — говорит Унпэнэр и, медленно ведя по фотографии пальцем, начинает считать этажи: — Раз, два, три...

— Тридцать девять этажей! — восклицает Йорэлё. — Я считал! Марат говорит, — тридцать восемь, а я пересчитал, — выходит тридцать девять.

— Не сбивай, — отмахивается Унпэнэр, снова переставляя палец на первый этаж.

— До самого неба дом! — тихо произносит Нутэнэут. — До самых облаков! А что это внизу? Машины?

Гэмалькот тоже с удовольствием поглядел бы на эту картинку. Интересно посмотреть, как выглядят новые московские дома. Но подойти и посмотреть через плечи сыновей он считает ниже своего достоинства. К тому же они могут истолковать это как шаг к примирению. Подумают, чего доброго, что можно начать разговор насчет окна... Притащили, несмотря на все его возражения, стекло... Нет, он вовсе не собирается простить их так скоро!

А что касается картинки, так могли бы, если уважают отца, сами подойти и показать ему. Рассматривают, будто они тут одни.

Старый Гэмалькот неправ на этот раз. И жене и сыновьям очень хотелось бы показать ему, какой огромный, какой красивый дом построили в Москве. Нутэнэут даже

подталкивала к нему младшего сына. Но Йорэлё, видя, что отец всё еще сердится, не решается подойти.

Нутэнэут возвращается к очагу: пусть старик не думает, что она против него, пусть не чувствует себя одиноким в семье. А картинку она успеет досмотреть и после, когда старика не будет дома, или тогда, когда душа его снова станет веселой и доброй.

— В самом деле тридцать девять! — восхищенно произносит Унпэнэр, кончив считать этажи.

Гэмалькот знает, что в Москве строят новые здания необычайной высоты. Недавно, когда на стойбище приезжала передвижка, он даже видел кинохронику, в которой показывали, как строят один из таких домов. Но дом этот еще не был закончен, к тому же на экране всё промелькнуло слишком быстро. Тридцать девять этажей? Нет, эта цифра кажется Гэмалькоту невероятной; тем более, что ее называет Унпэнэр. Что бы ни сказал сейчас Унпэнэр, даже если бы он вспомнил, что пора обедать, отец не смог бы согласиться, хотя и сам уже порядочно проголодался.

— Что? — переспрашивает он. — Тридцать девять? Нарисовать можно всё, что хочешь. Хоть все сорок.

— Так ведь это не нарисовано, это фото! — говорит Йорэлё, обрадованный тем, что отец вступил всё-таки в разговор. — Вот посмотри. Это вправду такой дом. Высотное здание!

Мальчик произносит это с таким жаром, с такой гордостью, будто он, чукотский пионер Йорэлё, своими руками построил этот чудесный дом.

— «Высотное», — повторяет отец. — Эх ты, школьник! В пятый класс переходишь, а по-русски правильно говорить не умеешь. Не «высотное» надо говорить, а «высокое».

Йорэлё очень уважает отца. Гэмалькота в колхозе все уважают. Но печатному слову мальчик верит еще больше. Отец всё-таки иногда ошибается, а всё то немногое, что до сих пор успел прочитать Йорэлё, было правдой, умной и светлой правдой.

— Нет, высотное, — тихо, но убежденно говорит он. — Тут так напечатано.

К счастью, Нутэнэут уже приглашает обедать. Семья садится вокруг приземистого столика. Некоторое время едят молча. Потом Унпэнэр спрашивает:

— Ну, где окно будем делать?

— Нигде не будем делать. И довольно об этом разговаривать. Нечего ярангу дырявить.

— Я всё равно сделаю. Не хочу больше в темноте жить.

— Не хочешь с нами жить — строй себе другую ярангу. Живи тогда, как хочешь. А тут я хозяин.

Так и есть. Ссора всё-таки разгорелась. И Йорэлё, глубоко обиженный за брата, говорит, укоризненно поглядывая на отца:

— А еще член правления!.. Если Унпэнэр уйдет, я тогда тоже уйду.

— Вот как? — старик гневно смотрит на младшего сына, потом на старшего. — Вот как? Старший против отца идет и младшего за собой тянет? — Он тяжело переводит дыхание и немного спокойнее продолжает: — Пустое дело ты затеял, Унпэнэр. Подумай сам. Одну дыру в пологе пришлось бы делать, другую — в самой яранге. А как зимой будем жить? Холодно будет, замерзнем. Где это видано, чтобы в яранге окно делать? Соседи нас на смех поднимут! Вон у Атыка сын — студент, а не гнушался в простой яранге жить, без всяких окон.

— Тылык за два года один только раз приезжал. Если бы он всегда тут жил, обязательно вставил бы. И я вставляю.

— Нет, не вставишь!

— Нет, вставляю. Всё равно вставляю! Человек немышь: не должен света бояться, не должен в темной норе прятаться.

— Значит, мы, по-твоему, мыши? Да? — Гэмалькот резко поднимается и так отшвыривает ногой китовый позвонок, что тот отлетает до самой стены. — Ну, Унпэнэр, говори! Мыши? Молчишь? Слышишь, Нутэнэут, сын мышами нас называет. Дожили! Родная яранга для него, оказывается, — темная нора. А где ты вырос? Не в яранге? В высотном доме? Да кто ты такой? Мальчишка, щенок паршивый — вот кто ты такой! Зазнался! Я тебе покажу, кто здесь хозяин!

В ожесточении Гэмалькот бросает на пол трубку, подбегает к стеклу и с силой ударяет в него ногой. Сквозь намернувшиеся на глаза слезы Йорэлё видит отблеск огня в одном из осколков, упавшем возле очага.

Гэмалькот понемногу успокаивается. Он даже чуточку жалеет о том, что так разбушевался. «Ничего, — подбадривает он себя, — пускай знает. Пускай помнит, кто в семье старший».

— Вот и весь разговор, — произносит Гэмалькот. — Вот и всё твоё окно.

Унпэнэр не отвечает. Старик нагибается, поднимает трубку и выходит из яранги.

Нутэнэут убирает со стола посуду. Йорэлё время от времени вопросительно поглядывает на Унпэнэра: «Что же теперь будет?» Но Унпэнэр даже не замечает его вопрошающих глаз. Тяжело сдвинув брови, молодой охотник смотрит на костерок, догорающий в очаге. Брови сдвинуты так, что две большие родинки, примостившиеся у него над переносьем, почти слились в одну. Йорэлё знает, что когда эти родинки сходятся, старшего брата лучше не трогать.

* * *

Гэмалькот шагает посреди улицы, сердито поглядывая по сторонам.

Уже скоро год, как старого Гэмалькота выбрали в правление колхоза. Правление поручило ему заведовать общественным хозяйством. Вамче — председатель колхоза — сказал тогда так:

— Мы тебя знаем, Гэмалькот. Мы спокойно можем доверить тебе такое ответственное дело. Общественное добро — это основа всей колхозной жизни. Мы его можем доверить только опытному человеку, хозяйственному.

Как тут было не согласиться?

Вначале Гэмалькот боялся, что не сумеет справиться. Если бы не колхозный счетовод Рочгына, он определенно запутался бы. Но у аккуратного Рочгыны всё колхозное имущество было на строгом учете. Всё было занесено в его «говорящие листочки» (как называли старики любую бумагу, на которой что-нибудь написано).

А имущество было такое, что в старые времена даже сам хозяин стойбища не мечтал о подобных богатствах. В тундре пасется хорошее оленьё стадо; в земляных хранилищах лежат запасы мяса; на берегу прочно закреплены вельботы, выкрашенные белой краской; байдары, обтянутые моржовой кожей, подняты на высокие подмостки, чтоб не добрались охочие до кожи собаки; в колхозной мастерской у механика Кэлевги стоят бле-

стоящие рульмоторы... Всего не перечислишь. Большим хозяйством заведует Гэмалькот, много добра у колхоза «Утро»!

Колхозники, выбравшие Гэмалькота, не ошиблись в нем. Он взялся за дело по-хозяйски. Первыми почувствовали это мотористы: бензин стал отпускаться строго по норме. Старик разузнал, сколько горючего полагается на километр, и заставлял мотористов отчитываться за каждый израсходованный литр. Вскоре он ввел еще новое правило: потребовал, чтобы охотники возвращали все стреляные гильзы. Вначале мотористы и охотники поворачивали, попробовали даже жаловаться председателю Вамче. Но потом подчинились и стали уважать Гэмалькота еще больше, чем раньше.

Гэмалькот вечно хлопотал, старался, чтобы всё колхозное имущество было в образцовом порядке, ругал нерадивых, нисколько не заботясь о том, нравятся им его выражения или не нравятся. А выражения бывали всякие.

Уж кто-кто, а Гэмалькот не был врагом нововведений. Разве молодые охотники, привыкшие ходить в море на моторных байдарках, могут по-настоящему ценить мотор? Вот если бы пришлось им, как приходилось в молодости Гэмалькоту, до кровавых мозолей, до обмороков поработать веслами, тогда поняли бы, какая замечательная штука — мотор. Или, например, новые ружья. Знала бы молодежь — только не понаслышке, не по рассказам стариков, а по тяжелому опыту, по глубоким шрамам на своем теле, — с каким оружием приходилось охотиться в прежние времена! Тогда не ленились бы лишний раз почистить ружье, смазать его как следует.

Моторы, новые охотничьи ружья — это, конечно, нужные вещи, стоящие. Да мало ли нового приходит в чукотские стойбища! Взять хотя бы кино. Гэмалькот любит кино; каждый раз, когда приезжает передвижка, он радуется почти так же, как Йорэлё, хоть и старается, чтоб никто этого не заметил.

Бревенчатые дома Гэмалькот тоже одобряет. Что говорить, дом и просторнее яранги и светлей. Пожалуй, что и теплее, если, конечно, хорошо проконопачен мохом. Школа для стойбища — первейшее дело, а для школы, каждому ясно, требуется именно дом, а не яранга. Правдлению колхоза тоже, конечно, удобнее в доме. ...

Но переселяться в дома для жилья — это Гэмалькот считал излишней роскошью. Ведь лесов на Чукотском полуострове нет, — все материалы пароходами привозят, издалека. Это во сколько же обходится провоз каждого бревна?

И так ли уж плохо жить в яранге? Зайдешь в нее — сначала в сенки попадешь. Тут очаг, тут вдоль стен припасы хранятся. Отсюда можно во внутренний шатер пройти — в полог. В пологе жирники горят, от них и светло и тепло... Испокон веку жили чукчи в ярангах, а теперь вот многие в дома потянулись.

А другие в дедовские яранги мебель тащат. Кровати, например. И деды и отцы без кроватей обходились, и Гэмалькоту трудно на старости лет менять свои вкусы, видеть, как изменяется привычная обстановка. Ведь и так хорошо стало жить — сытно, богато. Что ж еще нужно людям?

Старик ускоряет шаги, чтобы Эйнес и Ринтувги, стоящие у школы, решили, будто он идет куда-то по делу. К тому же быстрая ходьба, говорят, успокаивает. Но растревоженные мысли не хотят успокоиться. Опять и опять возвращаются они к одному и тому же — к тому, как быстро меняется всё вокруг. Старик усмехается про себя, вспоминая, как появилась кровать в его собственной яранге.

Унпэнэр привез ее с полярной станции. То ли купил там у кого-то, то ли какой-то приятель, уезжая с зимовки, подарил ее Унпэнэру на прощание. Кровать была не новая, — шарики, украшавшие ее спинки, кое-где промялись, — но всё же ярко и весело поблескивали никелировкой.

По крайней мере, половину первой ночи кровать эта никому не дала спать. Улеглись на нее Унпэнэр и Йорэлё. С непривычки они поминутно ворочались, и нисимовсрный скрип поминутно наполнял ярангу. В конце концов отец встал, молча стащил с кровати младшего сына и уже хотел взяться за старшего, но тот соскочил сам и помог отцу выдворить из полога в сенки это злополучное ложе. После этого сыновья постелили себе, как обычно, на полу, завернулись в меховые одеяла и сразу же уснули.

Однако на следующий вечер кровать снова была в пологе. Чуть не полдня Унпэнэр и Йорэлё провозились

с ней — чистили, смазывали. С тех пор она вела себя вполне прилично, тихо.

Потом Унпэнэр смастерил из жести колпак с вытяжной трубой, чтобы дым от костра сразу уходил наружу, а не плавал в сенках, под сводом яранги. Еще через некоторое время он притащил столик — не приземистый, на котором можно обедать даже сидя на полу, а высокий, чуть не по пояс Йорэлё.

Водворение столика прошло не совсем гладко: на неровном, покрытом моржовой шкурой земляном полу он ни за что не хотел стоять спокойно. Однако Йорэлё заявил, что ему для приготовления уроков необходимо отдельное место, что, занимаясь на полу, трудно писать без клякс. Это подтвердил и Всеволод Ильич — школьный учитель математики, ровесник и приятель Гэмалькота. Унпэнэр и Йорэлё долго ползали вокруг столика на коленях — подбивали снизу кусочки кожи, выравнивали землю, пока он не стал, наконец, крепко на все свои четыре ножки.

Гэмалькоту было очень смешно видеть, как его младший сын занимается за этим столиком, сидя на высоком табурете. «Будто птица на жердине», — смеялся старик. Но Йорэлё уверял, что ему удобно.

«Хорошо, — думает Гэмалькот, — пусть сидит на своем табурете, если ему удобно. Хотя, скорее всего, мальчишка врет: не может быть, чтобы на табурете было удобнее, чем на полу. Знает, что русские так сидят, вот и старается подражать. Впрочем, может быть, писать и в самом деле лучше за столиком? Когда пишешь на ровном, так и строчки получаются ровнее... Ладно, пусть Йорэлё занимается, как хочет. А насчет окна — нет, об этом пусть и не мечтают. Тут уж я не сдамся».

Гэмалькот идет по поселку, недовольно поглядывая на мальчишек, гоняющих мяч, на собак, бегающих вдоль берега, на море. Море кажется слишком сумрачным — пожалуй, к ночи буря разыграется; глаза у собак злые, можно подумать, будто для них не хватает корма; мальчишки не делом занимаются: у них, может, завтра экзамен, а они мяч гоняют... Наверно, это те, на которых жаловался Севалот. Провалятся на экзамене, тогда будут знать...

А попробуй им хоть слово сказать, — они тебе сразу десять в ответ. Один скажет, что им ничего не задано,

другой — что он уже всё выучил, а третий, чего доброго, спросит, знает ли сам Гэмалькот все те премудрости, которым учат в школе. И Йорэлэ таким же растёт: чуть что — сразу начинает спорить с отцом. Впрочем, с Йорэлэ нетрудно было бы справиться, если бы старший не сбивал его с толку. Он во всем за старшим тянется, за Унпэнэром. Наверно, сидят сейчас оба над разбитым стеклом и на все лады ругают отца. А Нутэнэут, вместо того, чтобы заступиться за него, наверно, молчит.

То ли от этих мыслей, то ли по другой причине, Гэмалькот поперхнулся дымом собственной трубки. А прокашлявшись, заметил, что вышел уже за пределы поселка. Куда же теперь идти? Ах да, Вамче просил присмотреть место для нового мясохранилища.

Старик направляется дальше, как будто можно уйти от своих мыслей. Нет, от них и на самолете не улетишь! Нехорошо, когда нет мира между отцом и сыновьями. Конечно, из Унпэнэра получился неплохой охотник. Об этом и говорить нечего. А кто его научил? Разве не отец? Уж больно Унпэнэр зазнался в последнее время. Особенно — после того, как его назначили бригадиром. Гэмалькот предупреждал тогда. «Не назначайте, — говорил, — молод он еще. Если бригада молодежная, так это не значит, что и бригадир должен быть мальчишкой. Наоборот, пусть хоть бригадир у них будет солидный, опытный». Не послушали, назначили всё-таки. Вамче тогда сказал: «Для тебя, Гэмалькот, он еще долго будет мальчишкой. А для всего стойбища он уже давно — вполне самостоятельный охотник. Лучшего бригадира мы не найдем».

Вот и стал парень зазнаваться. Другой бы на его месте спросил, посоветовался бы с отцом. Так, мол, и так, не сделать ли нам окно в яранге? Тогда совсем другой был бы разговор, можно было бы спокойно обдумать это дело. А Унпэнэр советоваться не хочет, напролом лезет... «Самостоятельный охотник»!

Гэмалькот совсем не помнит сейчас, что сын начинал именно так — с вопросов, с попыток договориться. Уже месяца два прошло с тех пор, как Унпэнэр впервые заговорил относительно окна. Но тогда Гэмалькот вовсе не обнаруживал готовности «спокойно обдумать это дело». Сначала он только посмеивался над замыслом сына, а потом, когда тот заговорил серьёзнее, просто велел

«выкинуть это из головы». Теперь же он помнит только сегодняшний разговор.

«Грозился, что всё равно вставит, — думает старик, стараясь доказать себе, что не зря рассердился на сына, не зря разбил стекло. — Принес, распорядился, как хозяин. Йорэлё помогал ему где-то стекло добывать, Нутэнэут тоже, наверно, обо всем заранее знала. Один я не знал, будто я в своей семье — последний человек. Принесли подарочек, обрадовали отца. Хорошо, что я остался нарты починять. А если бы я в тундре был, на охоте? Дождаться не стали бы, сразу бы продырявили ярангу... Так вот же нет, Унпэнэр, не по-твоему вышло!»

* * *

Гэмалькот ошибался, полагая, что сыновья ругают его на все лады, а жена молчит. Они не ругали его — по крайней мере вслух, а она не молчала. Всё было как раз наоборот: Нутэнэут сурово отчитывала сыновей за непочтительность, за то, что «довели отца», а они мрачно помалкивали.

— Прав отец или неправ, а разговаривать надо спокойно, — сказала Нутэнэут.

Унпэнэр тяжело вздохнул.

— Поднял крик на весь поселок, — продолжала она. — «Нет, вставляю, вставляю!» Даже слушать стыдно было!

Йорэлё загнул пятый палец, так как Нутэнэут сказала это уже в пятый раз. Он приготовился продолжать счет на другой руке, но Нутэнэут вышла из яранги, чтобы кинуть собакам остатки обеда.

Унпэнэр присел на корточки, поднял самый большой кусок стекла, осторожно смахнул с него мелкие осколки. Йорэлё присел рядом и спросил:

— Ничего теперь не выйдет?

— Одна шибка, может, и вышла бы. Для полога.

— Одна?

— Да.

— А что такое «шибка»?

— Это... — Унпэнэр немного задумался. — Это, я так понимаю, одно стекло. На каждую рамку идет по шибке. Кабицкий говорил, — две шибки нужно: одну для полога, а другую — побольше — для самой яранги, для наружного шатра. Он с таким расчетом и дал мне это

стекло, чтобы на две части его разрезать. В домах всегда две рамы делают.

— А ты знаешь, — вдруг спрашивает Йорэлё, — знаешь, чем дядя Степан стекло режет?

— Знаю. Чем все режут, тем и он.

— А вот и не знаешь! Думаешь, каким-нибудь ножом? Дядя Степан ногтем стекло режет! Я сам видел!

— Чем? — громко хохочет Унпэнэр. — Ногтем?!

— Не веришь? Он мне сам показывал! У него такой ноготь! Крепкий, острый! Ни у кого такого ногтя нет!

Йорэлё уже чуточку поколеблен в своей уверенности, но недоверчивость брата всё-таки обижает его.

— Плохо ты смотрел, — говорит Унпэнэр. — Степан Андреевич с тобой шутил, а ты и поверил. У него в руке специальный инструмент был зажат. Маленький такой инструмент с острым камешком. «Алмаз» называется.

— Так я ж видел! Когда первоклассники разбили стекло... Он тогда новое вставлял, а я смотрел.

— Смотрел, да не понял. Не всё разглядел. Ногтем рядом с алмазом ведут, по линейке. Чтобы ровней получилось. Понимаешь?

— Не знаю... Может, и так... Послушай, Унпэнэр, а что, если хоть одно... хоть одну шибку вставить? Вот сюда. А? Всё-таки смотри, какой кусок.

— Ну, здесь, в сенках, посветлей будет. А в пологе опять при жирниках сидеть? Нет уж, делать надо как следует.

— А где ж мы теперь другое стекло возьмем?

— В том-то и дело, что негде его взять.

Нутэнэут вернулась в ярангу. Унпэнэр встал, досадливо махнул рукой и добавил:

— И стекло нелегко достать, а с отцом договориться еще трудней.

Пригнувшись, он влез в полог, достал из-под кровати свой сундучок и бережно уложил в него выбранный из осколков кусок стекла. Вылез обратно в сенки, надел шапку и сказал:

— Я приду поздно.

Через часок после ухода Унпэнэра зашел школьный сторож Кабицкий, или «дядя Степан», как называют его все школьники.

— Здравствуйте, хозяева. Гэмалькота нету?

— Здравствуй. Гэмалькот, наверно, скоро вернется. Садись, подожди.

— Спасибо. А Унпэнэр дома?

— И Унпэнэра нет.

— Я Унпэнэру хотел помочь насчет окошка. Обещался завтра прийти, да вот сегодня время выдалось. Завтра-то у меня много дела. Верней всего, — не выберусь. Придется тогда до воскресенья отложить.

— Оно и лучше, — говорит Нутэнэут. — Всю жизнь без окон жили, — можем и подождать. Торопиться тут ни к чему.

— Был такой, что торопился, да скоро и умер, — подтверждает Кабицкий — не потому, что согласен, а просто из любви к поговоркам. — Торопыга не разувшись парится...

Но в это время его взгляд падает на осколки стекла. С трудом удержавшись от прямого вопроса, он говорит:

— Ну, я тогда, значит, в воскресенье зайду. Так Унпэнэру и передай.

— Передам. Он, может, завтра сам к тебе пойдет.

— Пускай заходит, я Унпэнэру всегда рад. Хороший гость — хозяину честь.

Уж поднявшись, он спрашивает, теребя свою рыжеватую густую бороду.

— А вы как вообще — насчет окошка-то? Гэмалькот не против?

— Против или не против, — уклончиво отвечает Нутэнэут, — об этом теперь дети не думают. У отца своя голова на плечах, у сына — своя.

— Так, так, это точно... — И сделав вид, будто только сейчас заметил осколки, Кабицкий восклицает, обращаясь к Йорэлё: — Это что же такое? Разбили?

— Разбили.

— Ай-ай-ай! Вот обида-то! Как же так? До дому донесли в целости, а тут не уберегли? Кто же это?

Не зная, как ответить, Йорэлё смотрит на мать. Нутэнэут растерянно молчит. А Кабицкий, не обращая внимания на их замешательство, продолжает:

— Ай-ай-ай, какая авария! Ведь оно у меня последнее было. Никому, кроме Унпэнэра, я бы его и не отдал. Сегодня — будто сердце чуяло — говорил Унпэнэру, что сам принесу стекло. Я бы дома разрезал, в рамки вставил и принес бы завтра обе оконницы. Да уж больно

заторопился Унпэнэр... Кто ж это из вас так расстался? А?

— Гэмалькот, — тихо произносит Нутэнзут.

— Гэмалькот? — переспрашивает Кабицкий и уже без обиняков задает последний вопрос: — Как же это он — по нечаянности или, может, нарочно?

Нутэнзут видит, что ей не отмолчаться. Ей и врать не хочется, и правду трудно сказать. Может, она и покривила бы душой, но при сыне не может этого сделать.

— Нарочно разбил, — говорит она. — Разгорячился. Сыновья его довели. Только ты, Степан, не рассказывай никому. Не расскажешь?

— Никому! — обещает Кабицкий. — На этот счет можешь быть спокойна. Могила! Я в таком деле надежней него. А осколки я возьму. Вам от них — ничего, кроме вреда, а мне они сгодятся.

Он становится на колени и подбирает осколки стекла.

— Для чего они вам? — удивленно спрашивает Йорэлё. — Для чего, дядя Степан?

— Сгодятся, сынок, — повторяет Кабицкий. — Они мне для столярного дела нужны, для обработки. Вместо наждачной шкурки. После рубанка пройдешься по доске острым стеклышком — и ровно будет, и гладко.

Уже попрощавшись и направившись к выходу, он останавливается и говорит:

— А в воскресенье я, значит... Не приду, значит, если так.

Он уходит, и только тогда Йорэлё вспоминает, что так и не спросил дядю Степана про его «ноготь».

* * *

Нехорошо стало в семье у Гэмалькота. Отец старается пореже бывать дома, чтобы не встречаться со старшим сыном. Старший сын старается пореже бывать дома, чтобы не встречаться с отцом. Йорэлё и Нутэнзут скучают без них. Особенно беспокойно на сердце у Нутэнзут по вечерам. Даже если она знает, что Гэмалькот сидит у Всеволода Ильича, а Унпэнэр, скорее всего, разгуливает где-нибудь с Аймыной — хорошей девушкой, дочерью охотника Кымына, — всё равно тревожится старое сердце, всё равно замирает оно при каждом порыве ветра. Будто муж и сын находятся в открытом море, а не

на берегу. Наверно, у жен и матерей морских охотников так уж устроены сердца, что им беспокойно всегда, когда мужчин нет дома.

Но в те редкие часы, когда и Гэмалькот и Унпэнэр дома, радости от них тоже немного: оба хмурые, молчаливые. Каждый из них старается прийти попозже, в надежде, что другой уже будет спать. А тот, кто всё-таки придет первым, торопится лечь, наскоро поужинав или даже совсем отказавшись от еды.

Йорэлё хотел бы поговорить с братом, порасспросить его. А вдруг Унпэнэр задумал поставить себе отдельную ярангу? Как тогда быть? Оставаться с отцом и матерью или уйти к брату? А отпустят ли родители? Да еще захочет ли Унпэнэр взять с собой Йорэлё? Вдруг не захочет?

Унпэнэр и на самом деле подумывает о том, чтобы отделиться. Он даже говорил об этом с Аймыной. Поженятся, поставят себе отдельную ярангу. Уж Аймына-то не будет возражать против того, чтобы сделать окошко. Правда, жаль расставаться с братом и с матерью. Да и без отца, пожалуй, скучно будет жить, непривычно. С кем посоветуешься насчет всяких охотничьих дел? Отец в этих делах — самый лучший советчик.

Не хочется Унпэнэру всерьез рассориться с отцом, но обида всё не утихает. Во всяком случае прошло уже около недели, а они стараются не встречаться.

Легко сказать «не встречаться»! Это, может быть, в Хабаровске или в другом каком-нибудь городе есть возможность разминуться, а попробуй разминуться в нашем колхозном поселке!

Впрочем, раньше, хоть и невелик наш поселок, но случалось, что за целые месяцы Гэмалькот и Унпэнэр нигде, кроме собственной яранги, не встречались. А тут — как назло — чуть не каждый день перекрещиваются их дорожки. Может, именно потому, что оба стараются поменьше бывать дома, они и встречаются то на берегу, то в клубе, то в правлении колхоза.

Гэмалькот сам надоумил Вамче, что надо бы проверить состояние оружия в бригадах. Вамче пошел в первую бригаду, во вторую послал Мэмыля, а в молодежную — Гэмалькота. Как откажешься? Ведь не скажешь: «Посылай Мэмыля в молодежную, а меня — во вторую. Я к Унпэнэру не пойду, я с ним поругался». На смех

поднимут! Пришлось пойти, проверить, разговаривать, как ни в чем не бывало, с Унпэнэром.

На другой день Всеволод Ильич предложил зайти в клуб, почитать свежие газеты. Гэмалькот пошел, совсем позабыв, что в библиотеке дежурит Аймына. Только когда увидел ее, понял, что и Унпэнэр где-нибудь здесь же. Так и оказалось.

В клубе, по крайней мере, можно было не замечать друг друга. Никто на это и внимания не обратит: у отца своя компания, у сына — своя, а меж собой отец с сыном и дома наговорятся.

Но так могли думать только до тех пор, пока история со стеклом оставалась тайной. А тайной она оставалась только несколько дней. Потом о ней узнали в поселке все до единого. Повстречавшись на улице с Гэмалькотом, охотник Кэнири сказал:

— Слушай, Гэмалькот, одна моя собака лапу себе порезала. Я ее спрашиваю: «Где порезала?» А она говорит, что возле твоей яранги. «Там, говорит, столько битого стекла валяется, — лучше не ходи, торбаза изрежешь».

Охотники, стоявшие рядом, рассмеялись — видимо, они знали, на что намекает Кэнири. А Гэмалькот проворчал:

— Вот и не ходи. Я тебя и не звал возле моей яранги гулять.

«Если уж Кэнири знает, — подумал он, — так сегодня же весь поселок будет знать. Но кто этому болтуну рассказал? Неужели Унпэнэр?»

Кэнири известен, однако, не только своей болтливостью, — еще больше известен он своей ленью. Поэтому через полчаса, когда по улице проходил Унпэнэр, Кэнири не стал утруждать себя придумыванием новой шутки, а почти слово в слово повторил то, что говорил Гэмалькоту.

— Так и сказала тебе твоя собака? — переспросил Унпэнэр.

— Так и сказала.

— Нехорошо, Кэнири, когда у собаки слишком длинные уши и слишком длинный язык.

На этот раз охотники, стоявшие рядом, рассмеялись над Кэнири. Но Унпэнэра это не утешило. «Рассказать такому бездельнику, — подумал он, — может только тот,

кто хочет, чтобы узнали все. Неужели это сделал отец? Мало того, что разбил стекло, так еще и хвастает!»

С этого дня Гэмалькот и Унпэнэр еще больше разошлись друг на друга. Унпэнэр решил, что Гэмалькот смеется со своими приятелями над неудавшейся затеей сына. А Гэмалькот решил, что сын жалуется на него своим дружкам-комсомольцам, изображает отца самодуром, скандалистом, противником новой жизни.

От кого же действительно всем стало известно о ссоре? На этот вопрос я могу ответить только предположительно.

Ни Гэмалькот, ни Унпэнэр никому, конечно, не рассказывали о ней. Йорэлё и Нутэнэут тоже предпочитали не болтать. Правда, Нутэнэут вынуждена была сказать Кабицкому правду, но ведь Кабицкий — это не какой-нибудь болтун вроде Кэнири. Кабицкий в таком деле надежней немного!..

А так ли уж надежен немой?

Я вовсе не хочу сказать, что Степан Андреевич нарушил свое обещание. Секрет мог раскрыться почти что сам собой. Это могло произойти, примерно, следующим образом.

Вот Кабицкий пришел домой. Осторожно вынул из кармана собранные в яранге Гэмалькота стеклышки и ссыпал их в одно из бесчисленных отделений ящика, в котором хранит свои инструменты. Жена спросила:

— Где ж это ты, Степан, столько битого стекла нашел?

— Шел, шел, да и нашел, — неопределенно ответил Кабицкий.

— А где ж это? — повторила она.

— Где было, там нету, — ответил он фразой, которой отвечают на такие вопросы довольно часто, хотя еще не было случая, чтоб она успокоила чье-нибудь любопытство.

— Не скажешь?

— Не скажу, Вээн. Секрет.

— Ишь ты! На старости лет секреты завел?.. В школе, кажется, все стекла целые.

— Сказал «не скажу», — значит, не скажу. Ты меня не первый год знаешь.

— Ну и не говори, никто тебя за язык не тянет. Твое дело — молчать, если не желаешь ответить по-человечески. А мое дело — спрашивать, если мне интересно

узнать. Я школьные стекла не хуже, чем ты, знаю. И те, что в окнах, и те, что в шкафах. Все целые.

Они помолчали немного. Кабицкий стал что-то мастерить в своем углу. Но через минуту жена спросила, конечно:

— В клубе, что ли?

Он ничего не ответил.

— Вот безобразники! — возмутилась она. — Как напьются, так сразу — стекла бить. Вертятся пьяные возле клуба, будто возле кабака. Лучше бы они носы друг другу поразбивали — хулиганье такое!

— Да откуда ты взяла? Никто в клубе окон не бил!

— Неужели же в правлении?

Когда в поселке имеется всяких учреждений и организаций не больше, чем пальцев на любой из рук, перечислить их не сложно. А услышав несколько отрицательных ответов, уже совсем просто предположить, что печальная судьба постигла именно то стекло, которое было дано Унпэнэру.

В ответ на это предположение Кабицкий снова произнес:

— Сказал «не скажу», — значит, не скажу.

Лучшего подтверждения его жене и не требовалось. С возмущением, которое, по всей вероятности, казалось непритворным, она накинулась на мужа:

— А ты еще хвалил его! Хвалил-нахваливал! Такую дорогую вещь мальчишке доверил! Это тебе не Хабаровск, тут в магазине стекла не купишь!

Кабицкий пытался отмолчаться, но Вээн не унималась:

— Думаешь, я не знала, что он его до дома не донесет? Знала! Не привык он с такими вещами обращаться. А тут еще Йорэлё вертелся у него под ногами. Я еще тогда догадалась, что пришел этому стеклу конец, только вмешиваться в твои дела не хотела.

Кабицкий всё крепился, безуспешно пытаясь заглушить ее слова стуком сапожного молотка. А Вээн кипела сильней и сильней.

— Эх ты! Нашел кому стекло доверить! Унпэнэр привык с моржами дело иметь, а не с такими хрупкими вещами. Я бы даже удивилась, если бы он не разбил. У него еще ветер в голове гуляет. Может, он это даже нарочно сделал — неизвестно!.. Что ты на меня смо-

тришь? Да, да! Ты не знаешь, такому парню всякое может в голову взбрести. Захочется проверить, крепкое ли стекло, — он и стукнет камнем. А может, просто подрался с кем-нибудь по дороге...

— Ну, что ты мелешь?! — не выдержал Кабицкий. — Кто тебе сказал, что Унпэнэр стекло разбил? Не он это вовсе, он его донес в полной сохранности.

— Не он? — воскликнула Вээн, и в ее глазах сверкнул огонек. Круг сужался, она чувствовала, что истина уже почти в ее руках. Если стекло было разбито в яранге Гэмалькота и Унпэнэр тут неповинен, то значит... Йорэлё? Нет, Вээн видела, с каким благоговением прикасался к стеклу Йорэлё. Нутэнэут? Конечно, нет. Не такие руки у Нутэнэут! Про таких хозяек говорят, что медвежьи одеяла, подаренные им еще в день свадьбы, и через тридцать лет годятся обратно на шубы для живых медведей... Но если не Йорэлё и не Нутэнэут, так значит — Гэмалькот? Или, может, кто-нибудь из посторонних? Чаще всего к ним заходит Севалот. Нет, на него это не похоже, скорее уж сам хозяин. И еще неизвестно, случайно ли это произошло. Может быть, Гэмалькот не хотел, чтобы Унпэнэр окошко делал? Наверно, не хотел! Вот и произошло у них что-то такое, из-за чего Степан стал секреты строить. Если Гэмалькот разбил стекло нечаянно, так тут и секретничать нечего. А ведь самое интересное — именно то, из чего делают секрет.

Вээн была уже почти уверена, что стекло разбил Гэмалькот, но не спешила с окончательными выводами. На всякий случай надо еще прощупать Степана насчет Севалота...

Так, шаг за шагом, она приближалась к истине. Не имея понятия о том, что это называется методом исключения, она владела им в совершенстве и, применяя его, могла выведать у мужа всё, что угодно.

Нет, Степан Андреевич ничего не рассказывал, если не хотел. Он даже не подтвердил ни одного из ее предположений, не ответил ни на один из ее вопросов. Да она, собственно, почти и не спрашивала. Она просто выбирала какой-нибудь из возможных вариантов и высказывала вслух свои мысли. Только мысли при этом нужны были такие, которые наверняка не по сердцу Степану Андреевичу. Особенно не нравится ему, когда плохо отзываются о людях, зря кого-нибудь ругают. Он этого

терпеть не может. А когда, не стерпев, он отвергнет очередное предположение, Вээн переходит к следующему. Правды Степан Андреевич отвергать не станет. Поглядит, поглядит молчком, а потом отвернется и пробурчит: «Сказал «не скажу», — значит, не скажу». И при этом очень удивляется догадливости своей старой подруги.

Я повторяю, не могу поручиться, что описал этот разговор с достаточной точностью. Сам я при нем не присутствовал. Но я часто навещал стариков Кабицких и не раз был свидетелем подобных бесед.

Вээн секретов не любит. Когда Степан Андреевич начинает секретничать, она сразу превращается в неутомимого следопыта, в охотника, который не успокоится, пока не добьется своего. А разузнав всё, что хотела, она, как и полагается настоящему охотнику, щедро делится своей добычей с друзьями.

Вот почему соседи Вээн узнали о том, что Гэмалькот поссорился со своим сыном, намного раньше, чем соседи самого Гэмалькота.

* * *

Вскоре Гэмалькот понял, что болтовня исходит не от Унпэнэра: Нутэнэут сама призналась мужу, что вынуждена была рассказать о семейной ссоре школьному сторожу Кабицкому. А затем понял Гэмалькот и то, что люди относятся к его поступку неодобрительно.

Как-то подошла к нему в правлении Рульгыне — бригадир пошивочной бригады.

— Что, Гэмалькот, не помирился еще с сыном?

— А у меня с ним ссоры и не было, — неохотно ответил Гэмалькот.

— Люди говорят, — была.

— А про тебя люди ничего не говорят? Может, у тебя с Эйнесом тоже ссора была?

Рульгыне удивилась. Ее единственный сын Эйнес — директор школы, человек образованный, спокойный. У нее самой тоже ровный характер. Да она, пожалуй, за последние пятнадцать лет ни разу громкого слова ему не сказала.

— Что-то я тебя не пойму, Гэмалькот.

— Сейчас поймешь. Эйнес в школе живет, в доме? Да?

— Да.

— А ты в яранге живешь, не хочешь к нему в дом перебраться?

— Нет, мне в яранге удобней, привыкла я к ней.

— Ну вот, такая в точности ссора и у меня с Унпэнэром: он хочет окно делать, а я не хочу.

Но не так-то легко сбить с толку Рультинэ.

— А это не одно и то же. Мы с Эйнесом отдельно живем, друг другу не мешаем.

— А если мы вместе живем, так я, выходит, должен во всем потакать Унпэнэру?

— Зачем «потакать»? С Унпэнэром всегда можно сговориться. Надо только помнить, что дети вперед смотрят, тянутся к новому. Не надо у них поперек дороги стоять.

— А если бы Эйнес задумал твою ярангу дырявить? Хотел бы я послушать, как бы ты тогда рассуждала.

— Думаешь, он меня в покое оставил? — смеется Рультинэ. — Он хочет мне в ярангу электричество провести.

— Электричество — в ярангу? Нет, это опасно. Пожар будет.

— А почему в домах не опасно? Разве дерево хуже моржовой шкуры горит?

— Дом — совсем другое дело! Разве ты не понимаешь?

— Я понимаю, Гэмалькот. Эйнес говорит, что это не опасней, чем жирник. От жирников пожары бывают гораздо чаще. Просто у нас кто-то выдумал, будто в яранги нельзя проводить электричество. Есть колхозы, в которых электричество во все яранги проведено. И никаких там нет пожаров.

— Нужно, по крайней мере, посоветоваться с Кэлевги.

— Эйнес приводил его ко мне. Кэлевги говорит, что можно.

— Сейчас говорит, что можно, а потом скажет, что ветряк не тянет. Он должен в первую очередь обеспечить школу, в клуб должен дать свет. — Гэмалькот стал загибать пальцы. — Дальше... Магазин, мастерская...

— Подожди, Гэмалькот. Кто не хочет пить, тому и ближний ручей далек.

— Разве я неправильно сказал?

— Конечно, неправильно. Кэлевги говорит, что ветродвигатель у нас всё равно недогружен. Просто ты, Гэмалькот, немного сторонишься нового. На моем месте ты, наверно, не согласился бы.

— А ты согласилась?

— Да. Мне, конечно, и при жирнике неплохо было, но Эйнес уже отвык. Хоть он и отдельно живет, а ведь ест-пьет у меня. Пускай делает, как хочет, мне от этого хуже не будет.

И она заторопилась домой: скоро Эйнес придет, — надо приготовить обед.

Пошел домой и Гэмалькот. Почему, собственно, он должен сторониться собственной яранги? Враги его там поджидают, что ли? Смешно!

Унпэнэра еще не было дома, пообедали втроем. После обеда Йорэлэ убежал к товарищу, а Гэмалькот снова принялся за починку нарт: так ведь и не успел тогда новые копылья поставить; один копыл выстрогал, а для другого только чурку приготовил.

Он садится у входа в свою ярангу и начинает обстругивать чурку. Надо бы, пожалуй, поговорить с Унпэнэром, не вечно же бегать друг от друга. А как поговоришь? Этот мальчишка, чего доброго, подумает, будто отец прощения просит. Сначала надо поговорить с Нутэнэзут, пусть она ему объяснит. Позвать ее и сказать: «Ты бы, Нутэнэзут, объяснила Унпэнэру, что нехорошо это»...

— Ты меня звал, Гэмалькот?

— Что?

— Мне показалось, ты позвал меня.

Оказывается, она вышла из яранги и стоит рядом. Он замечает это не первый раз: еще только собираешься позвать ее, а ей слышится, будто уже позвал.

— Не знаешь, Нутэнэзут, Унпэнэр скоро придет?

— Наверно, не скоро. Он теперь поздно приходит. Наверно, тебя боится.

— Чего же ему бояться? Я своему сыну не враг.

— Вот в том-то и дело. О том и я говорю.

Это можно понять двояко: то ли это значит, что именно так она говорила Унпэнэру, то ли — что Гэмалькоту самому не следует об этом забывать. Дескать, если не враг, так нечего скандалить, обзывать взрослого сына паршивым щенком, нечего стекла бить... Но муж предпочитает не уточнять. Он спрашивает:

— Как там у него, не знаешь? Нового стекла не достал?

— А где ж он достанет? У Кабицкого больше нет.

А если и есть, так он теперь всё равно не даст. Может, сказать Унпэнэру, чтоб у Вамче попросил?

— Как что, так сразу — к Вамче! Где ему Вамче возьмет? Из кладовой я не дам, у меня только два стекла осталось. Если в парнике разобьется, Вамче с меня спросит, не с кого-нибудь. То же самое, если в правлении или в мастерской... На Кабицком одна только школа, а на мне — целый колхоз!

— Вообще-то Унпэнэр, может, и достал бы...

— Где?

— Кабицкий осенью на Полярной станции окна стеклил. У полярников, говорит, большой запас — за три года не израсходуют. Говорит, что для такого дела начальник станции даст, не пожалеет.

— Отчего ж... Конечно, если большой запас... Если бы у колхоза был запас, так и Вамче, наверно, дал бы...

— Унпэнэр говорит, что ему совсем немного надо. Только на одну рамку. А на другую у него есть. От того куска осталось, тот кусок всё-таки не весь разбился.

Гэмалькот придиричиво смотрит на чурку. Что это, — не сучок ли на ней? На копыле никаких сучков не должно быть! Нет, это просто пятнышко какое-то. Сострогалось — и нет его.

— Унпэнэр хотел пойти к начальнику станции, — продолжает Нутэнэут. — Уговаривал Кабицкого вместе сходить. А тот не соглашается: «Я, говорит, никогда в жизни ни в чем не шел против своего отца. И тебе, говорит, не советую».

— Правильно.

— «А то, говорит, что же это такое у нас получится? Ты опять стекло принесешь, а Гэмалькот опять его разобьет».

С минуту старик молчит. Только мелкие стружки далеко отлетают от чурки. Некоторые из них долетают даже до ног Нутэнэут. Наконец старик произносит:

— Ладно, скажи ему, что не разобью. Делайте уж, как хотите.

— Хорошо, — отвечает Нутэнэут и, постояв еще немного, исчезает в яранге так же тихо, как вышла оттуда.

Ну что ж, хорошо уж и то, что в семье водворится мир. Унпэнэр перестанет смотреть волком. Он ведь весь в отца — горячий, но не злой. Сразу повеселеет, заговорит, как ни в чем не бывало.

Это и верно, что «весь в отца», и неверно. Лицом похож, характером похож, а смотрит на всё по-другому. Всё хочет переиначить, по-новому сделать.

Да, не хотят молодые по-старому жить. Что ж, Гэмалькот за старое цепляться не будет. Уж он-то лучше молодых знает, какой тяжелой, какой горькой была для чукчей прежняя жизнь. И всё-таки человеку, прожившему больше полувека по обычаям, завещанным предками, нелегко привыкать к другим обычаям, пусть даже лучшим. Об иной вещи всякий поймет, что она хороша... Понять-то нетрудно, да вот пойдя привыкни к ней, к этой вещи!

Сначала кровать в яранге поставили, потом колпак с трубой над очагом приспособили, столик внесли. Теперь окно хотят делать. Будет в яранге дыра. Небось, в своей кухлянке Унпэнэр не стал бы дыру прорезать!

Впрочем, это, конечно, не одно и то же. Тем более, что дыры, собственно, не будет, будет стекло.

Еще неизвестно, как отнесутся к этому соседи. Скорее всего будут смеяться. Особенно старики — Атык, Мэмыль, Амтын. Наверно, соседи даже посочувствуют Гэмалькоту. «Ничего, — скажут, — не огорчайся. Можно, на худой конец, жить и с окном. Не ругаться же из-за этого с сыном! У нас тоже есть дети. Разве они слушают нас? Что хотят, то и делают. Твой Унпэнэр, по крайней мере, хороший охотник. Его бригада — первая в колхозе. Таким сыном можно гордиться».

Приятное течение мыслей успокаивает Гэмалькота. «Что ж, пожалуй, они говорят правду», — думает старик, как будто соседи и в самом деле обратились к нему с этими утешительными словами.

Кстати, уже и вторая чурка обработана. Гэмалькот откладывает ее, достает берестяную коробочку и набивает табаком свою трубку.

* * *

Всё уже подготовлено, стекло раздобыто. Иорэлё пришел из школы вместе с Кабицким. Они принесли две маленькие рамы без внутренних переплетов, деревянный метр и круглый ком замазки, которая распространяла такой вкусный запах и так послушно поддавалась малейшему нажиму пальцев! Иорэлё обязательно попросил бы кусочек замазки, чтобы вылепить из нее медведя, если бы

только она не предназначалась для другой, гораздо более важной цели.

Унпэнэр уже дома. Они начинают выбирать место для окна. Раз двадцать прикладывают одну из рам к стенке внутреннего шатра — то в одном месте, то в другом, то в третьем. Получается довольно нескладно: ведь стенки у полога выгнутые, неровные.

— Да,— говорит Кабицкий,— этого мы с вами, други мои, не учли.

Он садится на шкуру посреди полога и задумывается.

Йорэлэ смотрит на Кабицкого, на его густую бороду, и вспоминает русских крестьян из рассказов Тургенева. Книжку этих рассказов ему подарил директор школы Эйнес еще год назад, — в награду за успешное окончание третьего класса. Эйнес объяснил, что нынешние русские колхозники не похожи на крестьян, описанных Тургеневым. Зато в чертах школьного сторожа Кабицкого Йорэлэ смутно ощущает сходство с каким-то из тургеневских героев.

Мальчику очень хотелось бы повидать этих удивительных людей, которые умеют выращивать хлеб. Не ружьем, не охотой добывать себе пищу, а выращивать ее на земле — это казалось Йорэлэ почти чудом. Если когда-нибудь ему доведется поехать на юг, он обязательно побывает в деревне, на полях. Он читал о том, как тургеневский Гарасим, шагая среди полей, «чувствовал знакомый запах поспевающей ржи», и ему казалось, что он тоже чувствует этот запах, что ему тоже известно, как пахнет рожь. Никакие чудеса техники не представлялись ему такими поразительными, не занимали его воображение так сильно, как чудесное умение человека подчинить себе землю.

Йорэлэ уже много раз приставал к Кабицкому с расспросами, но тот ничего не мог ему рассказать на этот счет. Стефана Кабицкого, обрусевшего поляка, еще в молодости занесло каким-то суровым ветром на северо-восток Сибири. Побывал он и в царском остроге и на каторге, потом жил пушным промыслом, бродил с ружьем по тайге. Потом пришел как-то на Анюйскую ярмарку; приглянулась ему одна чукотская девушка, — посватался к ней, женился, поселился на Чукотке. Здесь и состарился. Он умеет немного сапожничать, знает плотническое

дело и еще два-три ремесла, но о сельском хозяйстве, пожалуй, имеет такое же понятие, как Йорэлё.

Насмотревшись на Кабицкого, Йорэлё прерывает его молчаливые размышления:

— Дядя Степан! Вы алмаз с собой взяли?

— Взял, взял. Обожди-ка, не мельтеши. Я, ребята, вот что придумал: надо в потолке окно делать.

Братья сразу понимают, что это — самое разумное решение. Потолок у полога ровный, прямой — не то, что стены. Кабицкий встает во весь свой немалый рост, голова его чуть не достаёт до шкуры, натянутой в качестве потолка. Он прикладывает к шкуре раму и школьным мелком намечает квадрат, который надо вырезать для окна.

Работа закипела. Унпэнэр, встав на табурет, вырезает отверстие. Кабицкий в сенках возится со стеклом, вмазывает его в рамки. Йорэлё бегают от одного к другому, подает инструменты; в сенках он рассказывает Кабицкому и матери, что успел уже сделать в пологе Унпэнэр; возвращаясь к брату, он сообщает ему, как продвигается работа у Кабицкого. Словом, он полон энергии и тратит ее не жалея. И когда он будет рассказывать товарищам по классу об этом знаменательном событии, то с полным правом сможет употребить местоимение «мы»: «Мы с дядей Степаном размяли замазку... мы с Унпэнэром дыру вырезали: он резал, а я ему табуретку поддерживал...»

Гэмалькот вернулся с работы часа через полтора после того, как всё уже было готово. Его дожидался старый учитель Всеволод Ильич. Нутэнэут угощала учителя чаем с лепешками, жаренными на нерпичьем жиру. Всеволод Ильич очень любит эти лепешки, а у Нутэнэут они всегда получаются особенно вкусными.

Унпэнэр беседует с Всеволодом Ильичом о делах международных. Учитель увлеченно жестикулирует, держа в одной руке лепешку, а другой то снимая, то снова водружая на нос пенсне. Йорэлё почтительно молчит, он становится неузнаваемым в присутствии учителя. Только с осени Йорэлё будет у него учиться. Всеволод Ильич преподаёт лишь в старших классах. Старшеклассники рассказывают, что преподаватель математики очень строг, и хотя тут, в яранге Гэмалькота, он держится совсем просто, но Йорэлё всё-таки робеет перед ним. Иногда

мальчику хочется вставить свое словечко в беседу взрослых, но он только открывает рот и тут же, не произнеся ни звука, закрывает его, заливаясь краской до ушей. К счастью, никто этого не замечает.

С Гэмалькотом Всеволод Ильич дружит уже давно. Трудно сказать, что именно сблизило их, но, если несколько дней они не видят друг друга, оба начинают чувствовать, будто им чего-то недостает. Беседуют они на самые разные темы, но чаще всего молчат. Просто сидят вместе, покуривают, изредка роняют одно-другое слово. И тем не менее расстаются отдохнувшими от дневных забот, вполне довольные друг другом. Расстаются с таким чувством, будто провели время в интереснейшей и поучительной беседе или общими усилиями решили какой-нибудь важный вопрос.

Войдя в ярангу, Гэмалькот здоровается с гостем и присаживается к столу.

— Когда едешь? — спрашивает он.

— В субботу. В понедельник в городе буду. Оттуда самолетом.

Всеволод Ильич получил путевку в крымский санаторий. Путь ему предстоит немалый: с Чукотского полуострова до Крымского!

Наполовину всерьез, наполовину в шутку Гэмалькот говорит:

— Смотри, Севалот, обратную дорогу не забудь. А то пригреешься под южным солнышком, — не захочешь к нам возвращаться.

— Нет, — смеется Всеволод Ильич, — я Чукотку не променяю ни на какие курорты. Здесь климат крепкий, здоровый. Здесь, по крайней мере, еще не было случая, чтобы солнечный удар кого-нибудь хватил.

Йорэлё очень хотел бы вытащить из сумки школьный атлас, разыскать Крымский полуостров, поделиться своими знаниями о виноградарстве. . . Он снова открывает рот, как вытащенная из воды рыба, и снова, как та же рыба, беззвучно закрывает его.

— Ну, как твоё сооружение, Унгэнэр? — спрашивает Всеволод Ильич, похлопывая рукой по жестяному котлаку, укрепленному над костром. — Тяга хорошая? Не дымит?

— Ничего, — снисходительно говорит Гэмалькот, — Нутэнэут довольна. Что сыновья ни сделают, — она все

да довольна. С них станется, что они и для моей трубки колпак сделают. А? Чтобы, скажут, не дымил в яранге.

Пользуясь тем, что сыновья еще не сделали этого, он выпускает из трубки порядочную порцию дыма и добавляет:

— Ты знаешь, Севалот, что они еще придумали? Окно! Хотят в пологе окно делать.

— Вот как? Интересная мысль!

— Это уже не мысль, уже сделали! — вырывается у Йорэлэ. Сказал, зарделся и сразу — как тюлень в лунку — юрк в полог. Только босые пятки мелькнули.

— Что же вы, скромники такие, молчите? Это ведь не шуточная вещь. Столько лет живу на Чукотке, а про яранги с окнами никогда не слыхивал.

Всеволод Ильич развязывает торбаза, снимает их и вслед за Йорэлэ влезает в полог.

В сенках молчат, прислушиваются. Некоторое время из полога не доносится ни звука, и Унпэнэр уже начинает тревожиться. Но тут раздается голос Всеволода Ильича:

— Где же оно, это проклятое пенсне?! Погляди-ка, Йорэлэ. Вот здесь где-то. Обронил, понимаешь ли, пролезая. Есть? Спасибо, дорогой.

И через секунду тот же голос, но уже другим тоном восклицает:

— Замечательно! Превосходно! Кабицкий, наверно, помог? Молодец Степан Андреевич... Ай да молодец!

Тревога Унпэнэра улеглась. Он торжествующе поглядывает на отца, но тот так внимательно рассматривает старую царапину на чубуке своей трубки, что глаза их не встречаются.

Учитель вылезает обратно в сенки, натягивает торбаза и восхищенно повторяет:

— Молодцы ребята, ничего не скажешь! Ну, Гэмалькот, окно у тебя есть, — теперь за немногим дело стало: печь сложить, стены поставить да крышей накрыть. И будет настоящий дом.

— До этого еще далеко, — неопределенно отвечает Гэмалькот.

— Так ли уж далеко? Вамче говорил Эйнесу, будто нам пяток домов выделили. Будто уже официальное сообщение пришло. Один дом школе, для учителей, а четыре — для колхозников. Верно?

— Верно, Севалот, верно.

Вся семья — и Нутэнэут, и Унпэнэр, и тихонько вылезший из полога Йорэлё — с интересом прислушивается к разговору. Гэмалькот ничего не рассказывал об этом раньше. Правда, в колхозе уже давно поговаривают насчет домов, но о том, что дело это уже совсем близкое, они узнают впервые.

— Пять домов для нас выделили, это верно, — продолжает Гэмалькот. — Заявку-то мы давно послали, а недавно ответ пришел. Вамче письмо получил, читал нам. Только это еще не скоро будет.

— Почему же?

— А потому, Севалот, что письмо — это не дом; в письме жить нельзя. Вон колхозу имени Сергея Лазо еще в прошлом году три дома выделили. А где эти дома? До Анадыря пароход дошел — и стоп: навигацию закрыли. И пришлось дома в Анадыре ставить. Теперь лазовцам обещают другие отгрузить.

— Мало ли что случается, — вмешивается Унпэнэр. — В прошлом году уже в августе снег пошел. Ранняя зима была, сам знаешь. Рано навигация кончилась. А правительство нам во всем навстречу идет. И лесоматериалы выделяет и доставку обеспечивает. Советская власть хочет, чтобы чукчи хорошо жили, по-культурному, как полагается советским людям жить. Летом получают лазовцы свои дома.

— Они-то, может, получают, а нам еще подождать придется. Еще, может, и деревья те не выросли, из которых дома для нас будут делать.

Гэмалькот чувствует, что ему не удалось еще охладить пыл сыновей, и специально для них добавляет:

— А мне вообще об этом нечего думать. Мы эти домики не для членов правления получаем, а для лучших колхозников.

Но тут в разговор вступает Нутэнэут.

— А кто ж у нас в колхозе лучше Унпэнэра работает? — ревниво спрашивает она. — Нет, уж если Унпэнэру не дадите, тогда лучше последним лодырям давайте. Пусть тогда лежебока Кэнири в деревянном доме живет!

Гэмалькот понимает, что промахнулся. Молодежная бригада Унпэнэра давно уже держит красное знамя, о ней даже в «Комсомольской правде» заметка была. Но почему Нутэнэут говорит с таким жаром о деревянном доме? Неужели она хочет расстаться с ярангой?

— Не знаю, — говорит Гэмалькот. — Не знаю, кому дадут, а кому не дадут. Собрание будет распределять. Как народ скажет, так и будет... А Унпэнэр всё-таки молод еще. И семьи у него нет.

Всеволод Ильич улыбается, видя, что приятель запутался в собственных доводах.

— А ты ему кто? Не отец разве? Нутэнэут — мать, Йорэлё — братишка. Вот тебе и семья. Или обязательно женатым нужно быть? Так за этим, по-моему, дело не станет. Я уже давно примечаю: где Аймына, — там и Унпэнэр, где Унпэнэр, — там и Аймына. Разве не так? Я всё вижу, недаром пенсне ношу. Да ты, Унпэнэр, не смущайся. Аймына — девушка хорошая. Чего ж тут смущаться?

Гэмалькот очень рад, что разговор перешел на другую тему. Сам-то он убежден, что не попадет в число колхозников, которые получают дома. По правде сказать, у него имеются некоторые основания для таких мыслей. Но говорить об этом ему не хочется.

Дело в том, что на заседании он был единственным членом правления, голосовавшим против того, чтобы посылать заявку на дома. Но об этом теперь лучше, конечно, не рассказывать!

Когда дойдет до распределения домов, было бы хорошо, если бы его имя вообще не называли. Правда, на это рассчитывать трудно: не его, так Унпэнэра обязательно назовут. А тогда уж кто-нибудь из членов правления наверняка вспомнит, как Гэмалькот возражал против того, чтобы посылать заявку. И будет совершенно прав, что вспомнит! Зачем в самом деле переселять старика, который прирос к яранге, когда многие колхозники давно мечтают перебраться в дома?

«Ох, глупый старик! — мысленно ругает себя Гэмалькот. — Что теперь будешь делать? Тебе-то всё равно, где доживать, а сыновьям не всё равно. А теперь они из-за тебя тоже должны будут в яранге оставаться. Пускай хоть окошком своим забавляются. Пускай, что хотят, то и делают».

С этими невысказанными мыслями Гэмалькот слушает Всеволода Ильича, подшучивает над Унпэнэром, спрашивает, знает ли Аймына, какой тяжелый характер у ее будущего свекра. С этими мыслями он и засыпает вскоре после ухода гостя.

... Унпэнэр с утра ушел в свою бригаду, Йорэлэ — в школу.

Гэмалькот влез в полог, где Нутэнэут занималась приборкой, подошел к окошку, потрогал раму, легонько стукнул пальцем по стеклу, поежился.

— Холодно как-то.

Нутэнэут подставила ладонь под окошко — в одном месте, в другом. Нет, нигде не дует, прибито на совесть.

— Я не про то говорю. Не от ветра, а от света. У жирника свет желтый, теплый, какой в пологе должен быть. А этот — белый. Будто на улице.

«Ну, это ничего, — думает Нутэнэут. — Привыкнет».

— А что в потолке его сделали, — продолжает Гэмалькот, — так это даже лучше. Нам-то всё равно, а снаружи не так заметно. Может, старики и не увидят. Мы, старики, больше вниз смотрим, а не наверх.

Вопреки своему утверждению, он почти не отрывает глаз от вставленного в потолок окошка.

— Всё равно узнают, — говорит Нутэнэут.

— Шучу я. Конечно, узнают. Ничего, Нутэнэут, в этом позора нет. Как ты думаешь?

— Какой же тут может быть позор? Конечно, нет.

Нутэнэут вылезает в сенки, захватив с собой несколько шкур, чтобы проветрить их. Сегодня она убирает в пологе с особой тщательностью.

Гэмалькот осматривается. Освещенное утренним светом всё выглядит совсем не так, как обычно. Портрет Ленина, еще до войны подаренный Гэмалькоту знакомым капитаном, тоже ярко освещен, яснее виден.

Подойдя к жирнику, Гэмалькот гасит его. Странное дело — глаза совсем не замечают разницы в освещении. Каким, значит, слабым был свет жирника в сравнении со светом утра!

Если бы Гэмалькота спросили сейчас, доволен он или нет, ему трудно было бы ответить. Он сам этого еще не знает. С одной стороны, стало как будто лучше в пологе, а с другой стороны, очень уж непривычно.

Он снова поднимает голову и смотрит в окно. Промелькнула белая чайка. Медленно проплыло белое облачко.

Осенний ветер гонит по улице клубки стружек. Ребятишки ловят их, играют ими. Йорэлё, хоть он уже пятиклассник, тоже поглощен этой игрой. Стружки длинные, некоторые из них — словно желтоватые ленты, пахнущие смолой. Йорэлё опоясал этими ломкими лентами своего товарища, сделал из них подобие упряжи, и оба мальчика понеслись вдоль улицы: Йорэлё — седок, его товарищ — олень.

Пять новых домиков резко выделяются среди темных яранг селения. Два домика уже заселены, остальные достраиваются. Отсюда и разносит ветер по всей улице витые ленты стружек.

Уже смеркается, но работа идет полным ходом. На крыше одного из домиков, уже наполовину покрытой, молодые колхозники из бригады Унпэнэра разматывают рулон толя. Кабицкий с двумя девушками навешивают оконные рамы.

Йорэлё и его «олень» останавливаются отдохнуть, подбирают по дороге обрезки толя. Подойдя к окну, Йорэлё спрашивает:

— Дядя Степан, скажи, это какого зверя шкура?

— Это, сынок, не шкура, — отвечает Кабицкий. — Это называется толь. А из чего ее делают, эту толь, честное слово, не знаю. Не хочу врать. Лучше у своего учителя спроси.

— Вот видишь! — торжествует мальчик, только что изображавший оленя. — Я ж говорил, что это не шкура. Это вроде картона. Вот спросим завтра у Всеволода Ильича.

Немного смущенный Йорэлё пробует, крепок ли толь, и говорит:

— Не очень-то она крепкая. Рвется всё-таки. Лучше бы моржовыми шкурами крыши покрыть.

— А, нет, — отзывается Кабицкий. — Моржовая шкура от сырости гниет, ее почти каждый год менять надо. А эта штука ни дождя, ни снега не боится. Она не один год продержится. Не порвется, будь спокоен, — кто ее на крыше рвать будет? Надо только прибавать аккуратно.

В сотне шагов отсюда, в одном из домиков живет теперь Гэмалькот с семьей. Он сидит у окна на китовом

позвонке. Позвонок перенесен сюда из яранги и занял здесь место на равных правах с четырьмя новенькими табуретками, на одной из которых сидит сейчас Всеволод Ильич, только сегодня возвратившийся из отпуска, с Черного моря.

Старики разговаривают неторопливо, больше молчат, покуривают свои трубки, прислушиваются к голосам, доносящимся из кухни сквозь полуоткрытую дверь. Там, возле плиты, хлопочут Нутэнэут, Аймына и ее подруга Раиса — повариха с полярной станции. Хозяйничает Раиса. Нутэнэут и ее будущая невестка пока еще только присматриваются, помогают: всё-таки плита это совсем не то, что простой костер. Тут и поддувало, и духовка, и две конфорки разной величины, и труба, которую надо во-время открыть, во-время закрыть. Зато уж и готовить на плите можно много такого, чего на костре не сготовишь. Раиса собирается сегодня же доказать это на практике.

— Аймына уже с вами живет? — спрашивает Всеволод Ильич.

— Нет еще.

— Зачем же дело стало?

— Она завтра в Анадырь едет, на полтора месяца ее посылают. Будет на библиотекаря учиться. А уж как вернется после курсов, тогда переедет к нам. Комнату мы Унпэнэру выделили. Хорошая комната, вроде этой. Только поменьше немножко. Им-то хватит. Всё равно по-свободней, чем в яранге было.

— Нравится тебе тут?

— Ничего, нравится. Просторно, как в тундре, воздуха много. Только не привык я еще, Севалот. Слишком просторно, стены далеко слишком. Проснусь иногда ночью и удивляюсь: почему это я на улице сплю? А вот сыновья сразу привыкли. Мы со старухой, когда в комнату входим, пригибаемся, будто в полог влезаем. А они даже головы не нагнут. словно и родились не в яранге, а в доме!

Старики снова замолкают. О том, как были доставлены дома, как происходило распределение их, Всеволод Ильич узнал еще в дороге. Ему рассказал об этом в Хабаровске один из его бывших учеников, приехавший туда поступать в институт.

Да, вопреки пророчествам Гэмалькота, колхоз «Утро»

получил дома даже раньше, чем их ожидали. Сначала пароход остановился неподалеку от колхоза имени Лазо, выгрузил три домика (вместо тех, которые в прошлом году пришлось оставить в Анадыре), а затем колхозу «Утро» доставили его груз: пять домиков — один к одному — и бревна, и кирпич, и толь, и всё остальное, вплоть до оконных шпингалетов.

На общем собрании кандидатура Гэмалькота была названа одной из первых. И никто, конечно, не стал вспоминать, что говорил когда-то Гэмалькот о деревянных домах. Наоборот, председатель Вамче сказал об успехах бригады Унпэнэра и о том, сколько пользы колхозу приносит хозяйственный глаз Гэмалькота, его забота об общественном добре. Вышло так, будто если колхоз «Утро» получил пять домов, то отчасти именно Гэмалькот способствовал этому своей работой. Колхозники единогласно постановили предоставить один из домов Гэмалькоту.

Всеволод Ильич встает и, слегка припадая на больную ногу, прохаживается по комнате. Позже, когда вернется с работы Унпэнэр, когда с улицы прибежит Йорэлё и все усядутся за стол, он расскажет про Черноморье, покажет фотографии, раздаст подарки, привезенные с юга, — сейчас они лежат в углу комнаты, в его дорожном мешке.

— Слушай, Гэмалькот, — говорит Всеволод Ильич, — а ведь я уж давно знал, что придет время и будешь ты жить в настоящем доме. То есть знать-то, конечно, не знал, а... Как бы точнее выразиться...

Он останавливается, потому что слово «чувствовал» кажется ему как математику недостаточно точным, недостаточно определенным. Но, не найдя более подходящего, он продолжает:

— Ну чувствовал, что ли. Помнишь, когда я первый раз к тебе в гости пришел? Давно это было. Смотрю — самая обыкновенная яранга. В пологе Йорэлё на четвереньках ползает, совсем еще малыш. Ни кровати, конечно, ни колпака над костром — никаких таких нововведений у вас еще не было и в мыслях. Посидел, глаза малость попривыкли, увидел портрет на стене. Вот этот самый портрет. «Нет, — думаю, — недолго Гэмалькот в темной яранге жить будет. Недолго ему ползком к себе забираться». Где Ленин, там жизнь обязательно на пра-

вильную дорогу выходит. Где раньше, где позже, а выходит. Это уж непременно.

Подойдя к приятелю, он внимательно смотрит в окошко.

— Вот какое теперь окно у тебя! Всё море видать! Можно отсюда зверя высматривать, не надо и на сопку подниматься. Увидел зверя — сразу в соседнюю комнату стучи: «Выходи, Унпэнэр, на охоту».

Старики смеются, весело подмигивая друг другу. Всеволод Ильич садится за столик Йорэлё, перебирает новенькие учебники для пятого класса, рассматривает висящую над столиком цветную фотографию — журнальную вкладку, на которой изображено высотное здание Московского Университета.

— А ты знаешь, — говорит Гэмалькот, — я к тому окошку, что в яранге было, привык. Маленькое совсем, по сравнению с этим — дырка от шила. Да еще в потолке. Что в него увидишь? Только если птица пролетит. А всё-таки привык, даже жалко было отдавать.

— Кому ж ты его отдал?

— Атыку подарил. Он пришел, просит ему окошко продать. «Хочу, — говорит, — в своей яранге поставить. Вам оно, — говорит, — всё равно не нужно, вы скоро в дом перейдете». Ну, я ему так дал, подарил. Сосед всё-таки, товарищ. Теперь то окошко у него в яранге вставлено. Мои ребята ему и вставлять помогали. Как думаешь, Севалот, скоро все чукчи в настоящих домах будут жить?

— Очень скоро, — уверенно отвечает учитель.

— С настоящими окнами? Знаешь, Севалот, окно — это для человека очень важная вещь. Ты думаешь, что знаешь про это, а на самом деле всё-таки не совсем знаешь, потому что с детства к окнам привык. По-чукотски свет называется «кэргыкэр». А окно по-чукотски — «кэргычын». Как это по-русски сказать? Светлота? Нет? Ну, словом, ты понимаешь... Вот что такое для чукчи — окно!

* * *

Выйдя в тот вечер от Гэмалькота, Всеволод Ильич медленно, чуть прихрамывая, зашагал по направлению к школе.

В этот поздний час улица селения была уже совсем

пуста и тиха. Всеволод Ильич спустился с дороги, подошел к самому морю, вслушиваясь в негромкий, неумолчный плеск воды. Темное и холодное расстилось перед ним Чукотское море.

Прежде чем пойти домой, он оглянулся назад. Там светилось окно нового домика Гэмалькота. Свет этот отразился улыбкой на лице учителя.

— Кэргычин! — произнес он тихонько. — Светлота!





II

ЛЮДИ С ТОГО БЕРЕГА

— Ого! — смеется младший сержант Сергеев. — Ого!

Волна обрушилась у самых ног, обмыла сапоги, обдала лицо холодными брызгами. И — будто ее вовсе не было — сразу же убежала в море, нырнула под другие волны, спряталась: «Не догнать меня, пограничник, не догнать, не найти!» Сергеев вытирает лицо платком и продолжает свой привычный путь. Не заигрывай, волна, не на такого напала.

Темнозеленые валы непрерывно накатываются на песчаный берег. Один за другим, один за другим. С однообразным грохотом перекатывают они гальку по плотному песку. Над ними с жалобным криком летают блые чайки — то опускаются низко-низко, то вдруг стремительно взмывают, будто боятся, что захлестнет волной. Только какие-то маленькие птички отважно сидят на самых гребнях валов, подергивая тонкими шейками. Как зовут этих маленьких храбрецов? Чукчи называют их «пекечын».

По капюшону плащ-палатки начинает стучать дождь. Сергеев поднимается на бугор, внимательно всматривается в беспокойное море. Всё оно — куда только достает глаз — белеет барашками.

Судя по всему, к ночи разыграется настоящая буря. Да и сейчас уже в море небезопасно. Все колхозные вельботы давно возвратились. Не вернулся только Унпэнэр со своей молодежной бригадой. Впрочем, Унпэнэр никогда не возвращается, пока не перевыполнит план добычи морского зверя.

Уже второй год служит здесь Сергеев, у него много друзей среди чукчей. Особенно среди молодых зверобоев. В свободное время он и сам не раз отправлялся с ними на охоту.

Он успел познакомиться с суровым нравом Берингова моря. Немало моряков поглотили эти северные воды. Правда, период осенних штормов еще не начинался, но дело идет к тому, лето уж, можно считать, позади. Наступил август, а в августе здесь уже бывают порядочные бури.

Вон как разбушевалось море! Ветер дует с востока, от берегов Аляски... Нет, пора бы, пожалуй, и Унпэнэру возвратиться. Теперь, даже если вельбот молодежной бригады будет до краев наполнен зверем, — всё равно за неосторожность бригадиру крепко достанется от стариков.

Сергеев оглядывает берег. В селении кое-где уже зажглись огни. Один за другим засветились два окошка в школе: в той комнате, где живет молодой директор школы Эйнес, и в той, где живет Кабицкий. Потом включили электричество в правлении колхоза, в нескольких домах колхозников. Невдалеке вспыхнуло еще три огонька: это окна погранзаставы.

На Чукотском побережье зима наступает рано, и с нею приходит длинная полярная ночь. Но сейчас ночи еще сравнительно коротки. Просто тучи закрыли небо, свет отступает сегодня раньше обычного. Потому-то в домах уже зажигают огни. А на дворе всё равно хорошо видно. Будто не вечер, а только ранние сумерки: в Заполярье не только у ночи упорный характер, здесь и день не сдается без боя.

Кто-то идет со стороны селения. Еще издали Сергеев узнаёт старого охотника Атыка. После обеда — с тех пор, как поднялась волна — старик чуть не каждый час выходит поглядеть на море.

— Не видать еще? — спрашивает Атык.

— Пока не видать. Да вы не тревожьтесь, папаша. Выберутся. Ребята молодые, сильные.

— То-то и плохо, что слишком молодые. Ума мало, умения мало. Одно только глупое удалство в голове.

— Только ли? На одном удалстве, без умения, хорошим охотником не станешь. А Унпэнэр по всему побережью славится.

— Мало ли что...

Старик на минуту умолкает, прислушивается, потом говорит:

— Нет, показалось... А Унпэнэра еще много учить надо. Не имеет он права зря людьми рисковать. Один раз ему выговор на правлении дали, не посмотрели на его славу. Можем и совсем с бригады снять.

— Небось, не снимете. Посердитесь, да и простите. Разве на такого молодца можно долго сердиться? Небось и вы, когда молодым были, не очень про осторожность думали.

— Когда я молодой был,— другое время было. Нужда в море гнала, голод. Нужда не спрашивала, какая погода. Ветер, не ветер — всё равно езжай. А теперь не такое время, чтобы чукча погибал на охоте: голодных в стойбище нет, все сыты. Если Унпэнэр себя не жалеет, должен товарищей жалеть, должен колхозный вельбот жалеть. Так?

— Так, — соглашается Сергеев. — Смелость нужна, а без дисциплины, конечно, тоже нельзя. Зря рисковать не годится.

— А тут еще, — добавляет старый охотник, тяжело вздохнув, — тут еще мой Тылык увязался за этим сумасшедшим... Знал бы отец Унпэнэра, каким его сын вырастет, не дал бы ему такого имени.

Сергеев уже знает, что «Унпэнэр» — это чукотское название Полярной звезды. Да, действительно, необыкновенное у парня имя...

Теперь и Сергееву кажется, что сквозь шум бури доносится гул мотора. Он прислушивается, откидывает капюшон. Подносит к глазам бинокль, но в море по-прежнему видны только темные волны да белые их гребни. К тому же стекла сразу покрываются частыми оспинами дождевых капель.

— Ничего в волнах не видно, — говорит Сергеев.

Но гул доносится теперь вполне явственно. Его уже не спутаешь с шумом моря. И опытному уху нетрудно различить, что это не один мотор гудит. Откуда, однако, быть другим моторам, если в море только один вельбот Унпэнэра?

— Может, самолеты? — спрашивает Атык, вглядываясь в небо.

Нет, не самолеты. Сергеев уже заметил что-то среди

волн. Он снова вскидывает к глазам бинокль, ладонью защищая стекла от дождя. Атык так впиается в него глазами, будто на загорелом, обветренном лице можно как в зеркале увидеть всё, что видно в бинокль.

— Так, — медленно произносит Сергеев. — Наш вельбот. Наш вельбот, точно! А на буксире за ним — байдара. И еще две своим ходом идут, на своих моторах. Только странные какие-то байдары. Уж больно большие, громоздкие. Я таких ни разу не видал. Поглядите-ка, папаша, бывают такие байдары у чукчей?

Старик не берет бинокля, он и невооруженным глазом разглядел уже утлые суденышки, то исчезающие, то снова появляющиеся на гребнях волн — с каждым разом всё ближе и ближе.

— Нет, не чукотские это байдары, — отвечает старик. — Это не чукчи едут... Это — рочгылыт.

— Кто такие?

— Рочгылыт. Это по-нашему — «люди с того берега». Такие байдары у американских эскимосов бывают. Унпэнэр гостей везет!

Сергеев стреляет из ракетницы. С резким шипением ракета взвивается к небу, озаряя всё вокруг. Старик вздрагивает от неожиданности, а затем любуется ее полетом. Постепенно полет ее замедляется, и, прежде чем погаснуть, она вспыхивает ярким цветком, тут же рассыпающимся на тысячи огненных, медленно опадающих лепестков. Ракета видна и в селении, и на заставе, и там, в море — на вельботе и байдарах.

Через несколько минут на берегу становится шумно, словно на птичьем базаре. Первой прибегает из селения детвора, потом — взрослые. Родители молодых зверобоев из бригады Унпэнэра стоят у самой воды, рядом с пограничниками, пришедшими с заставы. Никто не обращает внимания ни на дождь, ни на волны, обдающие брызгами с ног до головы.

В такую погоду нелегко причалить: того и гляди разобьет лодку о камни. Но и на вельботе, и на байдарках люди управляют лодкой, как птица крыльями. Они ловко маневрируют, пропуская вперед высокий вал, а затем с самой тихой волной приближаются к берегу.

И вот они уже на суше. Теперь, когда ясно, что молодежная бригада возвратилась в полном составе, всё внимание переключается на эскимосов. Они стоят, немного

оробев. Вода ручьями стекает с их одежды. Над глазами у них цветные целлулоидные козырьки. Удобные при солнечной погоде, сейчас эти козырьки выглядят довольно нелепо.

Начальник погранзаставы разговаривает о чем-то с пожилым, одетым в комбинезон эскимосом, у которого на самом кончике носа держатся разбитые роговые очки: правое стекло совсем выпало, левое треснуло в двух местах. Видимо, это владелец байдар. Сойдя на берег, он сразу же вышел вперед и заявил, что хочет говорить с русским начальником. Этот эскимос так толст, что если не смотреть на лицо, то можно подумать, что в один комбинезон влезло двое.

Вначале он пытался говорить по-русски, но понять можно было только одно: он полагает, будто говорит по-русски. После первых же нескольких фраз он сам перешел на английский, густо пересыпанный эскимосскими и чукотскими словами. Обязанности переводчика взял на себя Эйнес.

Приезжие пытаются согреться, похлопывая руками по груди и плечам, попрыгивая с ноги на ногу. В то же время они внимательно прислушиваются к разговору советского офицера с владельцем байдар. Только один из эскимосов — маленький сухой старик — совсем не обращает внимания на этот разговор. Он стоит неподвижно и смотрит на Атыка. Он смотрит не отрываясь до тех пор, пока глаза их не встречаются.

Атыку знакомы эти глаза, глядящие на него из-под целлулоидного козырька. Но где, где он видел их раньше? И вдруг из груди его вырывается возглас, выражающий удивление: «Какомэй!»

— Какомэй! — повторяет он, не слыша своего голоса. — Неужели это ты, Мылыгрок?

— Да, Атык, это я. Я тебя сразу узнал.

Сколько лет они не видались? Пожалуй, лет тридцать пять, а может и все сорок. С тех пор, как Атык женился и распрощался со шхуной «Джерри». Нет, немного позже. Но всё равно, это было еще до первой мировой войны.

Они познакомились в тяжелый год: среди чукчей и эскимосов свирепствовал голод. Он одинаково губил и жителей Чукотки и жителей Аляски. В тот год охота выдалась неудачная, да еще вдобавок скупщики умудри-

лись сбить цены на пушнину. Тогда-то и нанялись они матросами на эту самую «Джерри», на китобойную шхуну к американскому промышленнику. Там и встретились.

В те времена весь азиатский северо-восток был забытой, брошенной окраиной. Не любили Чукотку царские чиновники, считали краем света. Зато приглянулась она всяким дельцам, любителям быстрой наживы, не стесненной никакими законами. Добирались сюда и хабаровские купцы, и скупщики из Йокогамы, и бизнесмены из Номы, из Джуно, даже из Фриско (лишь много лет спустя Атык узнал, что настоящее название этого города — Сан-Франциско). Беспрепятственно хозяйничали они здесь, хищнически истребляли китов и пушного зверя, обманывали эскимосов и чукчей. Одним из таких хищников был и владелец шхуны «Джерри». Он всегда набирал часть команды на Аляске, а часть — на Чукотке, чтобы иметь людей, хорошо знающих оба берега Берингова пролива.

Три навигации плавали вместе Атык и Мылыгрок. Три года вместе терпели обиды, делились друг с другом скудной едой, выручали друг друга из всяческих бед. Потом Атык ушел со шхуны, а вскоре покинул ее и Мылыгрок. Но они встречались еще много раз: Мылыгрок несколько лет жил на Чукотке, в Инчоуне, служил там у русского купца. У этого купца были какие-то дела с мистером Карпендером, который держал в нашем поселке лавку, так что Мылыгрок имел возможность довольно часто навещать старого товарища. Иногда судьба сводила их и в чужих стойбищах. По всему побережью знали их не только как смелых охотников, но и как искусных певцов. Не раз состязались они в пении. «Последний раз, — вспоминается Атыку, — это было на празднике Спуска байдар... Или нет, на празднике Убоя кита. Кажется, это было перед самым отъездом Мылыгрока, он уже собирался тогда домой, на Аляску».

Потом началась война. Еще через несколько лет великая волна Октябрьской революции докатилась до Чукотки. Крепкая граница пролегла по Берингову проливу, и новая, совсем новая жизнь началась по эту сторону границы. А по ту сторону жизнь всё еще шла по-старому...

— Я тебя сразу узнал, — повторяет Мылыгрок. — Ты не так постарел за эти годы, как я.



Всё селение уже знает подробности того, что произошло в море. Три эскимосских моторных байдары были застигнуты бурей далеко от берегов. Волны то поднимали их на свои высокие гребни, то роняли в водяные провалы, относя всё дальше и дальше на запад, к берегам Чукотки. Волны трепали их, играли ими, как песок играет тундровой мышью. Одна из байдар не выдержала этой борьбы, дала сильную течь; распоролась ее кожаная обшивка. Гибель уже казалась эскимосам неминуемой, но, к счастью, их заметили с вельбота молодежной бригады, возвращавшейся в это время с охоты. С риском для собственной жизни молодежь поспешила на помощь. Эскимосов, терпевших бедствие, они сумели пересадить в вельбот, а облегченную таким образом байдару привели с собой на буксире. Две другие байдары добрались вслед за ними собственным ходом.

Эскимосов поместили в одном из классов школы: до начала учебного года — почти две недели, классы еще свободны. Сперва гости чувствовали себя не очень уверенно, с опаской косились на пограничников, — поверят ли, что они случайно попали в советские воды, что в этом виновата буря? Не заподозрят ли в том, что они охотились в чужих водах? Отпустят ли и, если отпустят, — не отберут ли охотничью добычу? Не потребуют ли слишком большого выкупа или оплаты за помощь, оказанную вельботом? Особенно тревожили все эти вопросы владельца байдар Тэпкэлина — толстого эскимоса в разбитых роговых очках.

Вскоре, однако, пришел старший из пограничников, сказал, что связался по радио со своим начальством и получил такие указания: предоставить эскимосам ночлег, оказать им содействие в починке байдары, обеспечить питанием, а когда море успокоится, — проводить до границы территориальных вод.

Тэпкэлин кряхтел, охал. Видно, хотел что-то сказать, но не решался. Наконец он спросил: «А сколько вы возьмете с нас за всё это?»

И не только Эйнес, переводивший этот разговор, но и старый Атык, и все остальные колхозники рассмеялись. «Ничего, — ответил, сдерживая улыбку, начальник заставы, — конечно, ничего. Впрочем, за население отвечать

не уполномочен. Я вижу, вам тут всякого угощения принесли. Так насчет этого вы уж сами договаривайтесь».

А председатель колхоза Вамче добавил: «Конечно, ничего не возьмем. Разве у вас, когда угощают гостя, деньги с него берут?»

Теперь смеялись и эскимосы — то ли убедились, что им ничего не угрожает здесь, то ли потому, что у Тэпкэлина был уж очень растерянный и озадаченный вид. Рот, в котором торчали два почерневших зуба, был открыт; переломившийся надвое и задранный кверху козырек напоминал толстые, короткие рога; поцарапанное левое веко распухло так, что совсем закрыло глаз, а правым, близоруко прищуренным глазом он недоверчиво смотрел сквозь пустую оправу, пока не сообразил, что лучше всего засмеяться и самому. Тогда, уже полушутливым тоном, он спросил, показывая на свое левое веко: «А что, — может, у вас и лечат бесплатно?»

Вамче ответил утвердительно. Один из эскимосов спросил: «Совсем без денег?» Только тогда все обратили на него внимание. Это был молодой парень; он сидел, пряча за пазухой левую руку, и раскачивался от боли. Но лишь после того, как несколько голосов сразу подтвердили, что никаких денег за лечение не требуется, он сказал, что тоже хотел бы пойти к доктору.

Оказалось, что, заметив вдалеке наш вельбот и не зная, видят ли их с вельбота, эскимосы стали стрелять в воздух, чтобы обратить на себя внимание. Сигналы бедствия были приняты, но одним из выстрелов этому парню сильно обожгло руку.

Тэпкэлина и молодого эскимоса с обожженной рукой отвели в медпункт.

Кабичкий растопил в классе печку: на дворе, правда, еще только август, но ночь холодная, ветреная. К тому же гости смогут обсушиться у огня.

— Может быть, Атык споет нам? — спрашивает Эйнес.

Почему же не спеть, когда просят? Атык любит петь; плох тот певец, который не любит петь. Особенно — если друзья рады послушать. А сегодня есть для этого еще такой повод, как встреча со старым товарищем. Ведь они с Мылыгроком не раз бывало состязались в пении. Атык говорит:

— Что ж, Мылыгрок, давай вспомним старое. Тылык, принеси мой ярар.

Но ярар — большой чукотский бубен с рукояткой из моржового клыка — уже здесь. Тылык, оказывается, заранее принес его, — наверно, они с Эйнесом сговорились.

Старик с любовью смотрит на сына. Еще одна педелька — и Тылык опять уедет в Ленинград. Сможет ли он приехать на Чукотку будущим летом? Уж очень далека дорога до Ленинграда. Говорят, что раз в пятнадцать дальше, чем до Анадыря. . .

Тылык подает отцу ярар и тонкую, гибкую палочку. Эйнес подает чашку воды. Атык смачивает водой поверхность туго натянутого пузыря, прикасается к нему палочкой, и рокочущий звук ярара разносится по большому классу школы.

Старик начинает петь:

— Когда среди моря путник направление потеряет, ему звезды дорогу напомним, верную дорогу укажут. По яркой Полярной звезде направление мы находим, каждому это известно, твердо известно каждому, кто с морем давно сроднился. Но когда буря бушует, когда небо закрыто тучей, когда темной тучей закрыто сияние звезд, — как тогда путнику быть? Как избежать беды, кто тогда байдару твою спасет, не даст под волнами погибнуть?

Палочка трепещет в руке у певца, ярар тревожно рокошет в такт песне. Здесь топится печка, а за окнами еще бушует буря, и песня о буре, звучащая здесь, у спокойного огня, проникает каждому в самое сердце.

— Так бедный путник думал, — продолжает свою песню Атык, — бедный путник, среди моря изнемогавший. Сдаться был он уже готов, непосильна была неравная схватка с бурей. Но на помощь ему тогда Унпэнэр устремился, на вельботе примчался смелый, с молодежной своей бригадой. Вот такая смена у нас — молодежь колхоза «Утро»! Вот каков наш Унпэнэр — никакая опасность ему не страшна! Путников он среди моря спас, в бурю спас он их, когда туча закрыла звезды. Значит, недаром имя свое он носит — славное имя Унпэнэр!

Молодой бригадир смущенно улыбается, потом хмурится, потом снова начинает улыбаться. Под устремленными на него дружескими взглядами он чувствует себя гораздо менее храбро и уверенно, чем в море. Кроме того, он не любит, когда напоминают о значении его

имени: что говорить о Полярной звезде, когда на лице у него почему-то так много родинок, да и ростом-то он, как говорится, не вышел... И всё-таки, конечно, приятно, что Атык сложил про него песню.

Всем остальным песня очень понравилась. Вот какой он геройский парень, этот колхозный бригадир! А какой в колхозе «Утро» певец!.. Второго такого, наверно, на всем полуострове не сыщешь.

Ярар рокочет теперь в руках Мылыгрока — вначале неровно, отрывисто, потом всё послушней, стройнее. А старый эскимос всё не начинает петь: откашливается, настраивается, обдумывает начало. Вот он запел. Голос у него тихий, дрожащий, но слова ложатся плавно, и песня постепенно захватывает всех слушателей. Как видно, Мылыгрок на самом деле был когда-то искусным певцом, хоть и давно, наверно, не упражнялся в этом искусстве.

Он поет печальную песню о чайке, о белоснежной чайке, застигнутой бурей вдали от родных берегов. Описание бури звучит в его песне мрачнее, чем у Атыка. Тихий голос не заглушает ветра, шумящего за стенами школы, и кажется, будто ветер поет эту же песню, полную тоски. Слезы дрожат на старческих, подслеповатых глазах певца.

Ни на кого не смотрят сейчас эти глаза. Может быть, видят они, как чайка, совсем уже обессилев, опустилась на волну. Ее качает на гребне, удержаться на нем не легче, чем лететь. Вот гребень уже повис над водяной пучиной, вот-вот он обрушится, вот-вот другая волна похоронит под собой обессилевшую птицу. Чайка хочет взлететь, но не может. «Силы нет уже совсем в белоснежных крыльях птицы, а над ней — черная стена волны, черная стена...»

Вдруг Мылыгрок замолкает, не допев. Видно, перехватило горло у старика. Он закашлялся, опустил ярар. Слезы уже не дрожат на глазах, они текут по глубоким бороздам, которые тяжелая жизнь провела по его щекам.

— Ты пел не про птицу, Мылыгрок? — тихо спрашивает Атык.

Мылыгрок не отвечает. Может быть, он даже и не слышал вопроса.

— Нет, — отвечает за него другой эскимос — худощавый охотник с таким смуглым лицом, что оно почти не

отличается по цвету от его коричневой кожаной тужурки. — Нет, Мылыгрок пел не про птицу, — продолжает он, с трудом подбирая чукотские слова. — У Мылыгрока сын... сын в море умер... один год прошел...

Мылыгрок поднимает голову и говорит:

— В море мой сын утонул, вот в такую бурю, как сегодня. В нашем стойбище хозяйном теперь Тэпкэлин, все три байдары его. Было четыре, одна в прошлом году затонула. В ней был мой сын. Единственный сын, двадцать три года ему исполнилось...

— У них тогда мотор плохо работал, — рассказывает смуглый. — Парень сказал Тэпкэлину, что мотор плохо... нельзя так в море ходить... перебрать надо мотор. А Тэпкэлин ругается только, заставляет в море идти. Вот сильная волна началась, мотор совсем заглох. Хозяин рядом был, на другой байдаре. Ему надо было буксир кидать, а он не хочет... не захотел буксир давать, боялся, хотел скорей свою шкуру спасти, домой везти. А может, он и нарочно буксир не давал... Старая байдара — мало денег, страховка — много денег. Да? Пять человек погибало, про это Тэпкэлин не думал. Он думал страховку получать. У него совести нет. Он тогда сразу в Ном поехал, в Общество. А там сразу страховку не дают, говорят, — ждать надо, говорят, — море байдару обратно отдаст. Очень злой тогда Тэпкэлин из Номы вернулся. Ждет. А море всё-таки байдару обратно не отдает. Он тогда опять в Ном поехал, получил всё-таки страховку. Много долларов получил.

— Жена у тебя жива? — спрашивает Мылыгрока Атык. — Дочки есть?

— Нет, один остался. Три дочки были — все умерли. Эскимосы, Атык, много умирают. Болезнь придет, — на что лечиться будешь? Где деньги возьмешь? Да и без болезней много умирают. Тяжелая жизнь, голодная.

— Голодная? — сурово спрашивает Эйнес. — А ведь страна у вас не бедная, вроде бы...

Мылыгрок только горько усмехается, а смуглый эскимос говорит:

— Нет, страна не бедная. Много богатства. Золото, большие города есть. А наше богатство — морской зверь. Только теперь морских зверей совсем мало. На одном острове — военный аэродром. Да? Самолеты большие, очень сильно гудят. Зверь пугается, бросает свое место, уходит. Охотнику теперь плохо. Далеко надо

ездить, — близко зверя нету. Один раз, я сам видел, летчик целое стадо из пулемета стрелял. Моржи тонут, зря зверь пропадает. А ему забава. Ему забава, а люди без мяса сидят, есть нечего.

— Хватит тебе жаловаться, — перебивает Мылыгрок. — Дай поговорить со старым товарищем. Расскажи, Атык, как ты живешь. Дети у тебя есть?

— Есть.

— Много?

— Двое: дочка и сын.

Атык смотрит на Тылыка. Рослый юноша, сидящий у окна, рядом с Эйнесом и Сергеевым, отвечает ему широкой улыбкой.

— Это твой сын? — догадывается Мылыгрок. — Ведь это он забросил нам буксир, когда Унпэнэр повел вельбот к нашей байдаре! Я еще в вельботе смотрел на него, — мне его лицо показалось знакомым. Конечно, потому-то я и узнал тебя сразу, Атык! Еще в море мне напомнил тебя твой сын.

Мылыгрок оживился. Он искренне завидует, но зависть не мешает ему радоваться всем сердцем за своего старого товарища.

— Значит, есть у тебя, Атык, утешение на старости лет! Ведь он сейчас — точно такой, каким ты был, когда мы плавали на этой проклятой «Джерри»! Только жизнь у него, наверно, не такая тяжелая, какая была у нас с тобой. Вы, видать, хорошо живете, богато. Если сын похож на отца не только лицом, но и силой, и верностью глаза, — так он тогда должен быть хорошим охотником, очень хорошим.

— Тылык был бы, наверно, неплохим охотником, — отвечает Атык. — Ты как считаешь, бригадир?

— Передовиком был бы, — солидно подтверждает Унпэнэр.

— Да, — продолжает Атык, — но Тылык живет не с нами. Он учится в Ленинграде, студент. Сюда он только на практику приехал, уже скоро уезжает. Они словарь составляют — книгу такую. Чтобы легче было чукчам русский язык учить. Тылык не зверобоем будет — ученым человеком. А на охоту он просто так, за компанию с товарищами ездил.

— Ты и в Москве был? — спрашивает у Тылыка лый эскимос.

— Был, был, — отвечает за сына Атык и сразу замолкает: ему кажется, что он слишком уж расхвастался своим сыном. Но по глазам гостей он понимает, что это не так. Нет, не только отцовская гордость говорит в нем сейчас, а гордость советского человека, гражданина могучего Союза, в котором нашли свое счастье и чукчи. Сейчас, перед лицом этих гостей, он — старый чукотский колхозник — представляет весь великий советский народ. И, уже не скрывая гордости, он говорит:

— Из нашего колхоза трое в Ленинграде учатся. Двое мужчин и одна девушка. Сестра нашего председателя, товарища Вамче.

— А еще двое с первого сентября будут, наверно, учиться в Хабаровске, — говорит Эйнес. — Один уже поехал, держит сейчас экзамены. Вторую послезавтра провожаем в Хабаровск. Тэгрынэ, дочь охотника Мэмыля. Вон она — под картой полушарий сидит, за подругу прячется.

— Я не прячусь, — тихо произносит девушка с двумя длинными черными косами.

— А меня, — вставляет, не выдержав, Унпэнэр, — меня председатель обещал в Магадан послать. Или в Петропавловск. Я на курсы поеду, на курсы механизаторов морского промысла.

* * *

На следующий день американские эскимосы отправлялись домой.

Ветер утих после полуночи, но и к утру волны еще не совсем улеглись. Ведь если даже в ведре расколыхаешь воду, — она потом не сразу успокоится. А в Чукотском море воды как-никак побольше, ей труднее остановиться, после того как расколышет ее ветер. Поэтому отъезд назначили не на утро, а на середину дня.

Впрочем, если уж договаривать до конца, то нужно сказать, что небольшая волна была не единственной причиной отсрочки. Разве опытные моряки испугались бы такой чепухи? Но дело в том, что прощальный завтрак был слишком обильным и после него гостей порядком покачивало даже на твердой земле. «Волна всё-таки», — сказал Тэпкэлин, поднимаясь от стола и внимательно вглядываясь в окно, выходящее не на море, а на ровную-ровнехонькую тундру. После этого и было решено чуточку от-

ложить отъезд. Ведь море, хоть само оно далеко не всегда сохраняет полное спокойствие, предпочитает, как известно, людей спокойных, трезвых, умеющих владеть собой.

Но к часу дня эскимосы успели хорошо отдохнуть. Им помогли как следует зачинить распоровшуюся обшивку байдары. Они прощаются, еще раз благодарят за помощь и гостеприимство.

Всё готово к отъезду. Людно на берегу, народу не меньше, чем вчера. Но сегодня солнечно, и берег, и море выглядят совсем по-иному. И цветные целлулоидные козырьки над глазами у эскимосов сегодня, пожалуй, вполне к стати. По крайней мере, не надо щуриться.

Откуда, однако, у Кэнири такой козырек? Он надвинул его на самые брови, и зеленоватая тень лежит на его полном, довольном лице. Наверно, это подарок кого-нибудь из гостей, не иначе! Ну, конечно, вон у того эскимоса, который садится сейчас в байдару, нет козырька, а на голове — фетровая шляпа Кэнири. Ясно, что они обменялись подарками.

Загудели моторы. Три байдары и сопровождающий их катерок, слегка покачиваясь на волнах, отходят от нашего берега.

Дальше и дальше уходят они в море, и уже трудно Атыку различить среди остальных маленькую, темную фигурку Мылыгрока. Только Тэпкэлин с головой, забинтованной ослепительно белой повязкой, как назло, всё время попадает на глаза.

На берегу, рядом со стариком, стоят Тылык и Сергеев. Тылык говорит:

— Уехали американцы.

— Назад уехали, — задумчиво произносит Атык. — Далеко назад, на целую жизнь. Как тридцать-сорок лет назад жили, так и сейчас живут. Даже, пожалуй, еще хуже стало.

Сергеев смотрит в море. Не туда, где еще виднеются байдары, а дальше, гораздо дальше — туда, где за линией горизонта лежит Северная Америка. И представляются его глазам не холодные просторы Аляски, не бесприютная тундра, расстилающаяся сразу за Беринговым проливом, не лагуны эскимосов, а громаздящиеся над Гудзоном небоскребы трестов и банков, роскошных отелей и модных магазинов.

Может быть, в витрине одного из этих магазинов лежат меха, поставляемые с Аляски. «Те самые меха, — думает Сергеев, — на которых наживается Тэпкэлин и его нью-йоркские хозяева; те самые меха, которые с риском для жизни добывают нищие охотники, несчастливые дети аляскинских берегов... Да, мало видят они тепла и от солнца, и от людей».

А байдары уже совсем далеко. Три байдары, три едва различимые, теряющиеся в волнах точки.





III

ТЭГРЫНЭ ЛЕТИТ В ХАБАРОВСК

Чья это огромная невидимая ладонь гладит траву на аэродроме? Отпустит на секунду и снова прижмет к земле; пригладит, отпустит и снова пригладит... Это ветер. Но Тэгрынэ не чувствует его. Она сидит в пассажирской кабине самолета, дверца уже заперта, порывы ветра не проникают в кабину. Даже звуки марша, несущиеся из репродуктора, установленного на крыше аэровокзала, едва слышны.

Начальник аэродрома попросил провожающих отойти. Их не видно теперь. Сквозь толстые стекла окон видна только зеленая трава, прижатая к земле огромной ладонью ветра. Вот трава поплыла назад, поплыла быстрее, еще быстрее...

— Оторвались, — говорит толстяк, сидящий перед Тэгрынэ.

Теперь и сама она видит, что самолет уже оторвался от земли. Трава проносится внизу, метрах, наверно, в двух... Даже в трех, пожалуй. Во всяком случае, прыгнуть было бы уже боязно.

Выше, выше. Еще выше! У Тэгрынэ захватывает дух. Но голова не кружится. «Совсем не кружится, — думает девушка. — Напрасно они меня пугали. Надо будет написать Инрыну, что голова несколько не кружилась».

И не укачивает вовсе. На байдаре, даже при самом незначительном волнении, качка гораздо чувствительнее. Нет, на байдару это непохоже. На качели? Тоже нет! Ни с чем не сравнить это ощущение легкости и свободы, скорости и высоты!

Самолет разворачивается. Вон какой-то домик. Неужели это здание аэровокзала? Перед зданием стоят провожающие, машут руками. Среди них — отец Тэгрынэ, но она уже не может разглядеть его между другими. Ей становится немного стыдно, что она думала сейчас не о нем: он-то, небось, только о ней и думает. И, когда прощались, не смогла даже как следует обнять старика. Пока целовалась с подругами, пришло время садиться в самолет. Конечно, можно было бы не торопиться, но этот толстяк пропустил ее вперед, а лесенка узкая, Тэгрынэ не хотела задерживать толстяка. Неудобно ведь — она еще совсем девчонка, а он такой солидный, седой. Поэтому Тэгрынэ только наскоро чмокнула своего старого Мэмыля и побежала вверх по лесенке.

Еще круг сделал самолет над аэродромом, еще раз показалось здание аэровокзала, промелькнула группа людей, ставших совсем маленькими. И вот внизу не ровное поле аэродрома, а какие-то холмы — то светлозеленые, то зеленовато-рыжие.

— Легли на курс, — говорит толстый пассажир.

Тэгрынэ впервые слышит это выражение. Ей смешно: почему «легли»? Ведь никто из пассажиров не лег, пилот и его помощник тоже, конечно, бодрствуют.

Толстый пассажир смотрит на часы. Нет, он смотрит не только на часы — рядом с часами на руке у него компас. Ткнув пальцем в компас и махнув рукой вперед, он произносит:

— На юго-запад идем. Строго на юго-запад.

— Да, — улыбается Тэгрынэ, — скоро осень. А осенью птиц поужнее тянет, в теплые края.

Как приятно чувствовать себя птицей! Теперь слова соседа уже понятны Тэгрынэ: прямо на юго-запад, до самого Хабаровска проложена невидимая дорога по воздушному океану; пилот набрал высоту, покругив над аэродромом, а потом взял юго-западное направление — словно бы положил свою машину на этот курс. Положил, и пусть теперь она летит по этому курсу всё вперед и вперед!

«Этот толстяк, — думает Тэгрынэ, — скорее всего, географ. Недаром же у него компас на руке. И летать ему, по всей вероятности, приходилось уже не раз, не то что мне».

«Легли на курс», — произносит про себя Тэгрынэ. Вы-

ражение это уже не кажется ей смешным. Наоборот, в нем есть какая-то прелесть, что-то профессионально-пилотское. Тэгрынэ мысленно повторяет его и при этом чувствует себя не пассажиром, а почти что летчицей. А если и не летчицей, то, во всяком случае, опытным пассажиром, а не новичком, впервые совершающим воздушное путешествие.

Вдруг в самолете становится темнее, за окнами ничего не видно, какая-то серовато-белесая пелена закрыла их.

— Ой, что это? — спрашивает Тэгрынэ.

Но толстый пассажир, сидящий перед ней, уже задремал. Ей отвечает другой, сидящий у левого окна:

— Это облака. Мы вошли в облака.

Не проходит и минуты — в кабине быстро светлеет, и вот машина уже вырвалась из облаков, за окнами снова сверкает ясное утро.

— Так бывает, когда поезд выходит из тоннеля, — говорит тот же пассажир. — Всё светлее, светлее становится, и, глядишь, поезд вырвался из горы, на простор вышел.

— Я никогда не ездила в поезде, — отвечает Тэгрынэ.

Внизу сопки, сопки, какая-то река вьется серебристой лентой между сопками. Только кое-где землю закрывают серовато-белесые пятна. Это облака; теперь Тэгрынэ уже понимает, что это такое. Правее каждого облака она различает на земле его тень.

Самолет идет над облаками. Тэгрынэ летит в Хабаровск!

* * *

Худенькая, стройная девятиклассница ходила по тундре и собирала цветы. Нет, в руке у нее не было букета, а была толстая русская книга «Флора Севера», и между страницами этой книги лежали цветы, которые удалось собрать. Там не было двух одинаковых, только разные, только по одному представителю каждого вида.

Девочка наклонялась, и кончики ее черных кос касались травы. Девочка выбирала самый лучший цветок, срывала его обязательно вместе с листиком, подсчитывала тычинки и, аккуратно расправив, чтобы ни один лепесток не примялся, прятала находку в книгу.

Это была Тэгрынэ, дочь охотника Мэмыля. Она училась в Анадыре, в десятилетке, а на каникулы приезжала к отцу в колхоз «Утро». Матери у нее не было; мать умерла, когда Тэгрынэ была еще совсем маленькой. Зато

с отцом была у нее такая дружба, какой ни у кого из подруг не было с их родителями.

Когда Тэгринэ кончала четвертый класс, в ее родном поселке была только начальная школа, четырехлетка. Но девочке и всем ее одноклассникам повезло: в тот же год школа была преобразована в семилетнюю. Через три года состоялся первый выпуск семилетки. Тэгринэ была в числе лучших выпускников.

Она хотела продолжать учение, и Мэмыль отвез ее в Анадырь. Начиная с восьмого класса, она пристрастилась к ботанике. Ничто не интересовало ее так, как жизнь растений. Ее выбрали старостой кружка юных натуралистов. Даже заполярная зима не помешала ей заняться составлением гербариев. Во время воскресных лыжных вылазок она забиралась вместе с подругами на зимние оленьи пастбища и под разрытым оленями снегом собирала коллекцию лишайников.

Руководительница кружка, учительница Мария Феоктистовна часто рассказывала школьникам о своих родных местах. Родом она была из Брянской области, из богатых лесом краев. Село, в котором она росла, даже называлось Верхние Лесники. С трех сторон к нему подступал дремучий бор, а в самом селе вокруг каждой избы зеленели фруктовые сады. Когда Мария Феоктистовна говорила о том, как шумят леса, глаза ее становились задумчивыми. Она смотрела в окно, разрисованное морозом, и вслед за ней начинала смотреть на эти морозные узоры Тэгринэ. Девочке, видевшей деревья только в кино и на журнальных иллюстрациях, казалось, будто перед нею, сверкая своим серебристо-белым убором, стоит зимний лес. А завывания выюги, бушевавшей за окном, представлялись шумом деревьев — шумом, которого ей не приходилось слышать ни разу в жизни.

Летом, когда Тэгринэ вернулась домой на каникулы, в ее фанерном чемодане вместе с бельем и книжками лежал десяток проросших лукович. С помощью отца она скототила два ящика, наполнила их землей и, посадив луковичы, выставила ящики на солнце перед ярангой. На ночь и в холодные, пасмурные дни старый Мэмыль убирал этот «огород» внутрь яранги. Он так увлекся затеей дочери, что вскоре взял на себя весь уход за луком: щедро поливал его водой из ручья, осторожно, как велела Тэгринэ, разрыхлял землю. Зеленые стрелочки с каждым

днем поднимались всё выше, радуя старика и удивляя соседей. Так в охотничьем колхозе «Утро» впервые была выращена огородная культура.

В то лето девятиклассница Тэгрынэ целые дни проводила в тундре, пополняя свои коллекции. План летней работы юных натуралистов был составлен еще в Анадыре под руководством Марии Феокистовны. Тэгрынэ выполняла этот план, не жалея сил. Она искала нужные растения по склонам сопок и по берегам ручьев, поднималась в горы, на много километров уходила в тундру. Она собирала четыре коллекции: мхов, ягодников, лекарственных растений и заполярных медоносов. Любой из тех, кому заполярная природа кажется бедной, скучной, однообразной, изменил бы, наверно, свое мнение, если бы походил тогда по тундре вместе с Тэгрынэ.

В то же лето произошла печальная история с отцовским биноклем. У старого Мэмыля был отличный бинокль, предмет его гордости. Когда работа над коллекцией медоносов была закончена, Тэгрынэ пришлось в голову заняться собиранием водорослей Чукотского моря. Эту идею горячо поддержал ее старый приятель Инрын, сын резчика Гэмауге. Они отправились на байдаре вдоль берега, причем Тэгрынэ захватила с собой бинокль отца: ей казалось, что невооруженным глазом распознавать водоросли сквозь толщу воды будет слишком трудно. Но в самом начале этой «научной экспедиции», когда юная натурастка рассказывала своему приятелю, какие полезные вещества содержатся в некоторых водорослях, байдару качнуло. Резким движением Тэгрынэ схватилась за борт, а бинокль, который держала в руке, выронила в воду.

И Инрын и Тэгрынэ ныряли до тех пор, пока совсем не задохнулись. Даже в самые жаркие дни августа купание в Чукотском море может доставить удовольствие только белым медведям. Кроме того, ныряя, Инрын и Тэгрынэ чуть было не упустили байдару: ее уже начало относить волнами, пришлось догонять ее вплавь. Словом, вернулись они в поселок лишь вечером — продрогшие, мокрые, без водорослей и без бинокля. Последнее, конечно, было самым обидным.

К счастью, отца не было дома: он заседал в правлении колхоза. Тэгрынэ успела как следует растереть тело, согреться, надеть сухое платье. Но как сообщить отцу о потере?

Теперь, через два года, сидя в самолете, летящем в Хабаровск, Тэгрынэ улыбается, вспоминая эту историю. Но в тот вечер ей было не до смеха.

Не дождавшись отца, Тэгрынэ пошла тогда к соседям — к резчику Гэмауге. Там всё было спокойно: погруженный в свою работу, резчик даже не заметил, в каком виде явился Инрын, даже не спросил, почему Инрын вздумал переодеваться.

Какие только планы не приходили тогда в голову растерявшимся ребятам! По большей части, прямо надо сказать, это были планы не очень смелые: сводились они к тому, чтобы как-нибудь избежать объяснений со старым Мэмылем. Тэгрынэ даже хотела немедленно, не дожидаясь конца каникул, бежать в Анадырь. Инрын предлагал другое — отправиться вместе вглубь полуострова, к дальним родственникам, живущим в одном из оленеводческих колхозов: в Анадыре родители сразу нашли бы, в тундре легче затеряться... Впрочем, каждое из этих намерений прожило не более пяти минут.

Оставаться дома и делать вид, будто ни в чем не повинна? Пропажа может быть обнаружена не сразу, так как футляр висит на своем обычном месте, — откуда известно, что он пустой? Нет, это тоже плохой путь. Это могло бы только отдалить объяснение на два-три дня, не больше. Потом всё равно пришлось бы сознаться, иначе отец подумал бы на кого-нибудь другого, а это было бы совсем уж нехорошо.

В конце концов Тэгрынэ решила всё рассказать отцу. Инрын предлагал попросить Гэмауге помочь в этом разговоре, но Тэгрынэ отвергла и такой план: сама провинилась, сама должна и ответ держать!

Вначале отец даже не поверил. Подошел к футляру, открыл, тщательно осмотрел, как будто бинокль мог спрятаться куда-нибудь в уголок. Было видно, что старик огорчен, очень огорчен. Но он спокойно погладил дочку по голове и спросил:

— О чем же ты плачешь? Ничего, у меня глаза еще достаточно зоркие. Я и без бинокля могу увидеть зверя там, где другой ничего не разглядит.

— Но ты всегда брал его с собой на охоту.

— Верно, дочка, брал. Но больше для виду, для похвальбы. Правда! Сказать по совести, я редко глядел в бинокль. А на охоте он даже немного мешал. Когда

идешь на охоту, надо брать с собой только самое необходимое. . .

Тэгрынэ понимала, что он говорит это ей в утешение, и слезы еще обильнее лились у нее из глаз.

— Не надо плакать, дочка, — строго сказал старый Мэмыль. — Ты ведь уже не маленькая. Только скупые и глупые люди могут плакать из-за вещей.

— Но я взяла эту вещь не спростя!

— Да, лучше, конечно, было бы спросить. Но я — твой отец, ты — моя дочь, и всё, что мы имеем, это наше общее. Значит, ты потеряла свой собственный бинокль, Тэгрынэ. Почти свой собственный. Стыдно плакать из-за такой потери. . . Скажи мне лучше, — какие водоросли вы собирались искать?

И он стал с интересом слушать ее рассказ о водорослях, из которых добывают иод и бром, о водорослях, заменяющих самые лучшие калийные удобрения. . . Теперь Тэгрынэ догадывается, что отец старался отвлечь ее от мыслей о бинокле. Впрочем, кто знает, он мог и вправду заинтересоваться, мог и вправду не очень горевать о потере. Он ведь не жадный. Он жадный только до знаний. Как и она. . .

Тэгрынэ вспоминает, как попал бинокль к ее отцу. Она была тогда совсем еще девчонкой. Ей было лет десять, наверно, или одиннадцать. В поселок приехал тогда какой-то ученый, собиратель народных песен и сказок. Его направили к Мэмылю: во всем поселке Мэмыль считался самым лучшим рассказчиком. Прослушав целый вечер и исписав целую тетрадь, ученый сказал:

— Я давно не встречал такого чудесного рассказчика. Вы действительно заслужили свою славу. Но всё это трудно назвать фольклором в собственном смысле слова. Это именно рассказы, а не сказки. Это интересные случаи из вашей жизни. Это иногда пересказы — тоже очень интересные и своеобразные — некоторых произведений русской литературы. Тут есть кое-что из Гоголя, кое-что из Горького. А мне хотелось бы услышать то, что вы сочинили сами. Или то, что вы слышали от других, всё равно. Но чтоб это было именно фольклором, народным творчеством.

— Нет, сочинять я совсем не умею, — рассмеялся Мэмыль. — Я действительно больше рассказываю о том, что мне читала дочка. Эти рассказы из хороших русских кни-

жек соседи слушают особенно охотно, потому что это правдивые рассказы, а на чукотском языке книжек еще маловато. А что до сказок. . . Сказки и песни вы услышите в другой яранге. Завтра я поведу вас к старому Атыку. Он сам складывает песни; лучшего певца вы не найдете на всем побережье.

Ученый остался ночевать. Не желая стеснять хозяев, он собирался лечь в сенках, но Мэмыль сказал:

— Есть такой старый чукотский обычай: если к тебе пришел гость, а у тебя нет дров для очага, — сломай на дрова свои нарты, чтобы гость мог обогреться; если у тебя нет и нарт, — сломай на дрова одну из жердей своей яранги. Я не могу позволить вам спать в сенках. Нет, нет, об этом и говорить нечего.

Тэгрынэ постелила гостю в пологе. Она постелила ему шкуру медведя, убитого Мэмылем года за два до того. Гость лег и при свете жирника стал читать какую-то книгу. Мэмыль спросил, что это за книга, и, вместо ответа, гость начал читать ее вслух. Это были стихи Некрасова. Стихи очень понравились Мэмылю и Тэгрынэ. Они слушали с таким вниманием, столько раз просили почитать еще и еще, что через день, уезжая из поселка, ученый подарил им эту книгу.

Мэмыль не стал отказываться. Но он сказал: «Если берешь книжку с собой в такой далекий путь, — значит, очень любишь ее». И со своей стороны подарил ученому медвежью шкуру. «Спасибо, — сказал ученый. — Но тогда пусть книжка будет моим подарком Тэгрынэ, а вы возьмите себе мой бинокль».

Так Мэмыль стал обладателем бинокля. И он владел этой чудесной штукой до тех пор, пока Тэгрынэ не вздумала коллекционировать водоросли.

Неудачная экспедиция, закончившаяся купанием в студеных волнах Чукотского моря, не охладила любви Тэгрынэ к растениям. Прошло два года. Тэгрынэ успешно окончила школу, и ее любимый предмет назывался уже не просто ботаникой, изучаемой каждым школьником, а важно именовался агробиологией. Но попрежнему целыми часами могла она просиживать над своими гербариями, рассказывать о садах, которых никогда не видела, мечтать о смородине и клубнике, которые будут расти в местах, доступных пока что только морошке, клюкве да заполярной ягоде шикше.

Надо было поступать в институт. Так советовали учителя, так хотела Тэгринэ, так хотел и старый Мэмыль, как ни грустно было ему расставаться с дочерью Хабаровск — это уже не Анадырь! Из Анадыря Тэгринэ приезжала два раза в год — на летние каникулы и на зимние. Да еще два раза за зиму Мэмыль навещал дочку. Теперь только один раз — летом — сможет приезжать домой Тэгринэ. Зимние каникулы слишком коротки, от Хабаровска не доедешь. И письма вдвое дольше будут идти... Правда, у старого Атыка сын учится еще дальше — в Ленинграде. Но у Атыка и старуха жива и другие дети с ними живут. А у Мэмыля, кроме дочери, — никого.

Однако задерживать дочь Мэмыль не хотел. Наоборот! Пусть учится, пусть узнает всё то, чего не мог узнать Мэмыль; пусть откроются перед ней все пути, которые прежде были закрыты для чукчей.

Тетя Нутэнэут приготовила в дорогу лепешек, жаренных в нерпичьем жиру. Когда Тэгринэ пришла прощаться, лепешки были уже готовы, дядя Гэмалькот аккуратно обернул их чистой тряпицей, а поверх — кожей, чтобы не замаслили чего-нибудь в чемодане.

— Ой, зачем же мне столько! — воскликнула Тэгринэ.

— Еда в дороге не тяжесть, — наставительно сказал Гэмалькот. — Едешь на день — бери запас на неделю.

— А едешь морем — запасайся вдвое, — добавила Нутэнэут. — Бери, Тэгринэ, ты ведь любишь эти лепешки. И Мэмыль их любит. А дорога у вас дальняя, пригодятся... Только вот не знаю, — вкусные ли? В очаге они у меня лучше получались.

— Вкусные! Очень! — еле вымолвила Тэгринэ, с удовольствием уплетая лепешку.

Гэмалькот лукаво прищурился:

— Нутэнэут сама хотела поскорей в дом перебраться. Кажется, дети так не торопились, как она. На все лады ярангу ругала. А теперь скучает по своему костру.

— Может, я просто не привыкла еще, — смущенно сказала тетя Нутэнэут. — Просто никак не могу приспособиться к плите. То недожарю, то пережарю.

Она отломил кусочек лепешки, попробовала и добавила:

— Ничего, на этот раз, кажется, подходящие получились. Бери все, Тэгринэ, не откладывай. Морской воз-

дух — соленый. Солью подышишь — сразу есть захочешь. Потому моряки хорошо едят, что солью дышат.

— Мы морем — только два дня. Отец до аэродрома меня проводит. А оттуда он меня самолетом отправит. Это — за медаль. Он мне давно обещал.

— Самолетом?! — Нутэнэут опустила на китовый позвонок и посмотрела на племянницу так, будто та сразу изменилась. — Самолетом! Знала бы покойная Туар, что ее Тэгрынэ поедет учиться в Хабаровск! Да еще по воздуху полетит, самолетом!

И Гэмалькоту, и Тэгрынэ, и самой Нутэнэут стало от этих слов яснее всё значение предстоящего полета. Правда, они уже привыкли к таким вещам, даже старики постепенно привыкли. А семнадцать лет назад, когда жива была Туар, это казалось бы чудом. Как тревожилась бы Туар за свою дочь! И в то же время какой гордостью наполнилось бы ее материнское сердце!

И вот стальная птица несет Тэгрынэ в Хабаровск. Несет над заливами Охотского моря, над восточными отрогами хребта Джуг-Джур.

«В Хабаровске обязательно куплю для старика бинюкль, — думает Тэгрынэ, и при мысли об отце улыбка озаряет ее лицо. — Куплю самый дорогой, чтобы еще лучше был, чем тот».

* * *

Тэгрынэ ловит себя на том, что мысли, только что казавшиеся ясными, последовательными, четкими, вдруг спутываются, становятся расплывчатыми, растворяются в каком-то тумане. И глаза, оказывается, были закрыты.

«Это его пример меня в сон вогнал», — думает Тэгрынэ, разглядывая толстого пассажира, сидящего перед ней. Он задремал вскоре после того, как сказал, что самолет «лег на курс», идет «строго на юго-запад». Как будто хотел только убедиться, что пилот избрал верное направление, а убедившись, спокойно опустил свои тяжелые веки. Просыпался он с тех пор всего один раз, — когда самолет опустился для промежуточной заправки. А когда снова сели в самолет, — снова почти сразу же закрыл глаза. Может, его просто укачивает в полете, убаюкивает? «Ему-то, конечно, можно спать, — думает Тэгрынэ, — он, может быть, уже двадцать раз летал. А мне нужно каждую секунду использовать. А то еще самое интересное просплю».

Да, толстый пассажир определенно географ. Или геолог. Наверно, участник какой-нибудь экспедиции. Может быть, даже начальник экспедиции. Во-первых, на руке у него, рядом с часами — компас; во-вторых, когда все сдавали в багаж свои чемоданы, он сдал только большой рюкзак с четырьмя туго набитыми накладными карманами. Седина, умное, спокойное лицо... «Это профессор геологии, — решает Тэгрынэ. — Его экспедиция открыла новое месторождение. Какое-нибудь очень ценное месторождение. Золото, или нефть, или апатиты. Его срочно вызвали в Москву для доклада правительству. И, скорее всего, он вовсе не дремлет, а обдумывает свой предстоящий доклад».

Конечно, этот пассажир может, в конце концов, оказаться не геологом, а инженером-строителем или бухгалтером-ревизором, ездившим на Чукотку проверять финансовый отчет какого-нибудь учреждения. Но Тэгрынэ мысленно уже помогает ему составлять доклад для Совета министров. «Уважаемый товарищ председатель! — сказала бы она на его месте. — Уважаемые товарищи министры! Я счастлив, что могу доложить вам об открытии, которое поможет дальнейшему расцвету одной из окраин нашей великой Родины. Месторождение, открытое нами, дает серьезные основания думать о наличии многих других полезных ископаемых в том же районе. Они должны быть открыты, и они будут открыты! Местные кадры для этих работ уже растут. Вместе со мной летела в самолете одна чукотская девушка. Она летела учиться...»

Тэгрынэ так увлекается, что на минуту забывает о своем намерении заниматься агробиологией, а не геологоразведкой.

Остальных своих спутников она немного знает — успела познакомиться с ними еще на аэровокзале, в ожидании самолета. Только этот, толстый, приехал в последний момент. А во время промежуточной заправки он походил минут десять, чтобы размяться, сел на камень, вынул блокнот и записывал в него что-то до тех пор, пока летчик не пригласил пассажиров подняться в кабину. Так Тэгрынэ и не знает, правильно она определила его специальность или нет.

Два сотрудника Главсевморпути возвращаются из командировки. Один из них — летчик, Герой Советского Союза, участник рекордных перелетов, поражавших весь

мир в те годы, когда Тэгрынэ была еще маленькой девочкой. Сейчас он уже немолод.

Рабочий рыбоконсервного завода чукча Рэнтыргин летит на совещание передовиков рыбной промышленности.

Уполномоченный Союзпушнины — маленький, хитроглазый — ведет себя так, будто находится не над облаками, а в собственном рабочем кабинете. Он достает какие-то папки из своего огромного портфеля, перелистывает бумаги, испещренные цифрами, подчеркивает что-то красным карандашом.

Член президиума Хабаровского горисполкома и корреспондент «Тихоокеанской звезды» — тоже, видимо, бывалые воздушные путешественники. Они играют в шахматы. Тэгрынэ впервые видит такие шахматы: вместо доски нечто вроде кожаного бумажника с чередующимися квадратиками темной и светлой кожи; фигурки, плоские, из пластмассы, плашмя вставляются в прорези квадратиков. Игроки так поглощены шахматами, что даже головы не поднимают, в окошко не поглядят.

Что ж, Тэгрынэ тоже может заняться делом, она уже не первый час в полете.

Она вынимает из портфельчика книгу и пытается читать. Но из этого ничего не получается: глаза всё время поднимаются к окошку, за которым с каждой минутой открываются всё новые картины, полные редкостной, неповторимой красоты.

Когда самолет чуть кренится влево, Тэгрынэ через склоненные головы шахматистов видит сияющий простор моря. Только один раз виден был маленький пароходик, всё остальное время — необъятная поверхность моря, идой волной своей отражающая солнце.

Справа, за окошком, возле которого сидит Тэгрынэ, — горы, горы, горы. Могучие горные хребты, величественные снежные вершины, высокогорные плато, крутые отроги. Потом горы вдруг отваливают в сторону, виден берег, видна густая синева моря. Потом и берег отваливает направо, отходит всё дальше. Впереди, среди синевы, виден какой-то гористый остров. Может быть, это Большой Шантар? Нет, Шантарские острова должны быть, кажется, дальше, южнее.

Толстый пассажир открыл, наконец, глаза: Тэгрынэ решает воспользоваться этим.

— Когда смотришь вниз, — говорит она, — кажется,

будто под нами не настоящая земля, а географическая карта. Посмотрите, совсем как на карте. Правда?

— Да. Когда летишь на большой высоте, сходство с картой становится еще сильнее.

— А сейчас мы разве не на большой высоте летим?

— Сейчас? — пассажир посмотрел вниз. — Сейчас около тысячи метров будет.

— Тысяча метров?! Целый километр от земли!

— Да. Вы, видимо, впервые совершаете воздушное путешествие?

— Впервые. А это очень заметно?

— Нет, отчего же... Почти совсем незаметно. А что касается сходства земной поверхности с ее условным изображением на карте, то это факт не такой простой, как кажется. Учтите, что условные обозначения картографии были приняты задолго до того, как появилась авиация. И вот, как вы правильно заметили, они почти совпали с той картиной, которая действительно открывается перед нами с птичьего полета. Замечательное, по-моему, совпадение!

«Ну, конечно же, географ!» — думает Тэгрынэ, с интересом слушая пассажира. Ей всё это и в голову не приходило, когда она сказала, что сверху земля похожа на карту.

Она снова смотрит в окно. Горы здесь совсем не такие, как на севере. Они темнозеленые, но эта окраска не ровная, не спокойная, это не может быть цветом самих гор. Это похоже скорее на сплошное многотысячное стадо каких-то удивительных животных, пасущихся на склонах. Да, да, всё дело именно в этом: темнозеленая, кудреватая масса почему-то кажется Тэгрынэ живой. «Лес!» — догадывается Тэгрынэ.

— Скажите, пожалуйста, — спрашивает она, — это не леса? Вон там, на склонах.

— Леса. Самые настоящие горные леса. Безлесная тундра давно уже позади.

«Леса! Настоящие леса!» — повторяет про себя Тэгрынэ. Как давно уже мечтала она увидеть их!

В ее родном поселке, рядом с ярангами, стоит уже несколько бревенчатых домов. Пароходы привезли их на Чукотку в разобранном виде — сотни бревен на одном пароходе. Вдоль улицы стоят столбы; на них, раскачиваемые ветром, висят электрические лампочки. Столбы — это

тоже бревна, а каждое бревно было когда-то стволом живого дерева — растущего, зеленого... Оно помахивало ветвями на ветру, перешептывалось о чем-то со своими соседями! Тэгрынэ не раз читала об этом, не раз любовалась снимками с картин, изображавших лес. «Если бы все бревна, какие есть в нашем поселке, — мечтала она, когда была еще девятиклассницей, — если бы все они вдруг воскресли, встали, пустили корни, оделись листвою... Целый лес, наверно, получился бы!»

Всего за несколько дней до отъезда, в новом доме дяди Гэмалькота Тэгрынэ заметила, что на одном из бревен обильно выступила смола. Тэгрынэ легонько притрагивалась к ней мизинцем и, медленно отводя руку, с любопытством следила за тонкой клейкой ниточкой, прилипшей к пальцу; любовалась янтарным цветом смолы, вдыхала ее крепкий, душистый запах.

Осенние штормы не раз выбрасывали на берег стволы больших деревьев. Ни листвы, ни хвои на них, конечно, не было, ветки были обломаны, но оставалась кора, и под нею жизнь еще чувствовалась. Тэгрынэ смотрела на эти стволы и видела живое раскидистое дерево. Она могла часами рассматривать такой подарок моря, пока Мэмыль или кто-нибудь другой из охотников не начинал разделять его на брусья, собираясь мастерить новые нарты или остова байдары.

А теперь Тэгрынэ уже летит над такими местами, где на сотни километров тянутся дремучие леса. «Шум деревьев, — думает Тэгрынэ, — на что он похож? На завывание вьюги или на шум прибоа? Или, может быть, на гул авиадвигателя?»

Она решает, что в Хабаровске, как только оформит свои дела в институте, непременно пойдет в ближайший лес. Или поедет, если это не очень близко. Потрогает руками стволы живых деревьев, посмотрит, как машут они ветвями навстречу ветру, послушает, как они шумят.

Она хочет спросить своего соседа, есть ли леса под Хабаровском, но видит, что глаза у него опять закрыты. Дремлет он или думает, прикрыв глаза, чтобы не рассеивалось внимание? И в том и в другом случае нечего, конечно, надоедать ему своими расспросами.

...Сколько ни старалась Тэгрынэ запечатлеть в памяти каждый момент путешествия, не пропустить ничего интересного, но случилось так, что соседям пришлось разбу-

дять ее, когда самолет приземлился на хабаровском аэродроме.

— Дальше не полетим, — говорит толстый пассажир, притрагиваясь к ее плечу. — Доброе утро! — с улыбкой добавляет он, хотя на дворе поздний вечер.

Тэгрынэ выходит из самолета. Совсем темно, как зимой. На Чукотке в августе даже глубокой ночью не бывает такой темноты.

Вместе со своими спутниками она идет по полю к освещенному зданию аэровокзала.

— С прибытием, товарищи! — говорит дежурный по аэровокзалу. — Присаживайтесь, отдыхайте. Автобус будет ровно через пять минут. А ваша машина здесь, Юрий Николаевич, — обращается он к члену президиума горисполкома. — Уже с полчаса дожидается.

— Отлично, — говорит Юрий Николаевич. — Ну, товарищи попутчики, кто из вас со мной? Могу предложить три места.

— Спасибо, — отвечает знаменитый летчик. — Мы автобуса подождем.

— Вас-то я, так и быть, оставлю. Вы у нас свой человек. А вот товарищей, которые здесь впервые, доставлю до места назначения. . . Здравствуй, Игорь! — приветствует он своего шофера, зашедшего в это время в зал. — Возьми-ка, будь другом, чемодан товарища Рэнтыргина. А я, Тэгрынэ, возьму, если разрешите, ваш чемодан. Ого! Увесистый! Небось, книги?

— Книги. Главным образом книги.

— Так я и думал. И вас, товарищ Холмогоров, как гостя я тоже попрошу в машину.

Холмогоров — это фамилия толстого пассажира. Он говорит:

— Я в Хабаровске частый гость. И, кроме того, я один всю вашу машину заполню.

— Нет, нет, никаких отговорок. Поехали!

Город освещен, но Тэгрынэ почти ничего не может разглядеть: ее посадили посередине, правое окошко заслонил Холмогоров, левое — Рэнтыргин. Оба они вышли возле гостиницы «Амур», и машина помчалась к общежитию пединститута.

Свернули в переулок, в котором нет ни одного фонаря. Видна только узкая полоса мостовой, освещенная автомобильными фарами.

— Безобразие! — ворчит Юрий Николаевич. — Безобразие. Две недели осталось до начала учебного года, а еще света сюда не дали. Район это, понимаете ли, новый, только начинаем застраивать. Но строители клялись на президиуме, что к первому сентября в студенческом общежитии и свет будет, и вода, и всё прочее.

Машина останавливается, шофер выносит чемодан Тэгрынэ, ставит его у дверей какого-то дома и возвращается на свое место. Но они не уезжают до тех пор, пока комендантша не отзывается на стук Тэгрынэ.

— Сейчас, сейчас! — слышен из-за двери сонный голос. — Кто там?

После непродолжительных переговоров она отправляется за ключами.

— До свидания, Тэгрынэ! — кричит Юрий Николаевич. — Ни пуха, ни пера!

— До свидания!

Машина осторожно разворачивается и уходит. Тэгрынэ остается одна. Налетает ветер, над головой раздается какой-то шум, будто ветер гонит тысячи сухих снежинок и они шелестят о верхние шкуры яранги. Но какой же в августе снег? Нет, это похоже скорее на шелест множества крыльев, — так бывает, когда низко, над самой головой, проносится огромная гагачья стая.

Комендантша возвращается с ключами и открывает двери.

* * *

Тэгрынэ поместили в комнату, где спят еще две девушки. Спит, собственно, одна из них, другая проснулась и через минуту после того, как Тэгрынэ легла, спрашивает ее:

— Девушка, ты еще не спишь?

— Нет еще.

— Тебя как звать?

— Тэгрынэ.

— Тэгрынэ? Никогда такого имени не слыхала. Красивое имя. Ты с Чукотки, да?

— Да. А тебя как звать?

— Меня Светланой, Светой. А ты почему так поздно приехала? Ведь экзамены уже скоро кончаются.

— Меня уже зачислили. Я документы по почте послала, мне ответили, что зачислена.

— Медалистка?

- Да.
- Молодец! Ну, спокойной ночи, ты, наверно, устала с дороги. Долго ехала?
- Нет. Я — самолетом.
- Да ну? И не страшно?
- Не страшно.
- Ой, как интересно! Завтра ты нам всё-всё подробно расскажешь. Я ни разу в жизни не летала. А сегодня давай спать, нам завтра с утра на консультацию.
- Спокойной ночи.
- Но минуты через две Светлана снова шепчет:
- Тэгринэ, ты не заснула еще?
- Нет.
- Ты на какой факультет поступаешь?
- На естественный. А ты?
- Я на литературный. Факультет русского языка и литературы. И Варя — на литфак. Вон та девушка, соседка наша. Ее Варей зовут.
- Я на литературный тоже хотела. Только мне ответили, что на два нельзя.
- Нет, на два сразу не разрешается. Только на один можно.
- Да. Мне ответили, что зачислили меня на естественный, а литературой я смогу заниматься в кружке...
- Правильно, в литературном кружке. И кроме того... Слушай, знаешь, что я придумала?
- Что?
- Вот что. Меня естественные науки тоже очень интересуют. Давай условимся так: я тебе буду рассказывать про всё, что проходят на нашем факультете, а ты мне — про всё, что на вашем. Согласна?
- Согласна.
- Вот и договорились. А теперь будем спать. А то, если я послезавтра провалюсь, весь наш уговор лопнет.
- Девушки умолкают, но опять только на одну минуту. На этот раз молчание прерывает Тэгринэ.
- Светлана! — шепчет она еле слышно, чтобы не потревожить свою новую подругу, если та уже начала засыпать.
- Да?
- Светлана, один только вопрос. Ты не знаешь, здесь можно купить бинокль?
- Что купить?

— Бинокль.

— Бинокль? Конечно, можно. Я тут уже побегала по магазинам. Я ведь в Хабаровске тоже первый раз.

— А ты откуда?

— Из Комсомольска. А зачем тебе понадобился бинокль?

— Это долго рассказывать.

— Жених просил прислать?

— Нет, это не для жениха. Я тебе завтра расскажу. Спокойной ночи.

Девушки, наконец, засыпают. Уже в полусне Тэгрынэ слышится, будто Светлана снова спрашивает: «Жених просил прислать?» И беззвучно шевеля губами, она снова отвечает: «Нет, это не для жениха». О ком, собственно, шла речь? Почему Светлана решила, что у Тэгрынэ уже есть жених? .. Инрын? Но Светлана ведь ничего о нем не знает! Где он сейчас? Он должен был отправиться за горючим в Бухту Лаврентия. Может быть, он сейчас в море, в пути. .. Тэгрынэ и сама-то, даже в мыслях, еще никогда не называла его своим женихом. А когда Светлана произнесла это слово, Тэгрынэ сразу подумала об Инрыне. О ком же еще? — конечно, о нем! Но сейчас, в полусне, всё это почему-то кажется Тэгрынэ необыкновенно смешным. . .

* * *

Утром Тэгрынэ просыпается оттого, что солнце, прорываясь сквозь занавески, светит ей прямо в лицо. Рядом с кроватью, на стуле, висит ее платье, а к платью приколоты записка. Тэгрынэ откалывает ее и читает: «Девушка, мы побежали на консультацию (извини, я за ночь забыла твое имя; помню, что красивое, а какое именно — забыла). Не хотели тебя будить, уж очень ты сладко спала. Припасами, которые в наших тумбочках, можешь распоряжаться, как своими. Советуем заглянуть в тумбочки, там есть кое-что вкусное. Если тебе понадобится утюг, можешь попросить у комендантши. Зовут ее тетя Дуня. Ток уже включили, можно пользоваться электрическим утюгом. Если пойдешь в институт и захочешь найти нас, — мы в 62-й аудитории. Света и Варя».

Да, утюг, пожалуй, понадобится. Сегодня, видать, солнечно, можно надеть белую блузку, а она, наверно, порядком измялась в чемодане. Что касается припасов, которые лежат в тумбочках Светы и Вари. . . Интересно, — какие



там вкусные вещи? Нехорошо отказываться, когда тебя угощают от всего сердца. Зато потом, когда девушки вернутся в общежитие, Тэгрынэ угостит их лепешками, приготовленными тетей Нутэнзут.

Не выпуская из руки записку, Тэгрынэ снова откидывается на подушки и сладко потягивается.

Какие странные занавески! Пятнистые какие-то... И эти пятнышки шевелятся! Они дрожат, перемещаются, становятся то темнее, то светлее!.. Тэгрынэ зажмуривается, по-детски протирает кулаками глаза. Ой нет, это вовсе не пятнышки, это какие-то тени с улицы. Это...

И вдруг Тэгрынэ понимает, что это. Когда-то, в каком-то кинофильме, она уже видела эти солнечные блики, играющие в колеблемой ветром листве.

Босиком, в одной рубашке Тэгрынэ бросается к окну, широко распахивает его. Две высокие стройные березы протягивают к ней свои ветви. Вот эти зеленые, прохладные листья, их можно потрогать руками, прижать к щеке, к губам...

Тэгрынэ смотрит вниз. Так и есть, это второй этаж. Значит, вчера вечером, когда она стояла внизу, а тетя Дуня пошла за ключами... Ну, конечно, откуда здесь возьмется гагачья стая! Просто Тэгрынэ не привыкла к тому, что растения могут шелестеть не у самой земли, а высоко над головой. Это березы шумели над ней вчера вечером, это березы поздравляли ее с приездом!





IV ТОВАРИЩИ

Начало сентября.

Южные склоны холмов покрыты зеленым ковром с частым черно-красным узором — это северные ягоды шикша да морошка. Пройди по такому склону — подошвы торбаз сразу станут черными от шикши.

В полдень солнце еще немного греет. А чуть закроет его облаком, — становится так прохладно, что начинаешь понимать: зима уже совсем близко.

С моря дует холодный ветер. Недели через две, может быть, через три на Чукотке выпадет снег. А в лощинах между холмами и в складках северных склонов, куда за всё лето ни разу не заглянули солнечные лучи, сугробы снега лежат еще с прошлой зимы. Из-под сугробов к морю бегут по лощинкам ручьи. Но скоро они замерзнут.

Белые ночи давно уже прошли. Теперь темнеет рано, и, как только солнце заходит, Тэнмав зажигает на маяке электрический фонарь. Маяк стоит на самом высоком из прибрежных холмов. Его яркий мигающий свет виден далеко, и моряки на кораблях, проходящих к Берингову проливу, с благодарностью принимают этот привет Тэнмава.

Бригада Кымына на своем вельботе возвращалась из бухты Лаврентия. Туда они ездили за горючим для колхозных моторов и за школьными учебниками. На обратном пути что-то случилось с мотором: задымил, как плохая печка, стал давать перебои, а потом и вовсе заглох. Да к тому же волна поднялась. А до дому больше суток еще надо плыть!

На веслах добрались до берега, вытащили вельбот. Кымын поднялся на холм, пошел к Тэнмаву на маяк, попросил послать радиogramму председателю колхоза «Утро», сообщить ему причину задержки. Хорошо еще, что мотор заглох неподалеку от маяка, а то и сообщить о себе не могли бы.

Когда Кымын спустился с холма, рядом с вельботом была уже натянута палатка. Перед ней на брезентовом полотнище лежали части разобранного мотора. Моторист бригады — Икрын, весь черный от мазута, разглядывал каждую деталь, недоуменно пожимая плечами.

Бригадир подходит к Икрыну и вопросительно смотрит на него. Но взгляд этот, выражающий вместе с вопросом и упрек и в то же время сочувствие, пропадает впустую: моторист, расстроенный своей неудачей, даже не поднимает головы.

Тогда Кымын спрашивает:

— Ну?

Икрын и на этот раз не поднимает головы. Глядя на торбаза бригадира, он только разводит руками.

— Ой, как нехорошо получилось! — говорит Кымын и садится на землю рядом с брезентом. — Как нехорошо! В колхозе ждут ведь. Вот-вот на охоту выезжать надо, пора моржа колоть. А нас нету.

— Плохо, — вздыхая, соглашается Икрын.

— Да еще срочный груз задерживаем, — продолжает Кымын. — И горючее и учебники. Сентябрь уже, ребята в школу пошли, им учиться надо. А учебники — вот они, лежат себе в нашем вельботе. Очень плохо. Ты, Икрын, молодой, у тебя детей нет. . .

— Ну, нет детей, так что же? Разве я не понимаю, что в школе учебников дожидаются? Наверно, и Эйнес нас ругает, и Вамче.

Кымын мрачнеет, представляя себе, как, наверно, ругают его и учитель Эйнес и председатель Вамче. Но уже темнеет, ремонт мотора надо отложить до утра. Кымын говорит:

— Ладно, идем в палатку, Икрын. Сейчас всё равно ничего не видать. Попьем чаю и спать ляжем. Утром я тебя до солнца подниму. Может, утром у тебя лучше дело пойдет.

Неподалеку расположено стойбище, в котором у Кымына много родственников. Он часто приезжает к ним. Но

сейчас он решил даже не заходить в стойбище, будет ночевать в палатке, вместе с бригадой. Кымын очень самолюбив, он бережет свою честь. Никто не сможет сказать, что, воспользовавшись вынужденной стоянкой, Кымын навещал своих родичей и потому не очень торопился.

Даже тени такого подозрения ни у кого, конечно, не возникло бы, если б Кымын и переночевал у родственников: в колхозе хорошо знают, что он за человек.

В палатке одни пьют чай, другие уже устраиваются на ночь. Разговаривать никому не хочется. Во всей бригаде один только лежебока Кэнири нисколько не огорчен неприятным происшествием. Ему всё равно, где спать, — лишь бы спать, а не работать. Но, делая вид, что он тоже озабочен, Кэнири говорит:

— Из тебя, Инрын, моторист, как из моего пальца — корабельная мачта.

— Не трогай Инрына, — строго предупреждает Кымын.

Сквозь парусину палатки слышится похрустывание гальки. Кто-то идет.

— Развяжите-ка вход.

Русский парень — светловолосый, с веселыми глазами — пригнувшись, забирается в палатку. Под расстегнутым пиджаком видна нарядная голубая рубашка, ворот которой широко раскрыт; какое значение имеет погода для того, у кого из-под ворота виднеется морская тельняшка!

— Товарищу Кымыну радиограмма. Тэнмав просил передать.

Кымын берет сложенный вчетверо листок бумаги, разворачивает, читает сначала про себя, потом вслух:

«Сделайте всё возможное, чтобы скорее приехать. Послезавтра назначен выезд всего колхоза на лежбище моржей. Вамче». . . Слышали?

— Слышали, — отзывается Кэнири, укладываясь спать. — Вамче хочет, чтоб мы на веслах доехали.

— На веслах в такую волну не доберешься, — говорит парень в голубой рубашке, не поняв, что Кэнири пытается иронизировать.

— Сделаем так, — медленно произносит бригадир и на минутку умолкает, раздумывая, как именно следует поступить. — Вот как сделаем. Если утром Инрын сумеет починить мотор, — хорошо. Если не сумеет, — оставим

Иирына тут с вельботом, а сами напрямик пойдем, через горы. Часть горючего и учебников на себе понесем.

— Правильно,—говорит охотник Онна. — Книжечек два пакета возьмем. Горючее в бидоны разольем. Надо у Тэн-мава еще один бидон попросить. Так и донесем.

Охотники кивают головами: кажется, выход найден, хоть и нелегкий выход. Только у Кэнири глаза становятся такими скучными, будто у него заныли зубы. Он говорит:

— Ну, хорошо. Часть груза мы, может быть, донесем. А сами на что мы там нужны без вельбота? На чем охотиться поедем? Пешком в море не выйдешь. Мы там с исправным вельботом нужны.

Если Кэнири изредка и скажет правду, так это обязательно какая-нибудь неприятная правда.

— Может, вы пойдете через горы, а я мотор почию,—говорит Иирын. — Я тогда раньше вас домой вернусь.

— А если не сумеешь починить? — осторожно спрашивает Кэнири.

— «Если, если»! Ты со своим «если» так бы и валялся тут кверху пузом! Может, ты что-нибудь предложишь?

Наступает молчание. Предлагать что-нибудь лучшее, чем придумал бригадир, Кэнири и не собирался. Просто ему очень не хочется идти пешком через горы да еще с тяжелым грузом.

Русский парень посматривает на часы, потом вдруг говорит, махнув рукой:

— Ладно, давайте поглядим, что у вас с мотором случилось. Я на маяке механиком работаю. Мы бы с вашим мотористом взяли мотор на маяк — там, в мастерской, и поглядели бы. Авось исправим. Не возражаете, товарищ Кымын?

— Конечно! От всего колхоза спасибо скажу!

• • •

Иирын и механик поднимаются по узенькой тропке на вершину холма. На плече у Иирына мотор. Подниматься с такой ношей по крутой тропке, да еще в темноте, даже крепкому, двадцатилетнему Иирыну нелегко. Он спотыкается.

— Давай я понесу,—предлагает механик. — Я на этом холме уже каждую кочку изучил.

— Нет, ничего. Донесу.

— Ну, тогда давай отдохнем.

Механик бережно снимает мотор с плеча своего спутника. Они садятся на камни. Инрын смотрит на вершину холма, где вспыхивает, гаснет и снова вспыхивает обращенный к морю луч маяка. А механик смотрит вниз, где километрах в трех видны огоньки ближайшего стойбища.

— Ты здесь недавно? — спрашивает Инрын.

— Еще и полугода нету. Конечно, срок небольшой. Но в таких населенных пунктах, как наш маяк да ближнее стойбище, освоиться нетрудно. Я тут не только всех охотников знаю — с каждым школьником лично, можно сказать, знаком.

Механик вынимает коробку папирос и продолжает:

— Пора, кстати, и нам с тобой познакомиться. Меня Анатолием звать.

— А меня Инрын.

— Слышал. Куришь?

Они закуривают. При свете спички Инрын видит, что Анатолий улыбается чему-то.

— Послушай-ка, моторист, есть у тебя невеста?

— Что? — переспрашивает Инрын, смущенный неожиданным вопросом.

— Невеста, спрашиваю, есть? Ну, дружишь с какой-нибудь девушкой, гуляешь?

— А зачем тебе?

— Ишь ты, смутился, словно красная девица. Нельзя разве спросить?

Другому встреченному впервые человеку Инрын, наверно, не стал бы рассказывать о таких вещах. Но Анатолий ему нравится чем-то. Да и спрашивает он совсем просто, по-товарищески. Парень, должно быть, хороший, насмешничать по такому поводу не будет...

— Есть у меня невеста. Только гулять нам с ней не приходится. Она теперь далеко, в Хабаровске. Учиться уехала. А почему ты спросил?

— Видишь ли... Нет, я тебе потом объясню. Пошли!

Анатолий рывком поднимает мотор, кладет его себе на плечо и идет вверх по тропинке.

— Постой! Что ты! Давай я возьму!

— Нет уж, браток. Теперь моя очередь. Не хотел сам отдать, так я тебя обхитрил.

В мастерской маяка ярко светит электричество. Станки и инструменты сверкают. Видно, хозяин здесь аккуратный.

— Светло! — жмурясь, говорит Инрын.

— Еще бы! Ведь мы даже целое море освещаем. Что ж самим-то в потемках сидеть! Ну-ка, поглядим, в чем у нас тут загвоздка...

Часа через полтора, дважды перебрав мотор, но всё еще не обнаружив «загвоздки», Анатолий говорит:

— Ничего не понимаю. Никакой поломки не видно, а не заводится. Давай отдохнем минут десять. Объявляю перекур.

Анатолий давно уже снял с себя не только пиджак и нарядную голубую рубашу, но и полосатую тельняшку. Теперь он сидит на полу, голый по пояс и почти такой же черный от мазута, как Инрын.

— Тебе, браток, приходилось в здешнем стойбище бывать?

— Нет.

— Живет здесь одна девушка. Учительницей работает. Ну, как бы это сказать, приглянулись мы друг другу. В ноябре, на праздники, думаем свадьбу сыграть. Приезжай, погуляем.

— Приеду. Раз на свадьбу зовешь, обязательно приеду.

— Решено... Такое, понимаешь, на меня нашло — не могу по вечерам на маяке усидеть. Как работу кончаю, так сразу помоюсь, переоденусь и — в школу, к учительнице своей.

— Понятно, — смеется Инрын.

— Что понятно? Чего это тебя смех разбирает?

— Понял теперь, почему ты со всеми школьниками знаком!

Анатолий тоже весело хохочет и, схватив Инрына за плечи, пытается положить его на лопатки. Бороться очень неудобно, — оба держат в зубах папиросы и старательно отворачиваются, чтобы не обжечь друг друга. Повозившись несколько минут, они садятся и шумно отдуваются.

— Верно, Инрын. Правильно догадался. Через учительницу я и с ребятами подружился. Вместе с ними школу к учебному году готовил. Окна стеклили. Здесь, в мастерской, сделал им фонарь для диапозитивов. Ни на — невесту мою Ниной звать — сама мне чертежики для этого фонаря начертила. А теперь она взялась за десятый класс меня подготовить. Хочу в будущем году в заочный институт поступить. Каждый вечер занимаемся.

— Что же ты сегодня не пошел?

— Пошел, да не дошел. Только собрался к Нине, а Тэнмав говорит: «Занеси по дороге радиограмму Кымыну. Под холмом его вельбот стоит». Ну, а дальше ты сам знаешь.

— Так это, значит, из-за меня? Подожди, Анатолий. . . Может, еще не поздно? Может, пойдешь, а? Ты иди, я как-нибудь сам. . .

— Куда ты меня посылаешь, чужак человек? Ты погляди-ка на часы — ночь уже. Нина, небось, ждала-ждала, да и спать легла. . . Ну, время перекур кончать.

— Нет, как же это всё-таки. . .

— Да ты, Инрын, не тревожься. Она у меня не такая, не вертушка какая-нибудь. Должна понять, что значит товарищеская выручка. Нас на корабле так учили: «Сам погибай, а товарища выручай». По-суворовски.

— Так ведь ты меня первый раз видишь.

— Всё равно. Тем более — тут не только о тебе речь, а о деле, — в колхозе ждут. Товарищ — это ведь не только тот, с которым ты из одного котелка щи хлебаешь. В бою, брат, каждый наш матрос, каждый солдат — бесценный тебе друг и товарищ. То же самое и в гражданской, в мирной, значит, жизни. Я это так понимаю.

Анатолий в последний раз затягивается папирсой, бросает ее в печку и продолжает:

— Вот я тогда, на тропке-то, подумал о Нине, да и спросил тебя про невесту. Предположим, она на месте Нины была бы. Неужели обиделась бы на тебя, что зря прождала? Нет? Вот то-то и оно. . . Ну, давай, Инрын, за мотор браться. С места не сойду, пока не пойму, в чем тут дело.

* * *

Кымын просыпается первым. В палатке еще темно. Он садится, всматривается в спящих товарищей и, убедившись, что Инрын еще не пришел, сразу возвращается к тем тревожным мыслям, с которыми уснул. К сожалению, Кэнири прав. Даже если удастся пронести груз через горы, выезд колхоза на охоту будет наполовину сорван. Нельзя возвращаться в колхоз без вельбота.

Бригадир встает и, осторожно переступая через спящих, выходит из палатки.

На песчаном берегу, шагах в тридцати от палатки, лежит вельбот, освещенный утренним солнцем. Без мотора

он кажется Кымыну какой-то огромной дохлой рыбой, выброшенной волнами.

По тропке, соединяющей стойбище с маяком, торопливо шагает девушка. Она останавливается, срывает вместе со стебельком желто-красную ягоду морошки и вдевает ее в петлицу жакетки, рядом с комсомольским значком. Когда она поднимает голову, Кымын узнает ее. Это здешняя учительница, она живет в доме его сестры.

— Здравствуй, Нина Ивановна!

— Здравствуйте, Кымын!

— Что это ты так рано встала?

— Мне на маяк надо. Хочу успеть до занятий вернуться назад.

— Идем тогда вместе. Я тоже на маяк собрался.

Тропка узкая, двоим по ней не пройти. Кымын, из уважения к учительнице, пропускает ее вперед. Но из уважения к старшему, Нина Ивановна идет не по самой тропке, а вдоль нее — по траве, по спелым ягодам шикши. Кымын видит, как от сока раздавленных ягод постепенно чернеют каблучки ее светлых туфель.

— Нина Ивановна, ты на маяке механика знаешь? Видный такой парень, красивый.

— Разве красивый?

Кымын не видит лица Нины Ивановны — только ухо и часть щеки. Но по тому, как они краснеют — сначала щека, а потом и ухо, — он понимает: молодая учительница вполне согласна, что механик — красивый парень. Не касаясь больше этого вопроса, Кымын говорит по-человому:

— Мне к нему надо. Покажешь мне, где он живет?

— Хорошо, — отвечает Нина Ивановна, уже справившись со своим смущением. И озабоченно добавляет: — Я тоже к нему иду.

Комната Анатолия заперта, а в мастерской всё еще почему-то горит электричество. Нина Ивановна тихонько открывает дверь мастерской.

На полу, укрывшись одним бушлатом, спят Анатолий и Иирын. Кусок брезента вместо простыни, свернутый валиком, замасленный ватник вместо подушки — вот и вся постель.

— Толя! — тихонько зовет Нина Ивановна.

Нет, непохоже, что их можно сейчас разбудить таким нежным окликом.

Нина Ивановна опускается на колени и тормошит Анатолия. Сначала он только недовольно бормочет что-то, потом открывает глаза, быстро садится и с удивлением смотрит на Нину Ивановну и Кымына.

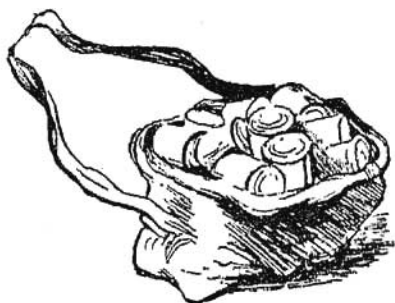
— Доброе утро, — наконец говорит он смеясь. — Всё в порядке!

Икрын тоже проснулся. В первый момент он не может сообразить, как очутился в этой мастерской. Но, услышав слова Анатолия, он сразу вспоминает всё, что произошло, и вслед за товарищем повторяет:

— Полный порядок.

Что, собственно, имеют они в виду? То ли, что неисправность в моторе обнаружена и ликвидирована, что под утро его удалось, наконец, завести, и теперь он в отличном состоянии — хоть сейчас на вельбот?.. То ли, что молодая учительница напрасно тревожилась, не дождав-шись вчера вечером механика с маяка?





V

ДВАДЦАТЬ ВАНЮК СГУЩЕНКИ

От поселка Иквынэй до колхоза «Утро» всего лишь семнадцать километров. Дорога накатана: наверное, уже десятки нарт прошли по ней после снегопада. А рядом с дорогой проложена свежая лыжня.

Легко скользят по снегу лыжи Йорэлё. Кажется, что хоть целый день так иди, — всё равно не устанешь.

Погода хорошая, морозная. Справа, за голубыми вершинами дальних гор виден красный шар зимнего солнца. А впереди, над высокой Дежнёвской горой, если приглядеться, уже и луну увидишь. Луна бледная, почти бесцветная, только чуть побелее бесцветного декабрьского неба.

Морозец подгоняет мальчика. Да и время торопит: в декабре дни на Чукотке коротки, скоро вечер наступит.

Йорэлё идет размашистым шагом, поочередно отгалкиваясь палками, напевая вполголоса. Это не очень складная песня, но зато в нее можно вложить всё, что хочешь. Так напевают взрослые чукчи, когда едут на нартах по тундре: обо всем, что придет в голову, обо всем, что видят вокруг. Часто повторяют одну и ту же фразу, если эта фраза понравилась или следующая не сразу пришла в голову. Иногда, если не сразу подбираются слова, подходящие для напева, заполняют его как-нибудь иначе: или

удлинят какое-нибудь слово, или укоротят, или совсем без слов напевают. Мэй-мэй-мэй-мэй-мэй-мэй. . . Так, напевая, легче скоротать дорогу. А ведь дороги в тундре длинные, очень длинные.

Йорэлё поет о снеге, который белеет кругом; о торчащих кое-где из-под снега камнях и веточках березового стланца — карликовой заполярной березки, стелющейся по самой земле; о далеких горах, о зимнем солнце, о себе. . . «Вот я иду на лыжах — мне не страшен сердитый мороз. Я ни мороза, ни ветра, ни даже волков не боюсь. А солнце, наверно, замерзло — вон оно как покраснело! Скоро уйдет за горы: за горами, наверно, теплей. За горами, наверно, теплей. . . Вот я иду на лыжах, и под ними снежок скрипит. Потому он скрипит, что сегодня. . . что сегодня, сегодня мороз. Потому так скользят мои лыжи, так, мэй-мэй, они быстро скользят. Потому, мэй-мэй-мэй, так легко мне, так легко мне на лыжах идти. Скоро я приду домой. . .»

Нет, эти слова не укладываются в напев; сбившись с ритма, Йорэлё останавливается. «Скоро-скоро приду я домой», — да, так выходит лучше. И опять Йорэлё шагает в такт своей песне. «Скоро-скоро приду я домой. Я приду через час, не позднее. Только к Вээн сначала зайду, к тете Вээн зайду по дороге. Передам ей свой груз, а потом, а потом уж домой побегу я. Важный груз у меня за спиной — двадцать банок для детского сада. Двадцать банок, а в них что-то есть, очень вкусное, сладкое есть. Молоко в них сгущенное есть, мэй-мэй-мэй, мэй-мэй-мэй, мэй-мэй-мэй! Вот я иду на лыжах и несу молоко для ребят. Йорэлё обещал — значит, всё будет сделано точно!»

Йорэлё замолкает, потому что чувствует, — слова песни становятся нескромными. Так поют ребята из молодежной охотничьей бригады. «Унпэнэр обещал — значит, всё будет сделано точно». Не годится, конечно, вставлять в эту фразу вместо имени брата свое собственное имя. Правда, Йорэлё старается во всем подражать старшему брату, но это не всегда удается.

Доставить сгущенное молоко для колхозного детского сада — это, конечно, хорошее дело. Тем более, что молока во всем районе давно уже не было — наверно, недели две. А сегодня из поселка Иквынэй сообщили, что туда привезли, наконец, молоко. Лучше всего было бы съездить в соседний поселок на нарте, но все собачьи упряжки за-

няты — охотники выехали с сетями на ловлю нерпы. Когда они возвратятся, магазин уже будет закрыт. Тетя Вээн — заведующая детским садом — говорила, что придется, наверно, отложить поездку на завтра. Но говорила она об этом, тяжело вздыхая: неизвестно ведь, сколько привезли, — а вдруг сегодня всё разберут? Вот Йорэлё и вызвался на лыжах сбегать за стущенкой. На прошлой неделе выпал хороший снег, злые северные ветры еще не успели прибить его — дорога самая подходящая.

Мать разрешила: расстояние сравнительно небольшое, всего семнадцать километров. Для двенадцатилетнего чутокского паренька это сущие пустяки.

Да, конечно, особого подвига в этом нет. Каждый пионер с радостью выполнил бы такое поручение. Но недаром тетя Вээн поручила это именно ему. Разве она сделала это случайно, просто потому, что он первый попался ей на глаза и сам попросил послать его? Нет, наверно, ей известно, что во всем 5-м классе никто не умеет так хорошо бегать на лыжах, как Йорэлё!

Йорэлё улыбается и снова начинает напевать. Он кое-что изменил, подобрал другие слова: «Вот я иду на лыжах и несу молоко для ребят. Если ты обещание дал, значит, всё надо выполнить точно!»

Да, это, пожалуй, более подходящие слова. Йорэлё продолжает:

«Весело мне идти, слушать, как снег скрипит! У меня за плечами мешок, а в мешке... мэй... железные банки. Двадцать банок с густым молоком, вкусным, сладким, как мед, молоком!»

На этот раз Йорэлё замолкает потому, что рот его наполняется слюной. Нет, лучше не думать о молоке, лучше думать о чем-нибудь другом. Как тихо вокруг! Йорэлё останавливается. Если стоять совсем неподвижно, задержав на минутку дыхание, то кажется, будто слышишь, как бьется сердце. И будто бы где-то очень-очень далеко раздается чуть слышный звон... Однако некогда тут стоять, надо идти побыстрее. Дома, наверно, уже садятся ужинать. Для Йорэлё будет оставлен хороший кусок моржового мяса. А поев моржатины, он выпьет горячего сладкого чаю...

Как же это получилось, что мысли опять свернули на еду? Охотник не должен думать о таких вещах! Уинпэнэр отправляется на целый день, а берет с собой только две



лепешки, поджаренные на нерпичьем жиру. И то этот порядок уже Аймына завела. Она засовывает ему в карман лепешки, когда он собирается на охоту. А раньше, до женитьбы, он совсем ничего с собой не брал. Как отец, как все старые охотники. Старики считают, что смешно брать с собой пищу, когда идешь добывать ее. Смешно и даже недостойно. Так поступает, говорят они, только тот, кто не уверен, что сумеет добыть себе пищу ружьем... А с Кэнири совсем удивительный случай произошел. До сих пор в поселке смеются, когда вспоминают, как Кэнири отправился однажды на охоту, набив карман своей камлейки конфетами. Кэнири тогда медведицу повстречал, да второпях промахнулся. А медведица — на него! Он хотел ружье перезарядить, сунул руку в карман, а там все патроны с конфетами перемешались, — он с перепугу не разобрал, да и зарядил ружье конфетой вместо патрона. Хорошо, что Унпэнэр поблизости оказался, убил медведицу.

Конечно, лепешки — это не конфеты, не баловство. Но Унпэнэр и лепешек не стал бы брать, если бы не Аймына. Берет просто потому, что не хочет ее огорчать. И то часто он возвращается, даже не притронувшись к ним. А если и съест, так только одну, вторую почти всегда привозит обратно. Он может целыми часами караулить у разводьев нерпу и даже не вспомнить, что в кармане лежит лепешка.

«Сумел же он так себя приучить! — думает Йорэлё со смешанным чувством зависти и восхищения. — А я вот никак не могу. Как проголодаюсь, так мысли всё время на еду сворачивают. О чем бы таком подумать, чтобы не сворачивали? О чем-нибудь очень интересном... Вот, например, что я сделаю, если повстречаюсь сейчас с медведем или с целой стаей голодных волков?»

Йорэлё не из робких, но такие мысли всё же вызывают в нем чувство, которое несколько не приятнее, чем ощущение голода. Нет, уж лучше ни о чем не думать, если в голову лезут только такие неприятные мысли. Поторавливаться нужно, а не выдумывать всякие страшные вещи.

А ну-ка, Йорэлё, поднажми! Вот так, вот так! Раз-два, раз-два, раз-два! Палками работай, посильнее отталкивайся палками! Ух, как здорово!

Но, пробежав немного, Йорэлё снова переходит на шаг. Он устал, проголодался; заплечный мешок, казав-

шийся раньше совсем легким, теперь больно оттягивает плечи.

Уже темнеет. Далекие горы, за которыми скрылось солнце, из голубых стали почти черными. А вершина Дежнёвской горы загорелась багровым закатным светом.

«Разве это голод? — укоряет себя Йорэлё. — Проголодаться я еще не мог. Это просто жадность. Просто захотелось полакомиться сгущенным молоком. Хуже всего, если груз — еда. И к тому же — такая вкусная! Если бы за плечами у меня были не банки со сгущенкой, а что-нибудь другое, несъедобное. . . Я бы тогда еще не скоро проголодался».

Он пытается представить себе, будто за плечами у него охапка сухих веток березового стланца. Но ничего не получается: ветки были бы гораздо легче!

Далеко впереди виднеется какая-то черная точка. Наверно, это большой камень — тот, на котором днем, когда Йорэлё бежал в Иквынэй, сидела хмурая, нахохлившаяся ворона. Когда дойдешь до него, уже покажется, должно быть, сопка, под которой стоит колхозный поселок. Йорэлё решает дойти до этой черной точки и там отдохнуть немного. Но, сделав лишь несколько шагов, он замечает другой камень — плоский, соблазнительно лежащий у самой дороги. «Не всё ли равно где отдохнуть?» — думает Йорэлё.

Он садится, втыкает рядом палки, снимает сначала лыжи, потом мешок. До чего же приятно расправить плечи, потянуться!

Уже поблекла вершина Дежнёвской горы, погасли на ней закатные краски. И вдруг — будто какой-то гигант дунул холодным дыханием на снег. Это северный ветер налетел, ветер с Чукотского моря. Верхушки сугробов словно задымились, и ветер подхватил эти снежные дымки, закрутил их. . . Проворно вскакивает на ноги Йорэлё, просовывает руки в лямки заплечного мешка, надевает лыжи. Надо торопиться, — пурга шутить не любит.

Дорога взбегает на холмы. В этом есть и приятная сторона, есть и неприятная. Приятна та сторона, по которой слетаешь птицей, а неприятна — та, по которой приходится взбираться. Внизу, в ложбинах, немного потише, а на гребнях холмов ветер дует изо всех сил. Он дует спереди. . . нет, чуть левее: левой щеке холоднее всего. Но дорога здесь вьется, иногда ветер начинает дуть справа.

До поселка, наверно, совсем уж недалеко. Но идти становится всё труднее. Снежные дымки на верхушках сугробов слились в один сплошной вихрь. Дорогу кое-где занесло. Кое-где еще видна накатанная нартами колея, но она всё чаще теряется, уходит под свежие наметы снега. Вот уже и совсем потерял Йорэлё дорогу. Как ее найти в темноте? Может, она и рядом где-нибудь, да не увидишь!

«Ну, что ж, — решает Йорэлё, — нужно ветер слушать. Тогда не собьешься. Нужно, чтобы ветер всё время спереди дул, спереди и чуточку слева. Так и пойду. Только нужно всё-таки отдохнуть хоть немножко».

Не снимая лыж, Йорэлё садится на снег, стаскивает мешок, развязывает его и пересчитывает банки. Да, двадцать. Конечно, двадцать, — куда же им деться?! Вот, если одну открыть, останется девятнадцать. Впрочем, нет: ведь ему вовсе не нужно целой банки, ему вполне достаточно половины. И груз хоть немного, хоть чуточку станет легче. . .

Хитро прищурившись, Йорэлё отвечает себе: «Нет, груз не станет легче: то, что уйдет из мешка, переберется в живот!»

Эта простая шутка помогает ему справиться с собой, победить минутную слабость и снова двинуться в путь.

Сколько же времени прошло? Ветер дует, кажется, правильно: спереди, чуть левее, чем спереди, — левой щеке холоднее, чем правой. Но почему-то приходится идти всё вверх и вверх. Йорэлё снимает лыжи, продевает через крепление одну в другую, на носках лыж закрепляет кольца палок и продолжает медленно шагать вперед. Так всё-таки легче подниматься в гору, чем на лыжах. Но долго ли еще будет продолжаться этот подъем?

Нет, что-то здесь не так! На пути от Иквынэя не должно быть такого подъема. Может быть, Йорэлё напрасно доверился ветру? Может, ветер изменил направление и Йорэлё сбился с пути?

Ему вспоминаются страшные сказки о местах, в которых хозяйничают злые духи. Если забредешь в такие места, духи нарочно изменят направление ветра, чтобы путник совсем растерялся и погиб в безжалостной тундре. . . В духов Йорэлё, конечно, не верит, он прекрасно знает, что всё это сказки. Но всё-таки ему не по себе. Какое там «не по себе»! Если говорить чистую правду, то придется

сказать, что ему просто-напросто страшно. Ясно, что он сбился с пути, заблудился. Нужно вырыть себе снежную пещерку и переждать в ней пургу. В этом теперь единственное спасение.

Йорэлё находит большой сугроб и принимается за рытье пещерки. Сугроб старый, слежавшийся, его не этой пургой намело. Такой и нужен: свежий сугроб пурга намела — пурга и развеять может. А этот не развеет.

Но как тяжело копать! Йорэлё долбит твердый снег то палкой, то лыжей, то в ожесточении пытается голыми руками углубить едва наметившуюся нишу. Вот если бы лопатка с собой была!.. Теперь, за работой, он уже не испытывает страха. Чем глубже, тем неподатливее становится снег. Йорэлё старается расколоть, расковырять его лыжей, изо всех сил нажимает на нее — слышится треск, и в руках остается только половина лыжи, только обломок. Силы покидают Йорэлё, он падает и несколько секунд лежит неподвижно. Очень хочется есть и плакать. Но есть нечего, — к банкам Йорэлё не притронется, это он твердо решил. А плакать незачем, — слезами не поможешь. Нет, Йорэлё не распустит нюни. Нужно быть мужчиной! Йорэлё поднимается и снова берется за работу. Может, это даже хорошо, что сломалась лыжа: обломком гораздо удобнее работать — почти как лопаткой! И всё же иногда кажется, будто дело нисколько не продвигается вперед. На лице Йорэлё мокрый снег смешался со слезами — они всё-таки текут, хоть он и решил не плакать. Но, глотая слезы, он долбит, упорно долбит старый, слежавшийся, заледеневший сугроб.

Наконец пещерка готова, в ней можно поместиться. Хоть и не очень свободно, но можно. И даже — вместе с мешком. Можно даже лечь, если поплотнее свернуться комочком. Теперь от другого сугроба надо отколоть большой кусок снега, чтоб завалить им вход. Это удастся сделать сравнительно быстро.

У входа Йорэлё глубоко втыкает в снег палки, целую лыжу и один из обломков сломанной — тот, что подлиннее. Потом вползает в свое убежище, втаскивает за собой мешок. Теперь, после такой напряженной работы, голод кажется действительно нестерпимым. Может быть, всё-таки открыть одну банку? Для этого достаточно было бы вылезть, ударить по ней хорошенько острием лыжной палки. Сразу бы проколол!.. Йорэлё представляет себе, как

в образовавшуюся дырочку выступило бы густое молоко; как оно медленно расплывалось бы вдоль ободка банки...

— Эх,— вздыхает Йорэлё,— хуже всего, когда груз — это еда!

Он заваливает за собой вход и прислоняется спиной к стене своей снежной пещерки. Снаружи, над сугробом, над всей тундрой злобно завывает ветер.

...Возвратившись с охоты, колхозники сразу же направились на поиски пропавшего Йорэлё. Пурга уже улеглась, в небе светила луна. Широко во все стороны разъехались по тундре собачьи упряжки.

Молодой охотник Аре еще издали заметил торчащую из снега лыжу и направил к ней своих собак. Подъехав, он резко останавливает упряжку, соскакивает с нарты. Его внимание сразу привлекает сугроб. Разбросав свеженанесенный снег, Аре находит пещерку и торопливо отваливает в сторону снежную глыбу, прикрывающую вход.

— Здравствуй! — весело кричит он, тормоша спящего Йорэлё. — Вставай, в школу опоздаешь!

Йорэлё удивленно таращит глаза и, как медвежонок, вылезает из своей берлоги.

— Жив, значит? — смеется Аре.

— Если бы не был жив, так не вылез бы, — рассудительно отвечает Йорэлё. Но губы его растягивает радостная, неудержимая улыбка. — Смотри ты, как тихо! — продолжает он. — Пурги-то — будто и не было.

Аре вскидывает ружье и с небольшими промежутками трижды стреляет в воздух.

— Зачем ты стреляешь? — удивленно спрашивает Йорэлё.

— Зверя хотел убить. На луне зверь сидит, — видишь? Хотел его добыть, да только промахнулся, паверно.

Йорэлё, еще не совсем пришедший в себя, вначале слушает серьезно, ничего не понимая. Но, сообразив, что Аре шутит, он отвечает ему в тон:

— Зачем же стрелять, когда луна так высоко? Сейчас, конечно, не попадешь. Ты подожди, пока луна пониже будет, тогда и стреляй. Тот зверь никуда не уйдет, будь спокоен.

«Зачем же всё-таки Аре стрелял? — думает Йорэлё. — Сигналил кому-нибудь, что ли? Кому?» — Он очень хотел бы узнать, спросить еще раз, но крепится: если Аре отшучивается, не хочет по правде отвечать, — не надо. Не

такой уж Йорэлё любопытный, приставать с расспросами не будет.

Аре ждет, что Йорэлё повторит свой вопрос, но мальчик оказывается терпеливым. Не дождавшись, Аре объясняет:

— Это я охотникам знак подавал. Думаешь, я один поехал тебя искать? Нет, не один!

И действительно, через минуту к сугробу с разных сторон подъезжают еще две упряжки. На одной из них Унпэнэр, на другой — председатель колхоза Вамче. Вдали видны другие упряжки, отовсюду мчатся они к сугробу. Йорэлё откапывает из-под снега мешок, отряхивает его.

— Вот, — деловито говорит он. — Всё в целости.

— Сам-то не обморозился? — спрашивает Вамче.

— Нет. Только есть очень хочется.

Аре достает из мешка Йорэлё банку сгущенного молока, вынимает из ножен охотничий нож. «Что ж, — думает Йорэлё, — взрослые знают, что можно, а чего нельзя. Больше чем полбанки я ведь всё равно не съем. Куда там, гораздо меньше! В конце концов тетя Вээн сама, наверно, захочет угостить сгущенкой. Какая разница — у нее съест или сейчас?» — Ему кажется, что он уже слышит сладкий аромат сгущенного молока. . . Аре уже приставил нож к банке, но Унпэнэр спокойно кладет на нее руку.

— Нет, — говорит Унпэнэр, — это Йорэлё и сам мог бы сделать. Банку он и сам бы открыл, если бы захотел.

Другой рукой он достает из кармана лепешку и протягивает ее брату.

— Молоко, — продолжает он, — это для детского сада. А Йорэлё уже не маленький. Посмотрите, какую пещерку себе вырыл — как настоящий охотник! Не растерялся!

Йорэлё с наслаждением жует лепешку. Он берет у Аре банку, кладет ее обратно в мешок, завязывает мешок, низко наклонившись над ним, чтобы взрослые не заметили, какое у него счастливое лицо. Еще бы ему не чувствовать себя счастливым! Такая похвала Унпэнэра стоит подождать, чем любые сладости.

Собачьи упряжки мчатся по молчаливой, озаренной лунным светом тундре. Впереди нарта Аре, за ним нарты Унпэнэра, Вамче и всех остальных. Йорэлё едет вместе с Аре. Так уж полагается: доставить в поселок — это право того, кто нашел.

Йорэлё смотрит на луну. Какой бледной, бесцветной была она днем, а сейчас — яркая-яркая! И на ней действительно можно разглядеть какого-то зверя, даже двух. Будто медведица встала на задние лапы, а рядом — медвежонок. Впрочем, если очень захотеть, то можно разглядеть там колхозного механика Кэлевги, склонившегося над токарным станком, или охотника, волочащего за собой убитую нерпу. Для этого нужно только немного фантазии, которой у Йорэлё вполне достаточно.

А вокруг луны — кольцом — радужное сияние. Будто круглолицая луна надела малахай с легкой-легкой, пушистой выпушкой.





VI

ТРУБКА МПРА

В небе мерцает неверный, желтовато-зеленый свет полярного сияния. То желтого больше, то — зеленого. То вдруг засветятся, задрожат красноватые лучи.

Снег ровным слоем покрывает аэродром, островерхими шапками лежит на железных бочках с горючим, на крышах нескольких бревенчатых домиков. Снег тоже кажется то желтым, то зеленым, то красноватым.

Дальше, за полем аэродрома темнеет небольшое озеро, еще дальше виднеются пологие холмы. Недели две назад совсем уже было вошла в свои права весна: с холмов потекли ручьи, снег стаял, озеро очистилось ото льда. Потом опять немного похолодало, трое суток не прекращался снегопад — трое суток подряд! Зима как будто решила еще не сдаваться. Но озеро больше не замерзало.

В бревенчатых домиках спят. Только в одном из них, громко именуемом «аэровокзалом», горит свет. На крыльце стоят двое: летчик Савин и Этувги — один из пассажиров, уже несколько дней ожидающих здесь лётной погоды. Это худощавый чукча в одежде оленевода. Он говорит:

— Скоро опять снег пойдет.

— Не должно быть, — отзывается Савин. — По сводке ничего такого не предвидится. Сегодня обязательно вылетим.

Этувги сходит с крыльца, оглядывает горизонт и уверенно повторяет:

— Скоро пойдет.

— Большой? — встревоженно спрашивает Савин. Он

недавно работает на этой трассе, но знает уже, что опытные оленеводы редко ошибаются в таких вопросах.

Этувги еще раз внимательно всматривается в облака, висящие над далекими холмами, и отвечает:

— Нет, большого, наверно, не будет.

— Ну, а маленький нам не помеха. Это что-нибудь местное. Как говорится, незначительные осадки местного характера. Ничего, сегодня полетим!

Несколько минут они стоят молча, любуясь удивительной игрой полярного сияния. Кажется, будто разноцветные флаги развеваются в небе и будто едва различимый шелест этих светящихся, поминутно меняющих свой цвет флагов долетает до земли.

— Шелестит, — говорит Этувги.

— Это ветер. Снежную пыль по насту гонит.

— Наверно, ветер, — соглашается Этувги и, неожиданно рассмеявшись, говорит: — У нас считалось... Это когда я еще мальчишкой был... У нас считалось так: если свистнуть погромче — в два пальца, знаешь? — тогда сияние сильнее заколышется, ярче засветится, быстрее меняться станет.

— Пробовали?

— А как же.

— Ну и что? Действовало?

— Да, нам так казалось...

— А если сейчас? — Савин с озорной улыбкой подносит ко рту два пальца.

— Нет, — говорит Этувги, — сейчас не подействует. Для этого надо мальчишкой быть, надо в сказки верить.

Савин опускает руку. Не потому, что давно уже не верит сказкам, а потому, что не хочет нарушить торжественную тишину полярной ночи.

— Когда такая вот кругом тишина, — говорит он, — странное чувство иногда появляется. Будто во всем мире сейчас спят. Будто во всем мире вовсе ничего нет, кроме этих вот нескольких домиков, да снегов бесконечных, да полярного сияния...

Но это, очевидно, не так. Как бы в ответ на его слова, откуда-то издали доносится лай, а вслед за тем на гребне холма появляется собачья упряжка. Некоторое время она несется вдоль гребня, потом — вниз, по пологому склону холма. Она огибает озеро, перескачет снежное поле аэродрома и резко останавливается неподалеку от

домика, в котором горит свет. Оттуда, услышав заливи-
стый лай приближающейся собачьей упряжки, люди уже
бегут навстречу позднему гостю. Они окружают нарту.

С нарты встает невысокого роста старик. Видно, что он
проделал немалый путь. Усы его, брови и ресницы по-
крыты инеем. Он откидывает назад малахай, и его се-
дую — словно тоже покрытую инеем — голову освещает
холодный, зеленоватый свет полярного сияния.

Старик одет по-праздничному. На нем широкий бала-
хон из оленьей замши, на спине болтается белая шкурка
горностая; штаны, сшитые из светлых камусов — узких
полосок шкуры с оленьих ног — аккуратно заправлены
в низкие торбазы; подошвы торбаз подшиты мехом белого
медведя.

Такую одежду без особой причины не наденешь. Зна-
чит, есть у старика какая-то особая причина.

Не поздоровавшись, он торопливо спрашивает:

— Могу я узнать, не улетел ли еще товарищ Этувги?

— Нет, еще не улетел, — отвечает сам Этувги.

— Это очень хорошо, — говорит старик, облегченно
вздыхает и, широко улыбаясь, начинает по очереди пожи-
мать руки всем, обступившим нарту.

— Это очень хорошо, — повторяет он, — а то я уже
боялся, что опоздаю. Меня зовут Гэмауге. Мне надо ви-
деть товарища Этувги и надо говорить с ним. Скажите
ему, что с ним хочет поговорить старый Гэмауге из кол-
хоза «Утро».

— Будем знакомы, товарищ Гэмауге. Я и есть Этувги.

* * *

Старый, прославленный косторез Гэмауге давно дру-
жит с охотником Мэмылем. Трудно найти друзей, которые
так подходили бы друг к другу, как они. Во-первых, они—
соседи. Во-вторых, оба очень любят искусство, особенно —
резьбу по кости. В-третьих, оба давно уже овдовели; Гэ-
мауге сам вырастил сына, а Мэмыль вырастил дочь.
В-четвертых... Но тут пойдут уже не сходства, а разли-
чия. Гэмауге целые дни просиживает над своей работой,
неделями не видно его в поселке, а за пределы поселка он
иногда и годами не выезжает. Что же касается Мэмыля,
то без него, кажется, не обходится ни один интересный
вечер в клубе, ни одно собрание, ни одно семейное торже-
ство: всюду его приглашают, и везде он успевает побы-

вать — и у соседей, и на полярной станции, и даже у дальних родственников, живущих в других поселках, в десятках километров от колхоза «Утро». Кроме того, косторез Гэмауге настолько же молчалив, насколько разговорчив охотник Мэмыль.

И надо сказать, что эти различия скрепляют их дружбу не меньше, чем общие черты. Резьба по кости — работа трудная, медленная. Хорошо, когда рядом сидит приятель, умеющий порассказать обо всем на свете. Гэмауге любит, работая, послушать, а Мэмыль любит рассказывать. Он сообщает и о том, что сам повидал, и о том, что слышал от других, и о том, что написано в книгах. Правда, в грамоте никогда он не был силен, но его дочь Тэгрынэ пересказывала ему содержание каждой прочитанной книги.

Скажем, вырезает Гэмауге на твердой кости моржового клыка ветвистые, прижатые к спине рога скачущего по тундре оленя. И пока он успевал вырезать один только рог, Мэмыль, следя за его руками, успевал рассказать и обо всех событиях последнего выезда на охоту, и о замечательных подвигах Гайаваты, и о том, что механик с соседнего маяка собирается жениться на учительнице Нине Ивановне. Старому Гэмауге всё это было интересно, хотя о механике и о Нине Ивановне, как и о героях «Гайаваты», он слышал впервые в жизни.

Вот, собственно, мы и подошли к тому, что заставило старого костореза много времени спустя примчаться тихой полярной ночью на аэродром в поисках Этувги. Не случайно упомянул я о «Гайавате», хотя Мэмыль рассказывал своему другу и о многих других книгах, не менее интересных.

В тот вечер, вырезая ветвистый олений рог, Гэмауге впервые услышал о старом обычае, существовавшем когда-то у жителей Америки: если люди разных племен сходились и выкуривали вместе Трубку Мира, племена эти не должны были воевать друг с другом, должны были жить в согласии.

— Хороший обычай, — сказал Гэмауге. — Хороший, только жаль, что в Америке не все помнят обычай своих отцов.

Что обычай, о котором рассказывал Мэмыль, принадлежал только индейцам, а не всему населению Америки, — это обстоятельство ускользнуло от внимания Гэмауге. Мо-

жет быть, виноват в этом был Мэмыль или даже Тэгрынэ, не очень точно излагавшая отцу содержание поэмы. Когда какая-нибудь история проходит через головы нескольких человек, трудно рассчитывать, что она дойдет до последнего в том же виде, в каком пошла от первого.

Мэмыль рассказал своему другу об этом обычае уже довольно давно, — еще до того как Тэгрынэ покинула колхоз «Утро» и улетела учиться в Хабаровск. И Гэмауге совсем, казалось, забыл об этом, — мало ли о чем рассказывал ему старый охотник, у которого столько всяких историй в запасе, сколько шерстинок на густошерстной нерпе! Но однажды он всё-таки вспомнил об обычае Гайаваты.

Как-то Мэмыль упомянул о том, что в Москве должна собраться конференция сторонников мира, и делегатом от Чукотки поедет на эту конференцию колхозник из соседнего поселка, знатный оленевод Этувги. Поздно вечером, уже после ухода Мэмыля, у Гэмауге зародилась мысль, которая не дала ему заснуть до самого утра. «Я пошлю с Этувги Трубку Мира, — решил старый косторез. — Я вырежу такую трубку, какой еще никто никогда не видывал. Таковую, которая будет достойна своего прекрасного названия. Я вырежу на ней. . .» И он стал мечтать. Как всякий истинный художник, Гэмауге уже видел в ту ночь всё, что он изобразит на трубке.

Под утро его беспокоило только одно: хватит ли у него времени, успеет ли он выполнить эту работу до отъезда делегата. Домосед Гэмауге решился даже съездить в соседний поселок, чтобы познакомиться с Этувги и разузнать всё как следует.

Этувги он не застал, — знатный оленевод вместе со стадом был тогда где-то далеко в тундре; его ждали не раньше, чем через неделю. А выезжать на конференцию он должен был еще только через месяц — так по крайней мере сообщили Гэмауге в правлении колхоза.

Старик вернулся домой успокоенный: за месяц он успеет сделать всё так, как задумал. Не только резную трубку с футляром, но и табакерку к ней сделает. А это особенно важно, потому что на футляре и табакерке можно изобразить много такого, чего на самой трубке не уместить.

Теперь надо было раздобыть материал. У Гэмауге на примете давно уже был моржовый клык редкостной вели-

чины. За несколько лет до того Каннай, охотник из эскимосского колхоза имени Ленина, убил такого моржа, о каких только в сказках рассказывают. Это был зверь длиною около шести метров, весом — больше тонны. Гэмауге послал тогда сына в колхоз имени Ленина (а это — километрах в сорока от колхоза «Утро»), и сын, хорошо заплатив, купил у удачливого охотника один клык.

О, тот клык пошел на хорошее дело! Гэмауге вырезал на кости такую картину, которая хранится теперь в Москве, в музее. Нерушимой дружбе советских народов посвящена та картина, и чукотский колхоз «Утро» послал ее в столицу Родины к 35-летию великого Октября.

И вот пришло время для второго клыка. «У каждого моржа два клыка, — думал Гэмауге. — И если второй клык до сих пор хранится у Канная, то ничего лучшего мне не надо».

Он снова послал сына в колхоз имени Ленина, наказав не скупиться. Инрын вернулся только к исходу третьих суток, но на этот раз — с пустыми руками. Да, второй клык цел, он до сих пор хранится у Канная. Но продавать его охотник решительно отказывается. Ни за какие деньги!

Дав только немного отдохнуть собакам, Гэмауге поехал сам.

— Ого, — встретил его Каннай. — Видно, тебе на самом деле нужен этот бивень. Что же ты собираешься из него сделать?

Гэмауге не любил говорить о том, чего еще не сделал. Даже Инрыну, даже первому своему другу Мэмылю он не рассказал о своем решении вырезать Трубку Мира. Уклонившись от ответа, Гэмауге снова стал уговаривать Канная продать клык.

Но упрямый охотник не соглашался. Как бы для того, чтобы подразнить Гэмауге, он провел его в комнату, где висел на стене этот великолесный клык, постоял, похлопал по клыку рукой и сказал:

— Вот он. Только он не продажный. Другие, если хочешь, купи. Есть у меня другие. Только те, конечно, похуже.

— Ну какая тебе польза, что он здесь на стене висит? — рассердился, наконец, Гэмауге. — Ведь я тебе хорошие деньги дам. Назови цену! Не хочешь? Ну, хочешь, я сам назову?

— Не надо. Мне твои деньги не нужны. Ясно, кажется, говорю: не продается. Это для меня — память.

Гэмауге решил польстить Каннаю.

— Я понимаю, — сказал он. — Я понимаю, что память об удачной охоте приятна даже такому искусному охотнику, как ты. . .

— Ты неправильно меня понял, — усмехнулся Каннай. — Дело тут совсем в другом. . .

— Конечно, дело тут не в удаче. Я просто не так сказал. Я хотел сказать о твоей смелости и о твоём охотничьем искусстве.

— Нет, и не в этом дело. Это вообще не об охоте память. Это для меня память о том бивне, о первом. О том, который твой сын у меня купил. Когда ты над тем бивнем работал, ты о дружбе народов думал. А сам дружбу нарушил, об эскимосах не думал. Заплатил деньги — и всё. Если бы я знал, для чего тебе тот бивень нужен, разве я за него деньги взял бы?

— Ты прав, Каннай, я тогда не подумал об этом. Я совсем не хотел тебя обидеть. И это было уже давно, ты не должен так долго сердиться. А чтобы загладить свою вину. . . Скоро сын поедет в Анадырь. Я велю ему купить охотничий нож самой лучшей стали и сам сделаю резную рукоять для этого ножа.

— Спасибо, Гэмауге, но я ничем не заслужил такого подарка. Ты хорошо умеешь резать по кости, но ты плохо знаешь человеческий характер: он бывает потверже, чем кость.

Гэмауге задумался. А Каннай сердито и упрямо смотрел в сторону огромного бивня, который тускло поблескивал на стене.

— Может быть, твой упрек справедлив, — сказал, наконец, Гэмауге. — Я действительно всё время сижу дома, за работой. Мало вижу людей. И всё-таки я редко ошибаюсь в людях. Я уважаю твою обиду, Каннай, и вовсе не хочу смягчить твой характер. Нет, Каннай, я понял твой характер и поэтому уверен, что мы расстанемся друзьями.

И Гэмауге рассказал о своём новом замысле. Тогда Каннай сам снял со стены клык, сам отнес его в нарту Гэмауге.

— Правильно, — сказал он на прощанье, — надо всем напомнить про этот хороший обычай. Когда сделаешь

Трубку Мира и отвезешь ее к Этувги, объясни ему всё как следует. Пусть скажет на конференции, что все советские народы стоят за мир. И большие и маленькие. И такой великий, как русский народ, и такие маленькие народы, как чукчи и эскимосы. Пусть так и скажет. . . И не надо благодарить меня, Гэмауге, — добавил Каннай, видя, как растроган старый косторез. — Если бы этот бивень был отлит из чистого серебра, я всё равно не пожалел бы его для такого дела.

. . . Всё оставшееся время Гэмауге работал так увлеченно, что не заметил, как пролетела и одна неделя, и другая. Когда работа была в разгаре, Гэмауге рассказал всё Мэмылю и сыну: скрывать было уже трудно, резьба на трубке с каждым днем яснее и яснее говорила о мыслях и чувствах резчика.

Мэмыль был очень горд — ведь это он рассказал Гэмауге о Трубке Мира! Он восхищенно наблюдал за работой друга, старался помочь ему, как умел. Мастер поручал ему иногда вырезать облачко, вершину далекого холма. Но только не людей. Мэмыль неплохо резал по кости, особенно если нужно было вырезать что-нибудь смешное, шуточное. Но когда дело касалось трудной, серьезной работы, тут он, конечно, и не думал тягаться с таким прославленным художником, как Гэмауге.

На крышке футляра были изображены люди разных наций. Они шли дружным строем и несли знамена, на которых было написано святое слово «мир». Гэмауге хотел, чтобы это слово было написано на разных языках, но сам он знал его только по-русски, по-чукотски и по-эскимосски. Мэмыль и тут выручил: в школе учителя показали ему, как пишется это слово на английском и на немецком языках, а сторож Кабицкий — как оно пишется на польском.

Кроме того, он помогал в технической работе: высверливал отверстие в мундштуке и в чубуке, собирал футляр и табакерку из резных пластин, уже законченных мастером. При этом он не переставал, конечно, рассказывать свои бесчисленные истории.

К исходу третьей недели работа была закончена. Было около двух часов ночи, когда Гэмауге вложил трубку в футляр, дал ей полежать там недолго, потом вынул, осмотрел так, как если бы видел ее впервые. Мэмыль думал, что Гэмауге снова схватит сейчас отло-



женный в сторону резец, как делал это уже не раз. Но старый косторез достал кисет, набил новую трубку и, раскурив, торжественно протянул Мэмылю.

Они выкурили трубку вдвоем, хотя этой набивки хватило бы на пятерых заядлых курильщиков. Затем Мэмыль ушел домой. А утром, осунувшийся от огорчения, он разбудил Гэмауге и сообщил тревожную новость: ему сказали, что еще позавчера Этувги отправился в путь.

Оставалась одна надежда: может быть, делегат немного задержится в городе с оформлением документов... Или самолета еще не будет. Когда Тэгрынэ улетала в Хабаровск, ей пришлось два дня ожидать самолета...

Через час собачья упряжка уже мчала Гэмауге, отправившегося вдогонку за делегатом, сквозь злую, хлеставшую по лицу пургу.

* * *

Зал ожидания небольшой, он хорошо натоплен, в нем уютно, светло. За круглым столиком сидят Гэмауге и Этувги, летчик Савин, какой-то пассажир с маленькой седой бородкой. Вокруг стоят еще трое пассажиров, сотрудники аэропорта. Трубка, футляр и табакерка переходят из рук в руки, вызывая у каждого возгласы восхищения. Савин уже в пятый раз рассматривает трубку и снова, удивляясь, находит в резьбе такое, чего не заметил раньше...

Гэмауге молчит, глаза его серьезные и спокойные, они кажутся лишь чуточку усталыми после длинной дороги. Но на душе старика праздник, радостный праздник, который вознаграждает художника за долгий напряженный труд.

— Дельно придумали, — говорит Савин. — А уж выполнено как! Всем на удивление! В жизни такой работы не видал.

Он передает трубку начальнику аэропорта и продолжает:

— Не было б, как говорится, счастья, да несчастье помогло. Кабы не трехдневный этот снегопад, вы бы нас уже не застали... Только я вот еще что хотел сказать, товарищ Гэмауге. Обычай, про который вы говорили, — это ведь не американский. Это, по-моему, индейский обычай.

— Что ж из того? — возражает пассажир с бород-

кой. — Индейцы — это, собственно, древнейшее население Америки.

Гэмауге с тревогой слушает этот разговор.

— Потому, — вмешивается он, — я и сделал Трубку Мира. Кое-кто из теперешних американцев забыл обычай своих предков. Напомнить надо.

— Нет, товарищ Гэмауге, — уточняет пассажир с бородкой. — Современные американцы, по крайней мере — большинство их, не являются потомками индейцев. Они скорее... Но не в этом дело. Трубка Мира — это, видите ли, скорее древняя традиция Америки как страны, но не американцев в нынешнем смысле этого слова.

— Всё равно, — убежденно говорит Гэмауге. — Древний обычай страны должен стать обычаем ее народа.

— Особенно, если это хороший обычай, — говорит Этувги. — Если он помогает бороться за мир.

— Верно, — соглашается Савин. — Что верно, то верно. Вот это и подчеркните, товарищ Этувги, когда будете трубку иностранным товарищам вручать.

Гэмауге, успокоенный таким решением, говорит:

— Я слышал, что на этой конференции будут выбирать делегатов, которые поедут за границу, чтобы встретиться там с делегатами из других стран. Так говорил мне мой друг Мэмыль. Передай им эту трубку, Этувги...

— Может, и на нашей конференции будут иностранные гости.

— Да? Это было бы еще лучше. Скажи там, Этувги, что эту трубку сделал чукотский резчик, сделал из бивня, добытого эскимосским охотником. Пусть наши делегаты выкурят эту трубку с иностранными делегатами, и будем вместе бороться за мир. И ты, Этувги, тоже кури ее вместе со всеми... Только раньше ты положи в эту табакерку самого лучшего табаку. Купи в Москве самого дорогого, самого крепкого.

— «Капитанского»! — подсказывает кто-то из пассажиров. — Только товарищ Этувги, кажется, не курит...

— Ничего, — серьезно отвечает Этувги. — Для такого дела смогу.

Он берет трубку, уже положенную в футляр начальником аэропорта, берет табакерку и аккуратно складывает их в свой чемодан.

... Время отлета. Северное сияние уже погасло. Снова начал падать снег — Этувги, значит, не ошибся. Но это

совсем редкие хлопья, почти не нарушающие хорошей летной погоды.

Только позади самолета бушует пурга: мотор уже включен, и винт гонит под крылья холодный воздух, обдает ветром лица провожающих. Вот самолет пробежал немного по снегу и поднялся.

Гэмауге прощается с начальником аэропорта и трогается в обратный путь. Возле озера он придерживает свою упряжку, смотрит на самолет. Савин уже сделал два круга, набрал высоту и взял курс на юго-запад. Старый косторез провожает крылатую машину глазами, пока она не превращается в белую крапинку, постепенно тающую в небе, как тают упавшие в озеро снежинки.





VII

СТАРЫЙ МЭМЫЛЬ СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ

РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Субботний вечер. А по субботним вечерам в клубе особенно многолюдно. Скоро должен начаться киносеанс, — передвижка уже приехала. После кино будут танцы.

Вся молодежь колхоза «Утро» собралась здесь сегодня. Да и не только молодежь. В те дни, когда должна приехать передвижка, мальчишки чуть не с самого утра поглядывают в море и, едва только покажется среди волн моторная байдара киномеханика Эттэлена, — шумной ватагой бегут на берег. Поднести от байдары до клуба диски с кинолентами — это уже само по себе чего-нибудь да стоит. К тому же, когда в руках у тебя диски и идешь ты рядом с Эттэленом, — разве найдется такой свирепый дежурный, который посмеет не пропустить тебя в клуб?

Старики приходят, конечно, попозже, — всего за час до начала сеанса. Самое большее — часа за два. Разве что такие завзятые любители кино, как охотник Мэмыль или завхоз Гэмалькот, придут немного пораньше. По-

играют в шашки, поговорят с Эттэленом, узнают, какую картину он привез, о чем картина. Займут самые удобные места и неторопливо беседуют. У Мэмыля всегда есть о чем порассказать, какой бы темы ни коснулась беседа. Он прожил немалую жизнь, многое успел повидать, да и теперь его смешливые глаза смотрят на всё с таким же любопытством, с каким смотрели в молодые годы.

Рядом с клубным залом — вторая комната, чуть поменьше. Ее называют библиотекой, — тут стоят три шкафа с чукотскими и русскими книгами; тут же и шашки, и домино, и шахматы.

Несколько человек окружило столик, за которым играют в шашки «на мусор»: до первого проигрыша. Уже пятерых партнеров «вышиб» охотник Кэнири, не проиграв ни разу. Кто следующий? Сразиться с Кэнири решает старый Мэмыль.

Еще больше народу возле Гонома, который вывешивает новую стенную газету. Кто-то держит коробку с кнопками, кто-то свертывает старый номер, только что снятый со стены, другие пытаются прочесть заметки в новом, еще не повешенном номере.

— Подождите, успеете прочесть, — говорит Гоном. — Подержи пока этот край, Унпэнэр.

Гоном отходит к противоположной стене комнаты и оттуда командует:

— Немного опустите правый край. Вот так. Теперь ровно.

Когда газета, наконец, повешена, он отходит к «богельщикам», плотным кольцом окружившим Кэнири и Мэмыля. Но и отсюда он следит не столько за игрой, сколько за тем, какое впечатление производит на читателей газета. Ведь это творение его рук и к тому же — творение, стоившее немалого труда.

В редколлегии, кроме Гонома, еще двое: учитель Эйнес и охотник Ринтувги. Ринтувги помогает собирать заметки, Эйнес помогает редактировать их. Но основная работа лежит всё-таки на Гономе, недаром его — рядового колхозника из первой охотничьей бригады — выбрали председателем редколлегии. Он отвечает и за сбор материала, и за проверку, ему же приходится и оформлять газету, так как ни Эйнес, ни Ринтувги не умеют красиво писать заголовки заметок. С заголовками Гоном справляется неплохо, но вот рисунки у него не получаются, приходится

вырезать подходящие из иллюстрированных журналов. Только в этом номере — впервые за много времени — удалось поместить карикатуру: нашелся, наконец, собственный художник.

Люди около стенгазеты громко смеются. Гоном прислушивается.

— Так это ж Кэнири! — говорит сквозь смех Унпэ-нэр. — Конечно, он! Кэнири, иди-ка сюда!

Кэнири поднимается, не отрывая глаз от доски. Впрочем, он может спокойно отойти: Мэмылю приходится туго; он уже минут пять думает над ходом и будет думать еще столько же, наверно, если не больше.

Когда Кэнири подходит к газете, смех там замолкает... Но вот Мэмыль делает, наконец, ход, и «болеельщики» зовут Кэнири обратно. Он возвращается, смотрит на доску, говорит: «Так... Так... Очень интересно...», — и в несколько минут проигрывает партию.

— На мусор! — смеются «болеельщики», и Кэнири нехотя уступает место другому охотнику, желающему сразиться с победителем.

Чтобы кто-нибудь обыграл Кэнири — лучшего шашкиста в нашем колхозе, — это случается редко. Хотя всё, что здесь описано, произошло на моих глазах, я затрудняюсь объяснить поражение нашего чемпиона. Одни объясняли это поражение тем, что Мэмыль придумал хитрую комбинацию, против которой уже ничего нельзя было сделать; другие утверждали, что Кэнири просто устал, — как-никак он играл шестую партию подряд; третьи считали, что он проиграл потому, что расстроился, увидев карикатуру в стенгазете. Сам я неважно играю в шашки и поэтому не берусь определить, какое из этих мнений ближе к правде.

Гоном выходит, чтобы покурить. На дворе уже темно, особенно когда выходишь из ярко освещенного клуба. Через минуту Гоном слышит, что кто-то подходит к нему сзади и говорит:

— Кто это позволил тебе издеваться над людьми? Думаешь, для этого тебя выбирали? Ошибаешься, Гоном! Это тебе так не пройдет, вот увидишь. Оскорбление это. Оскорбление и клевета!

Конечно, это Кэнири.

— Не грози, Кэнири, не испугаешь. Ни над кем газета не издевается. Газета во всеоружии борется за труд-

дисциплину, за соревнование. Выступает против злостных нарушителей сообразительств.

У Гонома — неизлечимое пристрастие к газетным оборотам речи. В другое время Кэнири не преминул бы придраться к этому, но сейчас он поглощен другим.

— Борись за что хочешь, а человека не оскорбляй! Не имеешь права!

— Никаких оскорблений там нет. А что смеются над тобой, — сам виноват. Не лодырничай, не подводи бригаду. Несознательный элемент!

— Это я, по-твоему, элемент? Я лодырничаяю? Да?

— Во-первых, не только по-моему, а по мнению всей редколлегии. А во-вторых, это каждый мальчишка знает. Если в бригаде скажут: «Опять нашего лодыря где-то черти носят», — каждый сразу понимает, что это про тебя речь идет.

— Мало ли что говорят. Язык без костей. Одно дело — говорить, а другое дело — осрамить человека в газете.

— А что ж, по-твоему, газета общими рассуждениями должна отделяться? Критика, Кэнири, должна быть конкретная. На фактах. Без этого никакой борьбы за труддисциплину не может быть. По лодырям надо бить, по симулянтам!

Гоном увлекается, забывая, что это не выступление на собрании, а разговор на дворе с тем самым Кэнири, по которому «надо бить». Но, как ни странно, на Кэнири это действует сильнее, чем весь предыдущий разговор. Он не находит возражений. Несколько секунд длится молчание.

— Хорошо, критикуй, если кто провинился. А оскорблять всё-таки не имеешь права, — повторяет Кэнири.

— Никаких оскорблений там нет, — повторяет Гоном.

Он бросает папиросу, затаптывает ее и идет в зал: дежурный уже торопит, через пять минут начало сеанса. Кэнири тоже входит в зал.

Рядом с Гоном свободное место нет, и Кэнири усаживается позади него, хотя еще час назад занял себе другое место — в самой середине. Что-то удерживает его возле Гонома, подбивает продолжать разговор. Озлобление, охватившее его при первом взгляде на карикатуру, а потом немного утихшее, теперь поднимается снова. Над ухом Гонома раздается сердитый шепот:

— Болтать насчет критики легко. А ты на себя посмотри. Тебя не критика интересует, тебя интересует — как бы товарища подвести. Тоже еще художник выискался!

— А это вовсе не я рисовал.

— Не ты? А кто? Эйнес?

— И не Эйнес.

— Кто ж тогда? Ты на Ринтувги не вали, Ринтувги рисовать не умеет.

— Ни на кого я валить не собираюсь. Не собираюсь перекладывать ответственность. Почему ты решил, что это обязательно кто-нибудь из редколлегии? У нас авторский актив имеется.

Дежурный выключает свет. Но Кэнири продолжает жужжать над ухом:

— Твоя это работа, больше некому. Просто признаться боишься.

— Чего мне бояться? Всё равно я несу ответственность как редактор. Кто бы ни рисовал. А только рисовал не я, а стенкор.

— Какой Стенкор? Откуда он взялся? У нас во всем поселке никакого Стенкора нет. Выдумываешь всё.

Гоном еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Эттэ-лен уже включил ленту, на экране колышутся красивые волны. Но это не море, не вода, это созревшие под южным солнцем золотые волны колхозных нив.

— Ты еще ответишь, Гоном, — жужжит Кэнири. — Тебе влетит так, что позабудешь все свои ученые слова.

— Не мешай. Не влетит, все факты у нас проверенные.

— Нет, влетит. Вот увидишь.

— Тише там! — слышится голос Гэмалькота. — Мешаете!

Кэнири, наконец, замолкает. Чукотские охотники смотрят фильм о кубанских казаках.

* * *

Охотник Кэнири был о себе очень высокого мнения. То, что это не совпадало с мнением большинства колхозников, мало его смущало. Он попросту не обращал внимания на такое несовпадение. А когда его дружно ругали за что-нибудь, Кэнири искренне предполагал, что это объясняется либо завистью людей к его уму, либо их

прискорбным неумением правильно разобраться в обстоятельствах дела.

— Пусть будет по-твоему, — говорил ему бригадир Кымын. — Пусть ты один умный, а вся бригада — глупые люди, завистники. Как же так получается, что глупые лучше умного работают? Почему у тебя трудней меньше, чем у всех? Почему у тебя дети ходят в латаном-перелатаном? А сам — еще хуже — в рваных штанах ходишь! Только о галстуках и думаешь. Ты бы хоть из этого галстука заплату себе на штаны сделал... Почему даже старый Онна — и тот больше тебя вырабатывает? А он тебе в отцы годится.

О, у Кэнири и на этот случай был в запасе целый ворох возражений, казавшихся ему вполне убедительными! «Во-первых, — рассуждал он, — охота — это всё-таки не то, что производство. На охоте одному повезет, а другому нет. Дело случая. Бывает, что мальчишка медведя убьет, а бывает, что опытный зверобой с пустыми руками вернется. Во-вторых, надо правильно использовать людей. Если человеку всё время поручают такую работу, к которой у него душа не лежит, так нечего ждать от него большой выработки...»

К какой именно работе тянется душа Кэнири, — этого колхозники действительно никак не могли установить. Однако справедливость требует отметить, что иногда Кэнири умел проявить себя и с хорошей стороны. Он был сметлив и довольно ловок, отлично стрелял. Если дело не требовало ни большой смелости, ни напряженного труда, то Кэнири умел не отставать от товарищей.

И вообще он был полон самых благих намерений. Никогда не повышал голоса на своих детей, а было их у него к тому времени четверо; удивительное дело — две пары двойняшек! К водке он почти не притрагивался. Но лень овладевала им так же часто, как некоторыми людьми овладевает запой.

Не помогали Кэнири ни его искусная игра в шашки и в шахматы, ни слава первого щеголя. Правда, щеголем он был, если можно так выразиться, только наполовину, причем — на верхнюю. Особенно заботился он о своих шляпах и галстуках. Штаны и торбаза были в самом плачевном состоянии, но это его несколько не тревожило. Его гордостью было то, что именно он, Кэнири, первым в поселке оценил элегантность фетровой шляпы. До него

фетровую шляпу приобрел только Кэлевги — механик колхозной электростанции. Но тот носил её лишь во время дождя. Кэлевги решил, что это — дождевой головной убор, поля которого специально предназначены для того, чтобы вода не попадала за шиворот. Кэнири высмеял его, доказав, что единственное назначение мягкой фетровой шляпы — придавать обладателю красивый, культурный вид. «Надо только уметь носить её!»

Бригадир Кымын не интересовался шашками, а из всех головных уборов предпочитал малахай. Кымын требовал от Кэнири того же, чего требовал от каждого члена своей бригады: добросовестной работы. А Кэнири не любил утруждать себя, ему казалось, что Кымын зря придирается. Вот на этой-то почве и произошла история, послужившая материалом для карикатуры в стенгазете.

Бригаде было поручено построить неподалеку от поселка ледник. Дело это нелегкое: приходилось долбить вечную мерзлоту. Сколько земли выдолбишь, — столько поту прольешь. А может, и еще больше. Зато важное дело, нужное для колхоза: в земле, которая и летом не оттаивает, большие запасы мяса можно хранить.

Кэнири всякими правдами и неправдами уклонялся от этой работы до тех пор, пока не услышал, что завхоз Гэмалькот привез аммонал и землю будут взрывать. Тогда он сам явился в бригаду и, делая вид, будто ничего не знает об аммонале, сказал Кымыну: «Ну, бригадир, ставь на работу. Пришел землю долбить».

Кымын, как и ожидал Кэнири, был удивлен и обрадован. Однако в остальном ожидания не оправдались: взрывчатка сделала свое дело, но и после нее надо было еще немало потрудиться. Отколотые аммоналом куски мерзлой, тяжелой, как камень, земли нужно было выбрасывать из большой ямы.

После первого дня такой работы у Кэнири заныли и ноги, и руки, и спина. Он прогулялся на полярную станцию, что в двух километрах от поселка, и предстал перед фельдшером Алексеем Вадимычем.

Фельдшер встретил его приветливо: как-никак Кэнири частый пациент и к тому же прекрасный партнер для игры в шашки. Внимательно осмотрев «больного» и выслушав все его жалобы, фельдшер сказал:

— Понятно, понятно. Мускульная боль. Это с неприятности у каждого бывает. Поноют немножко мускулы и

перестанут. Еще денек поработаете, и всё пройдет. Главное — не прекращайте работу. А то у вас скоро начнет брюшко отрастать... Сыграем партию, что ли?

Кэнири очень хотелось поиграть, но он хмуро отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. «Жаль, жаль», — сказал фельдшер и — видимо, по рассеянности — всё-таки взял с полки доску и стал расставлять шашки.

Они сыграли пять партий в «крепкие», для отдыха — еще две партии в «поддавки», и Кэнири, не умевший долго хмуриться, ушел домой вполне довольный. Его настроение было подобно ясному небу, на котором маячило только одно маленькое облачко. Этим облачком была мысль о том, что завтра придется снова ворочать тяжелые глыбы мерзлой земли.

Утром он пришел на постройку ледника и медленно спустился в котлован, где уже работали все его товарищи по бригаде. Часок он поработал вместе с ними. Потом подошел к бригадиру и, выразительно приложив руку к животу, сказал, что ему «надо отлучиться». Кымын кивнул головой.

Не отнимая руки от живота, Кэнири прошел метров сто в сторону моря и скрылся за одним из валунов. Вернувшись, он поработал еще немного, снова подошел к бригадиру и, болезненно искривив лицо, сказал:

— С животом что-то неладно. Опять надо к валунам идти.

Так, в течение всего дня Кэнири почти каждый час «отлучался» и «ходил к валунам» и проводил там минут по двадцать, а то и больше. Кымын сам предлагал ему отправиться домой, но Кэнири решил остаться. «Хоть от меня сегодня толку немного, — скромно сказал он, — а всё-таки поработаю. Хоть немного, да помогу».

Такая тактика казалась Кэнири чрезвычайно хитроумной. Пусть теперь кто-нибудь посмеет назвать его лентяем! Теперь все узнают, каков на самом деле Кэнири! Даже больной — и то не захотел уйти с постройки ледника!

Ему казалось, что он уже слышит эти уважительные отзывы. И они так понравились ему, что он сам почти поверил во всё это. Между тем не только живот у него нисколько не болел, но и мускульная боль утихла гораздо раньше, чем предполагал фельдшер.

Он просто похаживал к валунам, присаживался за одним из них и отдыхал, бездумно поглядывая то на море, то на холмы. А когда, наконец, надоедало сидеть сложа руки — развлекался: подбрасывал охотничий нож так, чтобы он, перевернувшись в воздухе, вонзался в землю. Ведь всё равно никто этого не видит. Со стороны котлована могут заметить за камнем только его голову, а со стороны моря... Там, на берегу, безлюдно. Только на дальней косе возится с сетями какой-то человек. Это, наверно, Мэмыль. Первая бригада всегда сушит сети на той косе, и отвечает у них за это дело старый Мэмыль. Ну, он на таком расстоянии не увидит Кэнири. А если и увидит, так не узнает.

* * *

Может, на этот раз расчеты Кэнири и оправдались бы, если бы не два обстоятельства, которых он не учел.

Во-первых, у Мэмыля был бинокль. Как раз накануне приехала из Хабаровска на каникулы Тэгринэ и в подарок отцу привезла морской бинокль тройного увеличения — правда, старинный, купленный в комиссионном магазине, но вполне исправный. Уважила дочка старика, не забыла о своем детском прегрешении, возместила давнюю потерю.

Этого обстоятельства Кэнири не знал и предусмотреть, конечно, не мог.

Второе обстоятельство заключалось в том, что у старого Мэмыля был молодой, беспокойный характер, были любопытные глаза и живой интерес ко всем колхозным делам.

Это Кэнири знал, и не учел он этого только по своему легкомыслию.

* * *

В то утро Мэмыль отправился на берег пораньше: вечером бригада должна была выехать на лов, нужно было подготовить сети, привести их в полный порядок.

Прежде всего он тщательно прощупал пряжу. Она была сухая — ветер и солнце поработали добросовестно. Но на верхней бечеве недоставало нескольких берестяных поплавок — хорошо, что Мэмыль предусмотрительно захватил с собой запасные.

Старик вытащил из футляра бинокль. Поверхность моря показалась вначале совсем пустынной. Но вот

низко — почти у самой воды — пронеслась стайка уток. Вот далеко-далеко взметнулся над водой тонкий фонтанчик. «Кит, — подумал старик. — Очень далеко. Без бинокля, наверно, и не заметил бы».

Он с сожалением опустил бинокль, застегнул футляр, достал из своей холщовой сумки запасные поплавки и принялся за работу...

Здесь, на берегу этого холодного моря, прошла почти вся его жизнь. Непokoйная это была жизнь, интересная! Когда Мэмыль начнет вспоминать, — заслушаешься!

В другой раз я еще надеюсь рассказать кое-что из того, что слышал от старого Мэмыля. Теперь же коснусь только самого главного, без чего история со стенгазетой не была бы понятна.

Большую часть своей жизни Мэмыль был последним из бедняков. В молодости он испытал столько бед, что и половины хватило бы, наверно, чтобы десятерых навсегда лишить бодрости. Но не таков Мэмыль. Когда беседуешь с ним, можно подумать, что это счастливейший из людей.

Он был одним из организаторов и первым председателем колхоза «Утро». Может быть, и не пришлось бы выбирать другого, если бы Мэмыль был грамотным.

Но он не умел ни писать, ни читать. Когда он был молод, дорога к грамоте была закрыта для него, как и для всей чукотской бедноты. Когда эта светлая дорога открылась, Мэмыль был слишком занят. Он помогал устанавливать советские порядки на Чукотке, боролся с шаманами, агитировал за колхоз. Среди его многочисленных забот была и забота о ликвидации неграмотности. Но самому ему было некогда, не умел он тогда найти время для учения.

Мэмылю было трудно руководить делами колхоза. К счастью, очень скоро выросли люди, которым он мог передать руководство. Когда председателем выбрали Вамче, Мэмыль не испытал ни малейшего чувства обиды. Напротив! Ведь это были отчасти плоды его собственных трудов: именно за то он и боролся, чтобы могли вырасти такие люди, как Вамче. Он сам когда-то убеждал Вамче учиться, сам командировал его в Анадырь на курсы.

При новом председателе колхозные дела еще быстрее пошли в гору. А старого Мэмыля и до сих пор каждый раз избирают членом правления.

Мэмыль взялся было за учебу, стал посещать кружок ликбеза. Но из этого ничего не вышло. Все, обучавшиеся в кружке, успели уже продвинуться далеко вперед. Мэмыль решил, что ему не угнаться за ними.

Много времени и сил уходило на работу в охотничьей бригаде: Мэмылю хотелось показать, что за время председательства он не разучился владеть ни ружьем, ни веслами; да и вообще не такой это человек, чтобы работать вполсилы. Много хлопот было и дома: нелегко вдовцу воспитывать дочку. К тому же натура у него увлекающаяся. То он всё свободное время проводит над ящичком земли, над торчащими из этой земли стрелками зеленого лука, о котором раньше в нашем поселке и не слыхали; то вдруг пристрастится к резьбе по кости, к вырезыванию смешных фигурок из моржового клыка. . . Словом, кружок ликбеза он очень скоро бросил, а если нужно было где-нибудь поставить свою подпись, — срисовывал ее со спичечной коробки.

Этот способ он придумал еще тогда, когда был председателем. Попросил дочку поразборчивее написать на чистой стороне спичечной коробки слово «Мэмыль» и, когда нужно было расписаться, ставил перед собой коробочку и тщательно срисовывал с нее свое имя.

Я понимаю, что после всего сказанного читателю нелегко будет верить в то, что Мэмыль хранит в своей голове содержание доброго десятка романов, доброй сотни рассказов и повестей. Я понимаю, что это не очень правдоподобно, но ничего не могу поделать, потому что взял себе за твердое правило писать о своих земляках только чистую правду, как бы она ни была удивительна.

С тех пор, как Тэгрынэ научилась читать, она привыкла пересказывать отцу содержание каждой прочитанной книжки, каждой страницы из учебника. Вначале Мэмыль завел такой порядок, чтобы следить за школьными занятиями дочки. Но потом он так полюбил ее пересказы, как любит книги самый завзятый книголюб. Во всем нашем поселке, если, конечно, не считать школьных учителей, нет ни одного человека, который помнил бы столько всяких, описанных в книжках, историй, сколько их помнит Мэмыль. Его смело можно было бы назвать начитанным, если бы не тот печальный факт, что он не знал ни одной буквы. Такой это редкостный человек — наш Мэмыль!

Вот, значит, вынул старик из сумки запасные поплавки и взялся за починку сетей. Приладил три берестяных поплавок, а прилаживая четвертый, выронил его, и поплавок покотился к морю. Старик догнал его уже у самой воды. Возвращаясь, окинул глазами берег и разглядел какого-то человека, сидящего возле валуна.

Кто ж это может быть? Мэмыль поднес к глазам бинокль и узнал Кэнири. Правильно, неподалеку от этих валунов бригада Кымына должна строить новый ледник. Но почему же лодырь Кэнири сидит сложа руки и поплеывает, вместо того, чтобы работать? Может, у них сейчас перекур? Тогда почему Кэнири сидит один, где все остальные?

Кэнири вскоре поднялся и лениво побрел по направлению к котловану, а мысли Мэмыля потекли по новому руслу. Он думал о том, что завтра, когда Тэгрынэ еще будет спать, надо съездить наловить свежей рыбки, чтобы побаловать хабаровскую студентку. У них там, в Амуре, нет, наверно, такой нельмы, какая в Чукотском море водится. Если попадется хорошая нельма, надо будет Гэмауге с Икрыном в гости позвать.

Закрепив поплавки, Мэмыль проверил нижнюю бечеву и убедился, что в двух местах оборвались грузила. Он пошел вдоль берега, подбирая подходящие для грузил камешки, и заметил, что возле валуна снова сидит какой-то человек. И опять, поглядев в бинокль, старик узнал Кэнири.

Через некоторое время это повторилось в третий раз, еще через час — в четвертый, потом — в пятый...

Что же там делает этот лодырь? Его поведение можно было бы объяснить самыми естественными причинами, но Мэмыль ясно видел, что в данном случае эти причины отсутствуют: Кэнири то сидел, играя охотничьим ножом, то валялся на траве, курил... И Мэмыль начал догадываться, какую нехитрую штуку придумал на этот раз Кэнири, чтобы увильнуть от работы. От возмущения старик даже погрозил в его сторону кулаком: «Ну, подожди, чортов обманщик! Мы тебя отучим от этих фокусов!»

Разные это люди — Мэмыль и Кэнири, во всем непохожи они друг на друга. Но больше, чем во внешности и в характере, сказывается это несходство в том, как каждый из них относится к новой жизни.

Для Мэмыля новая жизнь — это колхоз «Утро» и большая советская Родина, это дочь Тэгрынэ, которая учится в институте, это Вамче, Уипэнэр, сотни других сыновей Чукотки, судьба которых так не похожа на судьбу их отцов; это его собственная счастливая старость. Ведь если бы жизнь не пошла по-новому, давно уже пришлось бы, наверно, Мэмылю распрощаться с нею, как это сделал когда-то его больной отец, как это делали многие заброшенные старики в бедняцких семьях. Теперь молодежь даже не верит, когда рассказываешь о жестоком обычае «добровольной смерти». . . Тэгрынэ говорит, что Мэмыль должен жить, пока не появятся дети у ее будущих детей. Надо думать, это будет нескоро, — ведь Тэгрынэ еще не замужем. Впрочем, за этим дело не станет, Мэмыль не хуже самой Тэгрынэ понимает, чьими детьми будут его внуки: они будут детьми Инрына — сына резчика Гэмауге. Но дожидаться правнуков? Что ж, Мэмыль не прочь. Оттуда, где славно живет, никто не торопится уходить.

Кэнири тоже любит новую жизнь. Но, во-первых, он не знает старой прежней жизни, ему труднее сравнивать. А во-вторых, в новом ему больше всего нравится то, что вовсе не является самым главным. Он любит целые вечера просиживать в клубе за шашками, любит пофрантить. «Даже в кино, — говорит Мэмыль, — Кэнири видит совсем не то, что надо. На какое ухо шляпу надвигать — это его в каждой картине больше всего интересует».

Не раз пытался Мэмыль повлиять на Кэнири, пробудить в нем интерес к колхозным делам. И шуткой пытался действовать, и уговорами, и критикой, и примеры приводил, — всё это разбивалось о непреодолимое легкомыслие Кэнири. Не сумел повлиять на ленивца и строгий, требовательный Вамче. Многого сумел добиться Вамче такого, чего не удавалось добиться Мэмылю. А сделать из Кэнири хорошего колхозника не удалось и ему.

Кэнири старался пореже встречаться с Мэмылем, злился на него и за глаза называл «Кривым пальцем». Действительно, у старика на правой руке указательный палец поврежден, не разгибается. И, когда, разговаривая, старик подкреплял свои слова движением правой руки, Кэнири казалось, будто какая-то хищная птица то отлетает, то налетает, нацеливаясь своим кривым клювом прямо на Кэнири. Но такое впечатление создавалось

почему-то только у него. Все остальные очень любят старого Мэмыля, а слушать его рассказы готовы хоть целую ночь напролет.

В тот вечер, когда Кэнири, вернувшись с постройки ледника, наивно радовался тому, как ловко он перехитрил всю бригаду, Мэмыль расспросил Кымына и окончательно убедился в правильности своей догадки. Весь следующий день он раздумывал над тем, как проучить бездельника Кэнири.

Рассказать Вамче? У Вамче и без того немало хлопот. Выступить на собрании? Когда еще будет собрание! Вызвать Кэнири на заседание правления? Сколько раз уже вызывали его, стыдили, ругали, а толку всё равно никакого!

Так родилась у Мэмыля мысль написать о Кэнири в стенгазету. Это средство еще не было испробовано. Он посоветовался со своим приятелем Гэмауге и пошел к Гоному. «Хорошо, — сказал Гоном, — приходи сегодня вечером в школу. Мы как раз очередной номер будем заканчивать. Там и Эйнес будет, и Ринтувги — вся редколлегия».

В школе, в одном из классов Мэмыль отыскал их. Они усердно трудились над стенгазетой. Большой лист белой бумаги, лежащий на темном полу, показался Мэмылю похожим на льдину, плывущую по морю, а члены редколлегии, ползающие на животах возле листа, были похожи на тюленей, вылезавших на эту льдину из воды.

Эйнес четким почерком выводил текст заметок, Гоном, не щадя цветной туши, писал заголовки, а Ринтувги наклеивал картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов. Ринтувги был особенно рад приходу Мэмыля, так как появился повод прервать непривычный и очень утомительный труд: человеку, привыкшему орудовать веслами и ружьем, нелегко приспособиться к ножницам и кисточке. Ринтувги так боялся измазать клеем газету или косо наклеить какую-нибудь картинку, что у него даже пот выступил на лбу.

Мэмыль рассказал о проделках Кэнири и добавил:

— Написать об этом я не смогу. Заметку вы сами составьте. А вот нарисовать я, пожалуй, попробовал бы.

Его усадили за одну из парт, дали бумагу, несколько карандашей, резинку, а сами снова распластались на полу. Но вскоре Мэмыль убедился, что рисование и

резьба по кости — это совсем разные вещи. Прежде он считал, что рисовать гораздо легче: тут можно стереть, если что не так, — на то ведь и существует резинка. А уж если резцом не там проведешь, где надо, — никакие резинки не помогут. . . Но здесь Мэмыль подстерегали другие трудности. То у него ломался карандаш, то совсем, казалось бы, легкий штрих насквозь прорезал плотную бумагу. Даже если бумага оставалась целой, — линии получались такие, что резинка оказывалась бессильной.

Испортив с десяток листов бумаги, Мэмыль всё-таки приспособился к этому не в меру нежному материалу. Меньше чем через час карикатура была уже почти готова. Старик так увлекся работой, что не заметил, как Эйнес, Гоном и Ринтувги подошли к нему. Он поднял голову только тогда, когда услышал, как они рассмеялись, посмотрев на его рисунок.

— Замечательно! — воскликнул Эйнес. — Да у тебя, дядя Мэмыль, настоящий талант! В этот же номер дадим. Ура, товарищи, у нас теперь собственный Кукрыниксы имеется!

Старый Мэмыль ничего не знал о Кукрыниксах, но понял, что это, должно быть, очень лестное сравнение.

* * *

Такова история карикатуры, которая, по утверждению Гонома, является «конкретной критикой», а по утверждению Кэнири — «оскорблением и клеветой». Но кому-кому, а уж самому-то Кэнири хорошо известно, что это вовсе не клевета, а чистейшая правда. Однако от этого сознания ему нисколько не легче. Он смотрит на экран и ничего не может понять. Ему сейчас не до «Кубанских казаков», не до кино. . .

«Откуда они могли узнать? — думает он. — Кымын ничего как будто и не подозревал. Даже сам хотел отпустить с работы. И другие тоже ничего не подозревали. Сочувствовали, всякие средства советовали».

Кэнири понимает: чем большее сочувствие вызвал он тогда у товарищей по бригаде, тем суровее осудят они его теперь, когда вскрылась правда.

«Откуда же всё-таки они узнали?! Сам Стенкор ничего не видел, — его там не было. Там вообще никого не было, кроме «Кривого пальца». Может быть, «Кривой палец» всё-таки разглядел его? Конечно, это он, старый

чорт, больше никому! Разглядел и рассказал Стенкору. А тот нарисовал».

Первую часть фильма уже прокрутили, и Кэнири, воспользовавшись минутным перерывом, пробирается к выходу: не такое у него настроение, чтобы сидеть в кино. Чей-то голос кричит вдогонку.

— Что, Кэнири, опять к валунам побежал?

Дружный хохот покрывает эти слова. Неужели все они уже успели прочесть стенгазету? Кэнири, конечно, не отвечает насмешникам, но громко говорит дежурному:

— Открой, пожалуйста, библиотеку. Я там шляпу оставил.

Вдвоем они входят в библиотеку. Шляпа — новая, велюровая — действительно висит на гвозде, — Кэнири забыл ее, когда выходил вслед за Гоном. Он берет ее, но по дороге к двери против собственного желания останавливается у стенгазеты, снова рассматривает карикатуру и перечитывает помещенную под карикатурой заметку.

Вот этот большой серовато-зеленый камень. Возле него сидит толстый, смешной человечек с двумя головами. Одна повернута в сторону камня, доходящего почти до подбородка. На лице выражение мучительной боли. Другая голова немного пригнута и прячется за камнем; с противоположной стороны ее не должно быть видно. По лицу расплылась самодовольная улыбка. Сколько утомительного напряжения вложил художник в страдальческую гримасу! И в то же время какими-то едва уловимыми черточками он подчеркнул, что страдания эти — напускные. А в улыбке — сколько самодовольства, какая уверенность в силе своей хитрости! И эта уверенность тем более смешна, что обман уже раскрыт перед читателем, хитрость уже разоблачена.

По мнению Кэнири, этот толстый человечек несколько на него не похож. А все говорят почему-то, что «вылитый Кэнири». Сразу почему-то узнали.

Заметка, помещенная под карикатурой, написана Гоном. В ней нет уже никаких шуток. Называется она — «Позор симулянту».

«На постройке ледника, — сказано в заметке, — вся бригада Кымына работала хорошо, дружно. Особенно высокую сознательность проявил, несмотря на свой преклонный возраст, охотник Онна, а также молодой мото-

рист Инрын. Они, а также сам бригадир, всем показывали пример в работе, и все активно следовали этому примеру. Только один не следовал. Он не хотел работать, а хотел чужими руками жар загребать. Пока другие работали, он всё время нарушал дисциплину и бегал к валунам. А бегать ему совсем не надо было. Он там прохлаждался и издевался в душе над товарищами, которые в это время работали не жалея сил. Факты показали, что он это делал без всякой надобности, а только для того, чтобы не работать и симулировать. Такому позорному явлению должен быть положен решительный конец».

Кэнири прочитывает до этого «решительного конца» и даже зубами скрипит от досады. Но, покосившись на дежурного по клубу, улыбается и, напевая, выходит. Впрочем, он сразу же перестает улыбаться и напевать, как только чуточку отходит от дежурного.

* * *

Солнце ярким светом заливает песчаную косу, на которой раскинулся поселок. Жарко. Ветерок, правда, чувствуется, но он дует с южной стороны и почти не приносит прохлады. Через косу, прямо над поселком, пролетают стаи уток. Но — странное дело — даже тогда, когда они летят совсем низко, никто не стреляет. Лишь изредка метко брошенная пятихвостка со свистом взлетает в воздух, и птица, опутанная ею, камнем падает на землю.

Стрелять нельзя, особенно при южном ветре: в море, на одном из островков, расположенных неподалеку от поселка, обнаружено лежбище моржей, ветер может донести до них звук выстрела. В поселке точат копья и на сверкающие холодным блеском острия надевают кожаные чехлы.

На байдарках меняют обтяжку. Вдоль берега, и там и здесь, кто-нибудь занимается этим делом, — каждая бригада обтягивает свою байдару новой кожей.

Старый Мэмыль возвращается с сопки, со своего наблюдательного пункта. Оттуда он наблюдал за лежбищем. Голова его обнажена, на груди — морской бинокль. Пот светлыми бусинками блестит на лбу старика, тоненькими ручейками стекает по морщинам лица.

Первый привал Мэмыль сделал возле байдары молодежной бригады. Там работали Ринтувги и сам брига-

дир — Унпэнэр, сын Гэмалькота. Мэмыль потолковал с ними, рассказал о том, что делается на лежбище моржей. Рассказал с такими подробностями, какие могут быть оценены только настоящими охотниками. Унпэнэр и Ринтувги — настоящие охотники, они оценили.

Мэмыль прошел еще шагов триста и теперь присаживается на песок рядом с байдарой бригады Кымына. Здесь работает Кэнири.

— Здравствуй, Кэнири.

— Здравствуй.

— Что ж это ты один работаешь? Одному несподручно.

— Бригадир мне Инрына в помощники дал. Только у него шило совсем тупое. Я его послал наточить как следует. Ведь с тех пор, как твоя Тэгрынэ приехала, Инрын всё на свете позабыл. Пойдет за него Тэгрынэ? Или у нее, может быть, кто-нибудь другой на уме? А? Может, в Хабаровске кого-нибудь получше нашла?

— Нет, Кэнири, не думаю. По-моему, дружба у них крепкая. Но разве девушка будет рассуждать о таких вещах со своим старым отцом? А Инрын что-нибудь говорил на этот счет?

— Он-то молчит, только мы ведь сами понимаем. Не слепые. Если Инрын скучный ходит, — значит, давно письма из Хабаровска нет; если веселый, — значит, письмо пришло. А сегодня бригадир ему говорит: «Ты, Инрын, пойдешь с Кэнири менять обтяжку на байдаре. Кэнири тебе покажет, что надо делать. А плохо будешь работать, — я твоей студентке пожалуюсь».

Кэнири рассказывает об этом с явным удовольствием. Дело, конечно, не в Инрыне и не в Тэгрынэ, он приплет их только для вида, для того, чтобы между прочим, совсем как будто невзначай, рассказать о себе самом. Пусть «Кривой палец» видит, что такое важное дело, как перетяжка байдары, поручено именно ему, охотнику Кэнири. Пускай Кэнири будет лодырем, лежебокой — называйте его как вам угодно, — но когда пришло время обтягивать байдару, из всей бригады выбрали всё-таки именно его. И даже моторист Инрын сегодня под началом у Кэнири. Наверно, Кымын лучше знает своих охотников, чем люди из других бригад.

«Кымын знает, что делает, — думает Мэмыль, глядя на Кэнири. — Обтяжка байдары — это как раз такое дело,

в котором Кэнири не подведет. Он это дело знает. Это не охота и не постройка ледника, — тут не нужно ни особой смелости, ни напряжения всех сил. Тут нужны ловкие руки и аккуратность; а это у Кэнири имеется. Вон как он старается!»

— Правильно работаешь, — говорит Мэмыль, любясь, как ловко орудует изогнутым шилом Кэнири, сшивающий на борту байдары желтоватую, чуть просвечивающую на солнце моржовую кожу.

Но старик не совсем прав на этот раз. Для того, чтобы правильно сшивать на байдаре намоченную моржовую кожу, нужны не только знание дела, аккуратность и ловкие руки, — кроме всего этого, необходимо еще и душевное спокойствие. Один слой кожи надо проткнуть насквозь, а в другой — наружный слой — надо только войти шилом до середины, чтобы провести нить внутри его, параллельно поверхности. Проткнешь насквозь наружный слой кожи, — вода будет просачиваться в байдару. Такой шов, каким нужно сшивать обтяжку байдары, никогда не получится у человека с неровным дыханием. А откуда же взяться ровному дыханию, когда в душе поднимается буря?

Кэнири, польщенный похвалой, поднял голову и увидел на груди Мэмыля бинокль. Это и лишило его спокойствия. Последнее сомнение в том, что именно Мэмыль разоблачил его, окончательно исчезло.

— Отдохни, Кэнири, — говорит старик, вытирая пот со своего высокого лба. — Жарко. С тебя так течет, что, того гляди, совсем растопишься. Как кусок жира на солнце.

Это сказано вполне доброжелательно, с искренним сочувствием. Но Кэнири воспринимает это иначе. В предложении отдохнуть ему слышится намек на то, что он почти всегда предпочитает работе отдых. Сравнение с куском жира тоже не успокаивает его.

— Ты обо мне не беспокойся, — говорит он. — Мне не жарко. Ты лучше скажи, кто меня в газете нарисовал. Кому ты на меня наговорил?

— Зачем я на тебя наговаривать буду? Я не наговаривал, я правду сказал. И в газете я тебя сам нарисовал.

— Сам?! — обескураженно переспрашивает Кэнири.

— Конечно, сам, — отвечает Мэмыль как ни в чем не бывало.

Ему и в голову не приходит скрывать, что он автор этой карикатуры. Мэмыль умел открыто высказывать свои мысли даже в те времена, когда шаманы грозили ему за это жестокой расправой. Нет, старый Мэмыль не из робкого десятка. Просто он не знал, что карикатуры можно подписывать, и никто еще не сказал ему об этом. Вот почему старик так невозмутимо подтвердил, что именно он рисовал карикатуру. А у Кэнири в это время всё внутри переворачивалось от еле сдерживаемой ярости.

— Так. Очень приятно, — говорит Кэнири, продолжая прошивать кожу дрожащей рукой. — Очень приятно. Ну, а Стенкора ты знаешь?

— Какого стенкора?

— Гоном не на тебя говорит. Гоном сказал, что меня Стенкор нарисовал.

Мэмыль беззвучно смеется, а Кэнири недоумевающе смотрит на него, сжимая кулаки. Не будь Мэмыль стариком, Кэнири, наверно, не сдержался бы.

— Ты не так понял его, Кэнири. Стенкор — это корреспондент. Корреспондент стенной газеты. Тот, который в стенную газету пишет. Понимаешь? Это Гоном меня стенкором назвал. Гоном очень любит такие слова. Он и мне это говорил. «Ты, говорит, должен быть нашим постоянным стенкором».

— По-ня-тно, — медленно произносит Кэнири. И вдруг, злобно выругавшись, отдергивает руку. Но поздно: кожаная обтяжка насквозь проколота шилом. Когда прошиваешь обтяжку байдары, нужно, чтобы на душе был полнейший штиль!

Мэмыль легко вскакивает на ноги и подбегает к Кэнири. Несколько секунд они оба стоят, склонившись над байдарой, ощупывают прокол пальцами и сокрушенно покачивают головами.

— Дырка, — вздыхает Кэнири.

— Худо, — сочувственно отзывается Мэмыль.

Кэнири очень огорчен. Пропал целый трудодень. Кожу придется, пожалуй, перетягивать повыше, чтобы проколотое место перешло с наружной части обтяжки внутрь. Для этого пужно распарывать всё то, что уже прошито.

Да и не только в этом дело. Еще досаднее, что сорвался на такой работе, на которой наверняка мог бы



хорошо себя проявить. В положении Кэнири это теперь совсем нехотать. Теперь Кымын, наверно, пожалеет, что назначил его на перетяжку байдары. Вот что значит невезение!

И надо же, чтобы это произошло в присутствии Мэмыля! Только что расхвастался перед ним, говорил о том, что назначен ответственным за перетяжку...

Мэмыль тоже расстроен. Ему жаль Кэнири, ему даже немного стыдно. Ведь это он отвлекал Кэнири от работы разговорами, это он разволновал человека, заставил вспомнить о всяких неприятных вещах. Уж он-то, старик, должен знать, что нельзя волновать человека, который занят такой работой! И что это за привычка вообще — останавливаться с каждым, кто попадает на пути? Давно бы надо было вернуться домой. Тем более — там Тэгрынэ одна лежит: растянула ногу во время игры в волейбол.

— Пстой-ка, Кэнири, — говорит Мэмыль. — Дай-ка сюда шило.

Кэнири покорно отдает инструмент. Мэмыль вынимает свой охотничий нож, выкраивает небольшую заплатку, прилаживает ее так, чтобы прокол был закрыт, и начинает шить. Нелегко наложить такую заплатку: чтобы вода не просачивалась, шов должен быть частым и в то же время все стежки должны доходить только до середины наружного слоя кожи. Но уж если старый Мэмыль взялся за дело, — значит, оно будет выполнено как следует. Перетягивать кожу повыше не придется, через полчаса всё будет в полном порядке. «Хорошо, что это произошло при Мэмыле, — думает теперь Кэнири. — Во всем поселке никто, пожалуй, не смог бы лучше, чем он, помочь в такой беде».

... Как хотелось бы мне прервать на этом месте свой рассказ! Лентяй Кэнири чувствует угрызения совести; старый Мэмыль, разоблачивший лентяя, выручает его теперь из беды; чувство озлобления против Мэмыля, еще недавно омрачавшее душу Кэнири, теперь сменяется чувством благодарности... Всё это, казалось бы, вполне подходит для конца рассказа.

Но нет, я не поддаюсь этому соблазну. Я обещал ни в чем не изменять правде. А если придерживаться правды, то история о том, как столкнулись на пути к новой жизни Кэнири и Мэмыль — история, начавшаяся во время постройки ледника, — вовсе не закончилась во время пере-

тяжки байдар. Напротив, в тот же вечер, всего лишь через несколько часов после того, как Мэмыль помогал Кэнири обтягивать байдару, произошло событие, придавшее совершенно неожиданный оборот всей этой истории.

* * *

Это произошло в клубе, в той комнате, которая именуется библиотекой. Обязанности библиотекаря выполняет в нашем поселке Аймына — это ее комсомольское поручение. Три вечера в неделю она проводит здесь по два часа — выдает книги и журналы, беседует с читателями. Последнее обстоятельство привлекло сюда многих молодых охотников даже из числа тех, которые никогда прежде не отличались пристрастием к чтению. После того, как имя одного из них — бригадира Унпэнэра — стало занимать определенное место не только в списке читателей, но и в сердце библиотекаря, положение несколько не изменилось. Уж если полюбил книги, то было бы глупо отказываться от чтения только потому, что славной девушке понравился не ты, а твой приятель.

Аймына сидит за столом, на котором разложены журналы и газеты. С ней рядом сидит колхозный счетовод Рочгына. Он принес книгу «Лик пустыни» и просит «что-нибудь в этом же роде».

За ним уже целая очередь читателей: школьник Йорэлэ с книжкой Гайдара; старый Мэмыль с какой-то запиской; Кэнири с «Вечерами на хуторе близ Диканьки»; механик Кэлевги с «Молодой гвардией».

Трое русских — сотрудники полярной станции — заняли очередь за Кэлевги. Один из них отошел пока что почитать стенгазету, а двое сели поиграть в шашки. За другим столиком четверо молодых охотников «забивают козла» — играют в домино. Выставляя костяшку, каждый из них старается так громко ударить ею о стол, что можно подумать, будто выигрыш зависит от силы удара. Такими ударами можно, кажется, «забить» не только козла, но и моржа.

Счетовод Рочгына получает книгу «Солнечный камень». Школьник Йорэлэ берет «Детство» Горького. Теперь рядом с Аймыной садится старый Мэмыль.

Он протягивает записку и говорит:

— Тэгрынэ прислала. Заболела она, ходить не может. «Дорогая Аймына, — сказано в записке, — я лежу,

растянула связки на ноге. Играла вчера в волейбол у полярников и прыгнула так неудачно. Алексей Вадимыч говорит, что нужно пролежать не меньше недели. Хочу использовать это время для чтения. Диккенс у тебя есть? Мне надо прочесть «Оливера Твиста», «Пиквикский клуб» и «Давида Копперфильда». Выдай, пожалуйста, отцу, что у тебя найдется».

— Сейчас, — говорит Аймына, — сейчас найдем, дядя Мэмыль.

Она становится на табуретку и достает книгу с верхней полки шкафа.

— Вот «Давид Копперфильд», первый том. Второй сейчас на руках, скоро должны вернуть. «Оливера Твиста» я ей в школьной библиотеке достану, там есть. А вот насчет... — Она смотрит в записку и продолжает: — Насчет «Пиквикского клуба» я не знаю. Спрошу у полярников. Или на заставе. Словом, я завтра забегу к Тэгринэ, сама ей всё объясню.

— Так оно лучше будет, — говорит Мэмыль. — Мне даже не запомнить всех этих названий. Лучше ты сама объясни.

У Аймыны нет читательских карточек, какие имеются в больших библиотеках. У нее их заменяет толстая алфавитная тетрадь. Аймына уже записала в эту тетрадь: «Диккенс. Д. Копперфильд. Том 1-й».

— Распишитесь вот здесь, дядя Мэмыль.

— Можно.

Мэмыль достает из кармана кисет, из кисета — спички. Нагнувшись и зажмурив глаза, сдувает со спичечной коробки табачную крошку и пыль. Потом кладет коробку на стол и начинает срисовывать с нее свое имя.

Он делает это очень медленно, осторожно. Старается, чтобы перо не рвало бумагу, не разбрызгивало чернил, чтобы в тетрадке подпись получалась точно такая же, как на спичечной коробке.

Одна жердь... Вторая жердь... Когда-то, должно быть, они были соединены наверху переключиной, но теперь эта переключина сломана посередине и прогнулась почти до земли... Так срисовывает старый Мэмыль первую букву своего имени. На это уходит столько времени, что ему приходится дважды макать перо в чернильницу.

Переведя дыхание, он готов продолжать. Но дальше подпись, сделанную на спичечной коробке, совсем трудно

разобрать. Особенно — вторую букву. Табачная крошка стерла ее почти вчистую. «Сегодня же, — думает старик, — попрошу Тэгрынэ написать мое имя на новом коробке. Этот уже не годится».

Да, непромокаемый кисет, сшитый из нерпичьей кожи, — это, конечно, незаменимая вещь в охотничьей жизни. Это прекрасное, надежное хранилище для спичек, сохраняющее их сухими во всякую погоду, во всяких морских передрягах. Но для образца подписи такое хранилище, прямо надо сказать, не очень подходит.

— Давай я за тебя распишусь, — предлагает Кэнири, которому надоело ждать. — Задерживаешь людей. Смотри, какой хвост вырос.

— Ничего, я сам. Один момент.

— Ты пока что подбери себе книгу, Кэнири, — говорит Аймына. Она не хочет, чтобы Кэнири торопил старика, стоял у него над душой. — Эта тебе понравилась?

— Очень понравилась. Мне бы еще какую-нибудь вроде этих «Вечеров».

— «Миргород» читал? Сейчас я тебе достану «Миргород». Это тоже Гоголь написал.

— Вот, — говорит в это время Мэмыль, поставив точку и облегченно вздохнув.

Подпись, наконец, срисована. Она не уместилась в узенькую графу, которую указала Аймына, она заняла в тетрадке место, отведенное по меньшей мере для трех записей. Но не в этом беда. Хуже то, что в подписи допущена ошибка. И притом — весьма существенная.

Как случилось, что вместо одной буквы появилась совсем другая и к тому же — на таком месте, где ей совсем не следовало появляться?! Может быть, и на самой коробочке было написано неправильно. Ведь за то время, что Тэгрынэ была в Хабаровске, старик не раз перерисовывал свою подпись с одной коробочки на другую, может, когда-нибудь и неточно перерисовал. А может быть, он заторопился, увидев, что задерживает людей, и взглянул не на ту букву, с которой ему нужно было в этот момент срисовывать.

Первым замечает ошибку стоящий рядом Кэнири. Что стоило бы ему промолчать? Хотя бы из благодарности за заплатку, которую старик так искусно наложил на проколотую обтяжку байдары. Кэнири мог бы в крайнем случае отвести Мэмыля в сторону и с глаза на глаз сказать

об ошибке, объяснить, какая конфузная получилась подпись.

Но, видимо, чувство мести имеет большую власть над Кэнири, чем чувство благодарности. Ведь здесь, в этой самой комнате, еще висит тот номер стенгазеты... Тот, в котором Мэмыль так беспощадно расправился с Кэнири, оскормил его на весь колхоз. Как же не воспользоваться случаем, раз уж Мэмыль сам подставляет себя под удар?

Впрочем, возможно, что ничего этого и в мыслях не было у Кэнири. Кто его знает! Возможно, что, увидев, как подписался Мэмыль, он просто не удержался от смеха, как не удержались бы, наверно, многие на его месте. Он приснул, схватив одной рукой тетрадь, а другой рукой стал тыкать в слово, написанное Мэмылем, пытаясь что-то сказать и захлебываясь от неудержимого хохота.

Вместе с ним начал хохотать Кэлевги. Даже охотники, игравшие в домино, прервали игру, чтобы узнать, что произошло. И каждый, заглянувший в тетрадь, присоединился к общему веселью.

Дело в том, что в тетради, вместо слова «Мэмыль», стояло старательно выведенное крупными буквами слово... «Мымыль»!¹

Можно как угодно обозвать человека, и ничего в этом не будет смешного. Но если человек сам подписывается таким нелестным словом, да еще в полной уверенности, что подписывает свое настоящее имя, — трудно, конечно, сохранить при этом серьезность.

Звонко, залиvisto смеется Аймына. Покатываются со смеху молодые охотники. Йорэлё, обрадованный всеобщим весельем, старается произвести как можно больше шума: бегаёт по комнате, изо всех сил топая ногами, хлопает в ладоши и кричит: «Мымыль! Мымыль! Мымыль!»

— Тише, Йорэлё! Тише, нельзя же так! — кричит ему Аймына и, замахав руками, снова заливается звонким смехом.

— Ой, насмешил! Ой, насмешил! — стонет в изнеможении Кэнири. — Мымыль! Вот что значит одна буква! Самого лучшего зверя она может превратить в самое паршивое насекомое!.. Ох! Ох!.. Ой, перестаньте, я больше не могу!

¹Здесь непереводимая игра слов: по-чукотски «Мэмыль» — «тюлень», промысловый зверь, достойный, с точки зрения охотника, всяческого уважения, а «Мымыль» — это вошь (*Прим перев.*)

— Вы не сердитесь, дядя Мэмыль! — говорит сквозь смех Аймына. — Вы на нас не обижайтесь! Но это... это... Ох!.. Вы понимаете?

— Понимаю, насмешница, понимаю, — улыбается Мэмыль. — Чего мне на вас обижаться? Сам виноват. Тут уж ничего не поделаешь, если рассмешил.

Он видит, что полярники с удивлением поглядывают на всех, и сам объясняет им по-русски свою ошибку, сам посмеивается вместе с ними над своей бедой. «Плохо, — говорит он, — когда грамоты не знаешь. Очень плохо. Скоро, наверно, даже медведь будет у охотника спрашивать: «Ты грамотный? Да? Тогда, — скажет, — стреляй». А неграмотный, — домой будет отсылать».

Тетрадь Аймыны переходит пока что из рук в руки. Смех утихает, к огорчению разыгравшегося Йорэлё, то раздражается с новой силой — такой веселый, простодушный, незлобивый смех, что в положении Мэмыля только совсем уж глупый человек счел бы нужным рассердиться. А Мэмыль — умный, очень умный старик.

* * *

Однажды, в поезде Москва — Хабаровск, моими соседями по вагону оказалась чета бельгийских туристов. Они очень интересовались жизнью народов Крайнего Севера, хотя никогда не решались проникнуть на Север дальше Ленинграда. Они спрашивали, в частности, как проявляется веселье у народов, живущих за Полярным кругом. По их глубокому убеждению, «родиной смеха является Средиземное море», а «характер северян отражает суровый характер северной природы».

Эти вежливые иностранцы всячески старались не обидеть меня, но видно было, что темперамент чукчей представляется им весьма схожим с темпераментом дрейфующих льдин или, в лучшем случае, моржей. «О да! — восклицала туристка. — Я понимаю, что и за Полярным кругом можно увидеть улыбку. Но она должна отличаться от улыбки южанина, как мхи тундры отличаются от буйной флоры тропиков, как строгие, холодные краски Севера отличаются от ярких, даже слишком, может быть, ярких красок южной палитры».

А супруг этой дамы, с трудом поверивший мне, что в чукотском языке есть слово «улыбка», никак не мог поверить, что имеется также и слово «смех». Раза три он

настойчиво осведомлялся, не заимствовано ли оно из языка наших южных соседей.

Мне жаль, что этой любознательной четы не было в нашем колхозном клубе в тот вечер, когда старый Мэмыль так неудачно расписался в библиотечной тетради. Наверно, они всё-таки изменили бы свое мнение, услышав, как хохотали тогда молодые чукотские охотники.

Думается мне, что смех можно чаще всего услышать не среди тех народов, над которыми жарче светит солнце, а среди тех, у кого светлее, солнечнее на сердце.

* * *

В тот вечер, вернувшись домой, Мэмыль застал там Иирына, пришедшего навестить Тэгрынэ. Старик передал дочери книгу и рассказал обо всем, что произошло с ним в клубе. Затем он зашел к Гэмауге. Поговорил с ним о многих вещах, в том числе и об этом происшествии рассказал. Оба раза он говорил об этом между прочим, в шуточной форме, как о курьезном эпизоде, которому сам не придавал никакого значения.

Было бы, однако, неверно думать, будто Мэмыль не чувствовал обиды. Он действительно не сердился на тех, кто смеялся над его ошибкой. Но чувство обиды он всё-таки испытывал.

Ему хотелось разобраться в этом чувстве как следует, спокойно продумать, — что же, собственно, произошло? Но, вернувшись от Гэмауге, он сразу лег и постарался поскорее уснуть. И на следующий день, работая, тоже всё время гнал от себя эти мысли. Дело в том, что у Мэмыля было излюбленное место, куда он всегда уходил, когда хотел спокойно, неторопливо поразмыслить над чем-нибудь.

Этим местом была вершина сопки — той самой, с которой он наблюдал за лежбищем. Туда он и направился после работы.

Хорошо на этой сопке! Мэмыль садится на землю, нагретую июльским солнцем. Далеко отсюда видно — и горы видны, и море, и тундра, и коса, на которой стоит родной поселок, и лагуна, отделенная этой косой от моря. Лет шестьдесят, наверно, прошло уже с тех пор, как Мэмыль, еще мальчишкой, впервые взобрался на вершину сопки. И до сих пор никогда не надоедает ему любоваться отсюда родными местами.

На север посмотришь, — Чукотское море плещет перед тобой. Направо, на восток повернешься, — далекие горы темносиними отрогами спускаются к самому берегу. Позади далеко на юг расстилается тундра, за нею — опять горы. Самая большая из них называется Рэунэй — Кит-гора. Если дать волю фантазии, можно представить себе, будто это действительно кит, попавший в тундру, окаменевший и лежащий здесь с незапамятных времен.

А если посмотреть на запад, — весь поселок будет виден внизу. Как на ладони!

Кстати, пора и мне немного подробнее познакомить читателя с нашим поселком. Многие, конечно, и без меня слышали о колхозе «Утро». Тем более им будет интересно узнать, как выглядит этот знаменитый колхоз.

Было б лучше всего, если бы читатель запряг собак или оленей, приехал к нам в гости, побывал в клубе, в домах и ярангах колхозников, познакомился со знатными охотниками Унпэнэром, Ринтувги и Кымыном, послушал рассказы старого Мэмыля и песни Атыка, поглядел на художественные изделия костореза Гэмауге и на узоры вышивальщицы Рультынэ... Летом можно приехать на байдаре.

Но я понимаю, что приехать, конечно, нелегко: у каждого свои дела. И кроме того...

Кроме того, — что если мои рассказы переведут на русский язык? Будем говорить откровенно: какой из советских писателей — пишет ли он по-украински, по-грузински, по-эстонски или на другом языке, — какой из писателей всего необъятного нашего Союза не мечтает в глубине души о том, чтобы его книга была переведена на великий язык России? Каждому — каким бы скромным он ни был — хочется, раз уж взялся он за перо, чтобы книгу его прочли и в Мурманске и в Севастополе, и в Ленинграде и во Владивостоке, и в Сталинграде, и в столице нашей Родины — в славной Москве. Не скрою, что и я лелею такую гордую мечту. Я пишу для тебя, моя родная Чукотка, но если голос мой не окажется слишком слабым, я расскажу о тебе большому читателю всей советской земли...

Прости, мой дорогой читатель, что я так размышлялся. Я только хотел сказать, что, если какой-нибудь, к примеру, кубанский казак прочтет мои рассказы о чукотских охотниках и захочет повидать колхоз «Утро», — ему уж

совсем трудно осуществить это желание. Тут уж ни на оленях, ни на байдаре, ни на кубанском скакуне не добраться. Самолетом и то за неделю не обернешься.

Лучше поднимемся мысленно на сопку, сядем рядом со старым Мэмылем и посмотрим отсюда на наш поселок.

Почти у самой сопки начинается песчаная коса. Вначале она идет на север, но скоро погибает влево, к западу, и дальше идет вдоль побережья, отделенная от него лишь неширокой лагуной.

Всё селение — одна улица, километра на полтора растянувшаяся по косе. На левой стороне — той, что ближе к лагуне, — больше новых бревенчатых домов: тут и правление колхоза, тут и магазин, и клуб, и школа — самое большое здание поселка. Рядом со школой два учительских домика. На правой стороне сохранилось много яранг, но и там уже с десятков домов наберется: с каждым годом всё большее число охотников решается расстаться с дедовскими ярангами.

На краю поселка — колхозная электростанция, рядом с ней — металлическая мачта ветродвигателя. Дальше коса начинает заметно сужаться. На берегу стоят байдары, кое-где развешаны для просушки сети. На самом конце косы, на большом расстоянии от поселка, виднеются постройки полярной станции.

Людей не видно: колхозники вернулись с работы и, наверно, обедают сейчас. Но для Мэмыля вся эта картина наполнена жизнью, каждая мелочь о многом говорит ему.

Не так, совсем не так выглядел поселок в прежние времена. Три десятка жалких яранг, лавка американского скупщика — вот и всё, что здесь было. На берегу было мало байдар, и ни одна из них не имела мотора.

Тянулись годы, а вид поселка почти не менялся. Однажды судьба оторвала Мэмыля от родных берегов — семь лет мытарился он в Канаде и на Аляске. Когда удалось, наконец, возвратиться, — всё выглядело попрежнему, будто и года не миновало. Только людей стало меньше: редкий год проходил тогда без губительной эпидемии.

А теперь всё больше и больше становится население поселка, и давно уже не похож он на стойбище прежних времен. Вот уж сколько домов появилось! Одни из них, выстроенные несколько лет назад, успели потемнеть под сырыми морскими ветрами. Школа — ее построили преж-

де всего — выглядит так, будто давным-давно стоит здесь. А другие белеют свежими срубами — вон как весело выглядят новенькие дома Гэмалькота, Кымына, Кэнири! Кэнири, конечно, порядочный лодырь, но в окрисполкоме с этим не посчитались и, когда жена его родила вторую двойню, прислали один сруб сверх плана, специально для семьи Кэнири.

Какими невзрачными, маленькими кажутся яранги в сравнении с домами! Вон у Атыка такая яранга, какая в старину могла быть только у богача, у обладателя тысячного стада. Но рядом с бревенчатым домом Гэмалькота она выглядит как тот безымянный холм рядом с горой Рэунэй.

Да и сами яранги меняют свой облик. В одних вставлены окошки, другие покрыты не моржовыми шкурами, а толем. А такого жилища, как у Гэмауге, нигде, наверно, не видано: яранга, покрытая оцинкованным гофрированным железом!

Мэмыль вспоминает, как возникла эта необыкновенная постройка. Кровопийца-скупщик, когда увидел, что время его хозяйничанья кончилось, решил удрать в Америку, а перед отъездом поджег свою лавку. Пожар перекинулся на стоящую рядом ярангу костореза Гэмауге, служившего тогда у скупщика. Лавка сгорела только наполовину, многое удалось отстоять, железная крыша совсем не пострадала. А от жилища Гэмауге в несколько минут остались лишь обгорелые куски моржовых шкур. Вот охотники и постановили тогда, чтобы Гэмауге взял себе железную крышу для постройки новой яранги.

А на месте лавки скупщика построен теперь магазин. Там отпускает всякие товары румяная Кэргына. На ней белый халат — можно подумать, будто уже наступила зима и Кэргына собирается в тундру на охоту... Говорят, что Кэнири чуть не полдня проторчал сегодня в магазине и всем, кто туда заходил, рассказывал о вчерашней ошибке Мэмыля.

Незаметно для самого себя старик возвращается к мыслям об этом происшествии. И сразу всё становится на свои места, всё проясняется. Удивительное свойство у этой сопки!

Мэмыль вынимает из кисета злополучную коробку, вытряхивает оставшиеся спички; нашарив возле себя камушек, кладет его для тяжести в коробку и, заговорщицки

подмигнув кому-то, бросает ее вниз. Потом слушает, улыбаясь, как скатывается она по крутому склону сопки.

Начало смеркаться, и в поселке в двух-трех домах зажглось электричество. «Этот свет, — думает Мэмыль, — привезли нам русские. И ветродвигатель, и моторы для байдар, и дома — всё это дали нам русские люди. Много, много сделали они для Чукотки. Прогнали грабителей-скупщиков, научили жить без байдарных хозяев, без кулаков, помогли наладить колхозную жизнь. . . И еще один свет принесли они нам — свет грамоты. Мудрые книги подарили они нам. Не было грамоты на Чукотке, тысячи лет в темноте жили. Никогда бы не вырваться из этой темноты маленькому чукотскому народу. Но Ленин послал к нам ученых людей и сказал им: «Откройте чукчам дорогу к свету. Составьте для чукчей грамоту. Таковую, чтобы они могли писать и читать на своем родном языке. Другой дороги к свету нет». Так и сделали ученые русские люди. Изучили наш язык, составили для нас грамоту. По всей Чукотке построили они школы для наших детей. Они учат в Хабаровске Тэгрынэ и ее подруг. . .»

Уже по всему поселку зажглось электричество. На сопке становится прохладно. Но Мэмылю не хочется уходить, не хочется прерывать течение своих мыслей. «Большой свет грамоты пришел на Чукотку, — думает он. — И чукчи открыли глаза. Только один человек остался с закрытыми глазами. . . Смешно! Кругом уже давно светло, а он всё еще ходит, закрыв глаза. Тысячи лет они были закрыты, и вот он никак не может поднять свои тяжелые веки. Кто же этот странный человек? Это один глупый старик из колхоза «Утро». Как же его зовут? Его зовут старый Мэмыль».

* * *

Кэнири расстроен. Опять у него неприятности в бригаде. Тогда, после карикатуры в стенгазете, его «прорабатывали» на двух собраниях — на бригадном и на общем, вынесли ему общественное порицание. В следующем номере стенгазеты бригадир Кымын сообщил, что «факты, изложенные в заметке «Позор симулянту», полностью подтвердились» и что «охотник Кэнири обещал товарищам навсегда прекратить свое симулянтство и не позорить почетное звание колхозника».

С тех пор прошло три месяца. И уже дважды за это

время пришлось Кэнири снова выслушивать упреки товарищей. Один раз его ругали за то, что он сплеховал во время выезда на лежбище моржей, — из-за него будто бы несколько зверей успело ускользнуть от охотников. А теперь вот совсем неожиданная неприятность: в бригаде Кымына перерасход патронов. По экономии горючего вышли на первое место, моторист Икрын даже премию получил. А по экономии охотничьих припасов оказались в хвосте. И всё будто бы потому, что Кэнири не научился ценить колхозное добро, расходует для личных надобностей патроны, полученные в бригаде.

Действительно, он несколько раз выходил в тундру с ружьем, не думая о том, что не мешало бы предварительно приобрести для себя патроны. Ему это и в голову не приходило: разве патроны не одинаковы, разве на них написано, колхозные они или собственные? При прежнем завхозе никто бы этого даже и не заметил. Это уж Гэмалькот завел такие порядки, что надо расписываться в получении патронов, надо сдавать стреляные гильзы. . .

За что его, собственно, ругают? Много он себе зайцев настрелял, что ли? Больше по тундровым мышам бил — просто для тренировки. Без тренировки никогда не будешь хорошим стрелком. Охотники должны бы, кажется, понимать такие вещи. Но его всё-таки ругают, и очень крепко. Кымын даже заявляет, что поставит вопрос об исключении Кэнири из бригады. Пусть правление переводит Кэнири в другую бригаду. Кымыну надоело возиться с ним,

К тому же, придется возвращать стоимость недостающих патронов — это, пожалуй, еще неприятнее, чем ругань Кымына. Хотя как сказать! Ведь будут еще и на бригаде разбирать; там тоже не станут церемониться. Насчет исключения — это Кымын, наверно, зря пригрозил. Но и без этого придется послушать много неприятного.

Особенно обидно, что каждый раз вспоминают историю с проклятыми валунами. После выезда на лежбище, после того, как Кэнири уступил дорогу моржу, дал этому зверю со страшными бивнями прыгнуть в воду, вспоминали почему-то историю с постройкой ледника. Ну, ругали бы за малодушие, за нерешительность, но при чем тут та история? А охотник Онна говорил: «Слишком ты за себя трясешься, Кэнири, слишком себя бережешь, жалеешь. Тогда силы свои жалел. Теперь зверя испугался, отбежал. Тогда не хотел ледник для мяса строить. Теперь не хотел

мясо для ледника добывать. Одного зверя упустил — за ним еще два в море ушли. И больше ушло бы, если бы Кымын не перехватил. Почему Кымын не побоялся? Ты, Кэнири, сам немножко меньше себя береги, тогда другие тебя больше беречь будут».

А в этой истории с патронами, — зачем нужно было и тут приплетать старые дела, которые давно уже, казалось бы, можно забыть? Но Кымын заявляет: «Не хитри, Кэнири, не надо хитрить. За тренировку тебя никто не ругает. Купи себе патроны и тренируйся сколько угодно. А общественное добро переводить мы тебе не позволим. Ты это хорошо понимаешь, только прикидываешься, что не понимаешь. Опять хочешь с двумя головами жить: одно лицо для себя, другое — для людей. А люди твое настоящее лицо видят, никого ты не обманешь. Правильно тебя Мэмыль нарисовал!»

Так опять и опять всё возвращается к этому рисунку Мэмыля.

Кэнири кажется, что именно от Мэмыля идут все его беды. А вот когда с Мэмылем что-нибудь случается, так этого никто не хочет замечать. Взять хотя бы ту историю с подписью — о ней почему-то никто теперь и не вспоминает. Кэнири считает, что это очень несправедливо.

Он рассчитывал тогда, что Йорэлё расскажет о том, как оконфузился Мэмыль, школьникам; полярники — у себя на станции; Аймына — своему свекру Гэмалькоту, а тот — в правлении колхоза. «Весь поселок будет смеяться над Мэмылем!» — предвкушал Кэнири.

Но этого не случилось. Не то, чтобы происшествие осталось неизвестным, — нет, почти все о нем знали. Не то, чтобы людям не было смешно, — нет, они смеялись. Но смеялись над самим происшествием, а не над Мэмылем. Кэнири чувствовал эту существенную разницу и был поэтому разочарован.

Воображение рисовало перед Кэнири такие картины: Мэмыль идет по улице поселка, а мальчишки бегут за ним следом и дразнят его «Мымылем»; кличка эта так укрепляется за стариком, что в поселке его уже иначе и не называют. . . Но так же как раньше не прилепилась к Мэмылю кличка «Кривой палец», так теперь никто не стал называть его «Мымылем». Кэнири не понимал, что прозвище — даже такое, которое очень похоже на имя, никогда не прилипнет к человеку, ежели оно ему не впору.

Несколько раз, беседуя с кем-нибудь, Кэнири называл Мэмыля Мымылем. И всегда собеседник переспрашивал: «Как ты сказал? Какой Мымыль?»

— Разве ты не знаешь?! — восклицал Кэнири и с готовностью начинал рассказывать о том, как Мэмыль расписывался в библиотеке. Но почти всегда собеседник прерывал его с первых же слов:

— А, ты про это! Знаю, знаю.

Словом, Кэнири не встречал никакой поддержки. Можно было подумать, что старый Мэмыль их всех околдовал.

* * *

Только один раз за всё лето судьба улыбнулась бедняге Кэнири. Она пришла под видом председателя Вамче и постучала в окошко. Сначала она постучала легонько — Кэнири не обратил внимания. Тогда судьба постучала погромче.

Теперь Кэнири, лежавший под самым окном на меховом одеяле и читавший «Миргород», обратил внимание на стук. Но открывать он всё-таки не пошел. Во-первых, ему не хотелось вставать; уже темнело, читать становилось всё труднее, надо было бы включить свет — и то Кэнири предпочитал не подниматься. Во-вторых, ему было интересно узнать, чем закончатся старания миргородцев помирить Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. А в-третьих, он никого не ждал, во всяком случае — никого, чье посещение было бы для него приятным. У Тэюнэ свой ключ, она стучать не стала бы. Скорее всего, это бригадир Кымын. Наверно, ругаться пришел. «Почему, спросит, опять на работе не был?» Лучше не открывать, пусть думает, что никого дома нет.

Поэтому Кэнири только придвинулся поближе к стене, чтобы его нельзя было увидеть с улицы, и попытался продолжать чтение. Тогда судьба постучала в третий раз — еще громче и настойчивее.

Кэнири чуть-чуть приподнял голову и с удивлением обнаружил, что к нему пришел не бригадир, а сам председатель. Удивление подняло Кэнири на ноги, любопытство подвело к дверям, а польщенное самолюбие помогло широко открыть их. Нет, он не сомневался в том, что Вамче будет ругать его, и всё же он был польщен таким посещением: одно дело, когда ругают в бригаде, в правлении или

даже на общем собрании, но совсем другое дело, когда сам председатель приходит для этого к тебе домой.

— Здравствуй,— сказал Вамче.— Ну и духота у тебя! Ты бы хоть окно открыл.

— Знобит меня что-то,— на всякий случай соврал Кэнири.— А на дворе прохладно уже. Кончается лето.

— Тэюнэ на работе?

— На работе еще,— ответил Кэнири и решил, что сейчас Вамче поставит ему в пример Тэюнэ, скажет, что стыдно охотнику прятаться за спиной жены, жить ее трудоднями...

Но Вамче только спросил:

— А дети где? В яслях?

— В яслях,— ответил Кэнири и уже почти услышал голос Вамче: «Ну так вот, Кэнири, последний раз они в яслях. Сегодня же скажу Вээн, чтобы не принимала она твоих детей. Колхозные ясли для тех детей, у которых родители в колхозе работают. А если ты в бригаду не ходишь, дома сидишь, так можешь сам своих детей нянчить».

Но председатель не сказал всего этого. Он опустился на шкуру и взял в руки раскрытую книгу.

«Надо было убрать»,— подумал Кэнири, хотя Вамче с улыбкой разглядывал одну из иллюстраций.

— Я зашел поговорить насчет твоей яранги,— сказал Вамче, откладывая книгу.

— Насчет яранги?

— Да.

— Насчет какой яранги?

Кэнири думал, что председатель просто ошибся, оговорился: хотел сказать «насчет дома», а по привычке сказал «насчет яранги». Но тот спокойно ответил:

— Одна она у тебя. Или, может быть, не одна?

— Одна.

— Вот про нее и разговор. Будешь ты ее разбирать?

— А кому она там помешала?

Только теперь Кэнири вспомнил о своей яранге. Он не только не заходил в нее ни разу, но даже и не вспоминал с того самого дня, как переселился в дом.

— Да я вовсе не к тому,— сказал Вамче.— Никому она не мешает. Просто остальные хозяева — все, которые в дома переселились,— разобрали свои яранги. Вот я и спрашиваю,— какие у тебя планы?

У Кэнири никаких планов не было. Ни относительно яранги, ни относительно чего-либо другого. Он задумался. Не о том, что делать со старой ярангой, а о том, как лучше ответить председателю. Но для того, чтобы придумать хороший ответ, нужно было прежде всего понять, чего, собственно, хочет председатель, что у него на уме. Догадаться об этом Кэнири не смог, а потому спросил:

— Думаешь, мне делать нечего? Некогда мне со всяким старьем разбираться. Там, наверно, половина шкур никуда не годится — насквозь прогнили.

На этот раз Вамче едва удержался — очень уж хотелось ему отругать как следует разгильдяя и за гнилые шкуры и за нахальство. Уж кто-кто, а Кэнири лучше бы не ссыался на свою занятость! Выходит, что бригадир Кымын, и Гэмалькот, и Кэлевги, давно уже разобравшие свои яранги, бездельники по сравнению с Кэнири? Вот бесстыдная личность!.. Но Вамче во-время вспомнил, что пришел с твердым решением не ругаться.

— Ты меня неправильно понял, Кэнири. Я не уговариваю тебя разбирать ярангу, совсем нет. Наоборот, если ты не собираешься использовать ее, так она для колхозных нужд пригодится. Насчет этого я и пришел к тебе.

— Для каких же это нужд?

— Задумали мы собачник организовать. Сам знаешь, на плохих собаках далеко не уедешь. Собакам забота нужна, не во всякую погоду будешь их оставлять на дворе. Если сильный мороз или пурга большая, хороший хозяин пустит своих собак в сенки. Так? А где колхозные упряжки держать? Пусть мерзнут? Особенно с молодняком плохо, со щенками. Весенний-то приплод уже сильный, перезимует, а осенний не успеет до морозов силу набрать. Обязательно нужен собачник! Правильно?

— Правильно, — сказал Кэнири, обрадованный таким оборотом дела. Хорошо уж и то, что председатель ни в чем не упрекает. И не только не упрекает, но даже вроде бы советует — как с настоящим охотником, человеком хозяйственным, рассудительным. К тому же вырисовывается возможность избавиться от ненужного старья — избавиться без всяких хлопот, а возможно, что и с некоторой выгодой. . .

— Вот мы и подумали, — продолжал Вамче, — может быть, Кэнири уступит свою старую ярангу? Такой, значит,

у меня к тебе вопрос от имени правления колхоза. Всё равно стоит она у тебя пустая, заброшенная. А если ты, может, собираешься жерди на топливо пустить, на дрова, так правление отпустит тебе соответственное количество сухого плавника. Согласен?

— Конечно, согласен! Я, Вамче, для колхоза ничего не пожалею. Собачник — это вы правильно придумали, очень правильно. А что касается шкур...

— Шкуры мы сменим, которые не годятся.

— Да там и менять почти не придется!.. Ну, может быть, три или четыре шкуры — не больше. Остальные должны быть в полном порядке, я за ними следил, менял, когда надо было. Я ведь не знал, что так быстро дом получу, думал, что в яранге еще зимовать придется...

— Ну, значит, договорились.

— Договорились, Вамче, договорились. Со мной всегда можно договориться. Особенно — если речь идет об общественном деле. Я знаю, бригадир тебе наговаривает на меня...

— Кымын — человек справедливый, он ни на кого наговаривать не станет.

— Вообще-то он, может, справедливый, а про меня наговаривает, я знаю. И он, и Мэмыль. Ты им, конечно, веришь. Как же ты можешь не верить? Они люди авторитетные, помощники твои. А я — рядовой охотник.

— Для меня, Кэнири, все колхозники равны. Хоть ты, хоть Мэмыль.

— Равны, да не совсем.

— Нет, совсем. Конечно, передовикам — особый почет, а лодырям один позор остается. Но в этом вопросе я не по разговорам сужу, а по фактам. По фактическим делам. И если человек вчера отставал, а сегодня вперед вышел, — сегодня же почет ему и уважение. Так?

— Так. У тебя это так, Вамче. А у других не так. Ну, скажи сам: хорошо это, что меня до сих пор за ту историю ругают? Ну, ты знаешь, за какую. Это когда ледник строили. Ошибся я тогда, неправильно поступил. Я сам признаю, что неправильно. А Кымын до сих пор не может этого забыть. Сколько б я теперь ни старался, — он всё равно придирается ко мне будет. Разве при таком отношении будет желание работать? Откуда оно возьмется при таком отношении?

Вамче хотел сказать, что особого желания работать никогда за Кэнири не замечал, но не сказал, сдержался. А Кэнири продолжал:

— Зато Мэмылю, например, всё с рук сходит. Хорошо он сделает или плохо, — всё равно скажут, что хорошо. Ему какую угодно ошибку простят. А почему мне до сих пор не прощают? Справедливо это, скажи?

— Что же ты сравниваешь? Во-первых, ошибка ошибка — рознь. Во-вторых, Мэмыль напрямки выступил, в стенгазете, а ты всякими разговорами занимаешься, стараешься настроить охотников против старика.

— Я не стараюсь настроить, я правду говорю. Разве я кому-нибудь неправду про него говорил? Только никто меня слушать не хочет.

Верный своему решению завершить переговоры о старой яранге самым дружественным образом, Вамче примирительно произнес:

— Видишь ли, Кэнири, у каждого есть свои недостатки. Есть они и у Мэмыля, и у Кымына. Наверно, имеются они и у нас с тобой. Ты вот жалуешься, что не слушают тебя охотники. Конечно, от разговора каждый может отмахнуться. Как говорится, в одно ухо вошло — в другое вышло. А если бы ты с деловой критикой выступил — хоть против Мэмыля, хоть против меня, или еще кого, — тут тебя все поддержали бы. Так?

В это время вернулась домой Тэюнэ, заходившая за ребятами в ясли. Вамче похвалил малышей, спросил и хозяйку насчет старой яранги. Тэюнэ сразу же согласилась: сухой плавник — это дело реальное, а жерди... Когда еще допросишься у Кэнири, чтобы он разобрал их, принес. Быстрее самой сделать, но у самой и работа, и дети.

Вамче позволил старшим мальчикам потрогать орден, привинченный к отвороту его пиджака, поинтересовался, не режутся ли еще зубы у младших мальчиков; сказал Тэюнэ, что теперь в помещении пошивочной бригады посветлее будет: Кэлевги получил указание провести туда еще три «точки»; спросил у Кэнири, верно ли, что есть такие шахматисты, которые могут на память играть, с завязанными глазами... И даже не высказал никакого недоверия, когда Кэнири заявил, что и сам смог бы так играть, если бы как следует потренироваться.

После этого несколько дней Кэнири чувствовал себя

настоящим героем. Он тщательно убрал весь мусор из своей старой яранги — гораздо тщательнее, чем делал это, когда жил в ней. Когда он убирал возле входа, мимо проходил Кымын. Они кивнули друг другу, причем Кымын ни слова не сказал по поводу того, что Кэнири опять не явился на работу. Не сказал просто потому, что ему надоели эти разговоры, он считал их совершенно бесполезными и уже не смотрел на Кэнири как на члена своей бригады. А тот совсем по-другому понял молчание бригадира. Никакие угрызения совести не терзали его. Напротив, он был весьма собою доволен, был горд своим участием в подготовке собачника. Наверное, Вамче уже рассказал бригадиру про щедрый подарок, который сделал колхозу Кэнири. «Даже такой человек, как бригадир, — думал Кэнири, — понимает, должно быть, что подготовка собачника к зиме — дело более важное, чем какая-то работа в бригаде. Чем они там занимаются сейчас? Обработкой моржовых шкур, что ли? Фу! Нет ничего противнее, чем эта возня с вонючими шкурами!»

Послеобедая, Кэнири пошел в правление и сообщил счетоводу Рочгыне (Вамче в правлении не было), что яранга готова. Он сообщил об этом без всякой торжественности, как о самом простом, обычном деле. Видимо, он говорил слишком уж скромно, потому что и Рочгына не придавал его словам особого значения, хотя мог бы, по мнению Кэнири, не ограничиться прозаическим предложением написать обещанный председателем плавник. Но Кэнири был так празднично настроен, что легко простил счетоводу эту маленькую бестактность, сказал, что плавником будет заниматься Тэюнэ, пошел домой и предался приятным размышлениям.

Будущий собачник колхоза «Утро» в его мечтах быстро превратился в исток большого дела, в начало перестройки всего собаководства на Чукотке. Почему, собственно, только на Чукотке? На всем Крайнем Севере! Сам Кэнири столь же быстро превратился в этих мечтах в инициатора такой перестройки. К вечеру в собачнике удалось вывести новую породу, получившую в честь колхоза название «эргыронская лайка». ¹ Но почему, собственно, «эргыронская»? «Кэнирийская» звучало бы, пожалуй, ничуть не хуже!

¹ «Утро» по-чукотски — «эргырон». (Прим. перев.)

С этими сладкими думами Кэнири уснул. А назавтра, проснувшись и едва дождавшись ухода Тэюнэ, он продолжал мечтать: ему удалось благодаря заботливому уходу, организованному в собачнике, полностью сохранить приплод. Разумеется, он получил за это хорошую премию, какую получают пастухи за сохранение молодняка в оленьем стаде. Примерно через часок выяснилось, что новая порода собак отличается исключительно густой и мягкой шерстью, так что заготовители «Союзпушины» за каждую собачью шкуру дают дороже, чем за две лисьих. Что теперь делать Унпэнэру и Ринтувги? Они, конечно, прекрасные охотники, но, целыми неделями рыская по тундре и возвращаясь с богатейшей добычей, они никак не могут угнаться за Кэнири, заработка которого растут всё выше и выше, хотя на охоту он ходит теперь только изредка, только для собственного удовольствия.

Почти весь следующий день Кэнири посвятил мечтам о соревнованиях собачьих упряжек. Нечего и говорить о том, что упряжки, выращенные в колхозном собачнике, оказались самыми сильными, самыми быстрыми и выносливыми. Дух захватывало, когда Кэнири мчался на них, вздымая вихри снега и опережая всех соперников! И совсем по-другому — не от морозного ветра, а от радостного волнения — захватывало дух, когда под общие рукоплескания победителю вручали ценный приз. Но Кэнири, вовремя справившись с волнением, произносил, принимая приз, какие-то подходящие к такому случаю слова — торжественные и в то же время остроумные, так что их повторяли потом даже в самых дальних стойбищах побережья.

Фантазии хватило дня на три или на четыре. На работу Кэнири в это время не ходил, чтобы ничем не нарушать приятное течение своих мыслей. Но постепенно суровая действительность вытеснила эти мечтания, одолела их. Они поблекли, потеряли силу.

Отрезвление началось после разговора, который затеяла, не выдержав, терпеливая Тэюнэ. К тому же Кэнири узнал, что собачник — не такое уж новое дело: в нескольких колхозах они уже имеются. Никто по этому поводу шума не поднимал, славы себе не требовал.

Но если даже допустить на минутку, что создание собачника привело бы к тем фантастическим результатам, о которых мечтал Кэнири, — какое отношение ко всему

этому имел бы он сам? Только то, что эта яранга принадлежала раньше ему? Да, только лишь это. . .

Всё стало на свои прежние места. А место Кэнири было одним из самых последних, хотя он был убежден, что заслуживает иного.

Может быть, самое огорчительное заключалось в том, что окончательно отрезвил его всё тот же старый Мэмыль. Именно он развеял остатки того приятного чувства, которое еще чуточку согревало душу Кэнири. Глядя прямо в глаза, он спросил:

— Что же это ты — совсем, говорят, забыл дорогу в свою бригаду? Или думаешь, что от колхозной работы можно старой ярангой откупиться? Нет, Кэнири, не откупишься, от работы ничем откупиться нельзя!

А стоявший рядом моторист Инрын сказал:

— Ты бы, Мэмыль, еще раз в газете его нарисовал! Тогда всё-таки помогло немного. Он всё-таки недели две тогда поработал как полагается, не отлынивал.

«Ну, хорошо, — думает Кэнири, — если люди не хотят забыть, как меня опозорил этот вредный старик, так я напомню людям, как он сам опозорился. Он меня в газете стукнул, и я его в газете стукну. Почешется тогда! Вамче правильно мне сказал, — от разговора каждый может отмахнуться. А заметка в газете — это уже не разговор, от нее не отмахнешься. Две недели номер в клубе висит, все прочтут. Все до единого — у нас, слава богу, кроме Мэмыля, неграмотных нет. Да еще и ответ придется старику держать, — в следующем номере обязательно должен быть ответ, такой у них порядок. Что он сможет ответить? Был такой факт? Был, все видели. И тетрадка в библиотеке сохранилась, Аймына ее в шкафу запирает, вместе с книгами. В той тетрадке подпись эта самая — «Мэмыль» — налицо! Вещественное доказательство! Нет, не отвертится старик, никуда не уйдет. Значит, «факты, изложенные в заметке, полностью подтвердились!» Позорные это факты? Можно в наше время цепляться за старое, срывать ликвидацию неграмотности? Нельзя! Вот, значит, и придется тогда старику признаваться в своем позоре».

И в один прекрасный день Кэнири принимается за составление заметки. Он так увлекается этим, что даже забывает на время о собственных неприятностях. И о том, что нужно работать, тоже забывает.

Кэнири не стал бы, конечно, корпеть над заметкой, если бы знал, какое решение принял Мэмыль на своей любимой сопке.

Всё свободное от колхозной работы время старик уделял теперь учению. «Я думала, что еду на каникулы, — говорила Тэгрынэ, — а попала на педагогическую практику!»

Она не могла нарадоваться успехам отца, — так быстро овладевал он грамотой. Когда пришло время возвращаться в Хабаровск, она передала своего ученика попечению Валентины Алексеевны — школьной учительницы.

— Теперь, — сказал Мэмыль, прощаясь с дочкой, — можешь писать мне про всё. Все сердечные тайны можешь сообщать: кроме меня, никто не узнает. Сам теперь буду твои письма читать, никого не буду просить. Только по-разборчивей пиши.

Главное, что мешало ему раньше, заключалось, видимо, в том, что он не понимал, для чего существуют буквы. Он хотел, чтобы его научили читать, хотел сразу проникнуть в смысл книги. А его пытались учить каким-то значкам, изображающим, как ему казалось, бессвязные, бессмысленные звуки. Азбука, вместо того чтобы стать дорогой к книгам, показалась ему тогда неприступной стеной, преграждающей эту светлую дорогу.

История с подписью многое помогла понять. «Вот что значит буква!» — кричал тогда Кэнири, захлебываясь от смеха. И Мэмыль увидел, что буква действительно кое-что значит. Измени одну букву, — изменится смысл целого слова!

И вот теперь неприступная стена рухнула, он переступил через ее развалины, как через малый бугорок.

Мэмыль готов был заниматься без конца. Он терпеливо поджидал дочь, как бы поздно ни гуляла она с Инрыном. Едва она переступала порог, — он выкладывал перед ней всё, что успел сделать за вечер. И они занимались до тех пор, пока у Тэгрынэ не начинали слипаться глаза. Тэгрынэ поражалась: ведь утром, задолго до того, как она проснется, отец уже уйдет в свою бригаду!

Кэнири трудился над заметкой четыре дня. Собственно, писал он ее три дня, — в четвертый день он пытался нари-

совать карикатуру на Мэмыля. Только убедившись в том, что из этой затеи у него ничего не выйдет, он решил ограничиться одной заметкой, без карикатуры.

«Позор нарушителю сплошной грамотности», — так озаглавил свое произведение Кэнири. А вступление выглядело так:

«Живет в нашем колхозе один человек. Все его, конечно, знают. Называется Мэмылем».

Дальше шло описание случая, происшедшего в библиотеке, причем утверждалось, что «все, которые это видели, закрылись руками от стыда и многие говорили, что до каких же пор мы будем терпеть такие нарушения?» Не то, чтобы Кэнири врал — нет, он просто считал, что так это было бы правильнее. Во всяком случае — для газеты. Рассказывая кому-нибудь об этом же случае, он не привирал ни слова. Но газета требовала, по его мнению, описания не столько точного, сколько торжественного.

«С этим пора покончить, — говорилось далее в заметке. — Это был бы позор даже для рядового колхозника, а тем более, что он член правления. Если он член правления, так это не означает, что все должны молчать».

Отдать заметку Гону Кэнири считал рискованным: Гон с Мэмылем заодно. Да и вообще Кэнири считал, что доверить свое произведение кому-либо из членов редколлегии — это не очень надежный путь. Лучше сдать ее официально, прямо на заседании. Тогда уж они ничего не смогут сделать. Захотят или не захотят, а всё равно должны будут поместить.

До ближайшего заседания редколлегии, как выяснил Кэнири у Ринтувги, оставалось еще два дня. Кэнири знал, что на полярной станции, у одного из сотрудников, есть маленькая пишущая машинка. Он сходил на станцию и попросил перепечатать его заметку. В перепечатанном виде она заняла удивительно мало места — то, что было написано на трех тетрадных страницах, не заполнило и половины печатной. Зато теперь заметка выглядит солидно.

* * *

В школе так тихо, что даже мягкие торбаза не заглушают шагов. Кэнири это кажется странным: у него о школе сохранилось воспоминание как о чем-то очень шумном. Впрочем, он не заходил в нее ни разу с тех пор, как окончил четвертый класс. Много времени прошло с тех пор.

Наверно, и тогда, когда он учился, по вечерам, после уроков, в школе было так же тихо, как теперь. Только он этого не знал.

Кэнири останавливается посреди коридора. Он забыл спросить у Ринтувги, в каком из классов будет заседать редколлегия. Наугад он толкает одну из дверей.

Прямо против двери стоит стеклянный шкаф. Полки его уставлены чучелами птиц. На Кэнири смотрит из-за стекла белоснежная чайка.

В классе темно, на шкаф падает свет из коридора. Кэнири входит заинтересованный: в его школьные годы здесь не было таких диковинок. Даже ничего похожего не было!

Рядом с чайкой стоит синевато-черный баклан. На других полках — кайры, гаги. На самом верху сидят птички пэкычын — морские кулики. Вид у них такой озорной, будто вот-вот вспорхнут, вылетят, сядут покачаться на гребень волны. Это их любимое занятие.

Кэнири рассматривает с большим интересом, ему никогда не приходилось видеть такие вещи. Вдруг он отшатывается: страшное отражение мерещится ему в стекле шкафа. Он осторожно оглядывается и видит, что ничего ему не померещилось: в темном углу класса действительно стоит человеческий скелет.

Не отводя от него глаз, Кэнири пятится к коридору и слышит голос учителя Эйнеса:

— Ты ко мне, Кэнири?

Только теперь вспоминает Кэнири цель своего прихода.

— Здравствуй, Эйнес. Да, к тебе. На редколлегию пришел, материал принес. . . А тут у вас, оказывается, интересные вещи есть.

— Да, имеется кое-что. Это кабинет биологии. Хозяйство Валентины Алексеевны. А редколлегия у нас рядом, в учительской. Пойдем.

Они заходят в соседнюю комнату, где за столом уже сидит Ринтувги. «Вот и хорошо, — думает Кэнири. — Пусть почитают, пока Гоном не пришел».

Он кладет на стул свою шляпу, достает из кармана сложенный вчетверо листок и подает Эйнесу. Учитель читает заметку вслух, Ринтувги слушает, и довольный Кэнири кивает головой в такт чтению, как будто подтверждает справедливость каждой фразы. Но едва учитель

успевает дочитать, в комнату входят Гоном, Мэмыль и русская девушка, которой Кэнири не знает.

— Ну вот и вся редколлегия в сборе, — говорит Эйнес. — Садитесь, товарищи. Знакомьтесь, Валентина Алексеевна, это охотник Кэнири, наш будущий корреспондент.

Кэнири здоровается, с досадой поглядывая на Мэмыля. Зачем сюда пришел этот старик? Именно сейчас, когда должны обсуждать заметку!

С другой стороны, мимо внимания Кэнири не прошло и то, что Эйнес представил его как «будущего корреспондента». Значит, Эйнесу заметка понравилась. Иначе и быть не могло, учитель — человек понимающий.

— Слушай, Ринтувги, — шепотом спрашивает Кэнири, — а зачем здесь посторонние?

— Какие такие посторонние? Нас теперь в редколлегии пятеро.

Но Кэнири не успевает осмыслить эту новость.

— Товарищ Гоном, — говорит Эйнес, уступая председателю место во главе стола, — тут вот заметку товарищ Кэнири принес. Может, с нее и начнем?

— Вы уже читали?

— Прочли только что.

— Ваше мнение?

— Не знаю, как товарищ Ринтувги считает, а я думаю так: просить Кэнири быть в дальнейшем нашим корреспондентом. Что же касается этой заметки, то она явно устарела.

Он протягивает заметку Мэмылю. Тот, по-стариковски далеко отставив руку с листком, громко, медленно читает: «Позор нарушителю сплошной грамотности».

Метнув на Кэнири лукавый взгляд, старик продолжает читать вслух, пока не дочитывает заметку до конца.

— Жаль, что устарела, — говорит он, и искорки смеха прыгают в его прищуренных глазах. — Правильная заметка. Жаль, хорошую можно было бы карикатуру нарисовать! А?

У Кэнири такой оторопелый вид, что и карикатуры рисовать не надо, достаточно только посмотреть на него, чтобы рассмеяться. Опять старый Мэмыль оказался прав! Как же это могло случиться?!

Кэнири совсем растерялся. Он опустил на стул и ошеломленно смотрит на Мэмыля.

— Встань, Кэнири, — говорит старик, — встань, ты сел на свою знаменитую шляпу. . .

Кэнири живо вскакивает и пытается расправить шляпу, у которой сейчас такой же жалкий вид, как и у ее хозяина.

Члены редколлегии дружно хохочут. Старый Мэмыль, дольше других старавшийся сохранить серьезность, тоже начинает смеяться. Можно подумать, что в учительской происходит не заседание, а демонстрация кинокомедии. Особенно заливаются Валентина Алексеевна и Ринтувги. Эйнес успел рассказать им, как Кэнири пятился от скелета в кабинете биологии. . .

* * *

Мне случалось слышать, как смеются южане. Хороший у них смех — раскатистый, легко воспламеняющийся, горящий веселым, ярким пламенем. Но сами они рассказывали мне, что в некоторых очень солнечных странах людям чаще приходится хмуриться, чем смеяться; чаще бывают в их жизни причины для слез, а не для веселья. Как было бы хорошо, если бы везде, под всеми широтами, люди могли почаще смеяться так заразительно, с таким легким сердцем, с каким смеются люди нашей советской страны! И даже самого крайнего ее севера!



ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Еще и часу, пожалуй, не прошло с тех пор, как начался шторм, а Унпэнэру кажется, что уже целую вечность продолжается эта страшная борьба. Нос моторной байдары едва успевает разрезать гребень волны, а на встречу уже поднимается другая — еще более высокая,

еще более темная и грозная, за нею третья, четвертая. Кажется, что нет им конца, нет и никогда не будет...

В байдаре, кроме бригадира, еще четверо: Ринтувги, Аре, Атчылын и Кэнири. За четыре жизни борется сейчас Унпэнэр, стараясь направить байдару наперерез волнам, чтобы не захлестнуло ее, не потопило. За четыре жизни, не говоря уже о своей собственной. А своя ведь тоже чего-нибудь стоит.

Утром погода была спокойная, ясная; только изредка налетал небольшой ветерок. А позавчера, когда отпра-влялись из дому, стоял полный штиль. На воде не то что волны, а даже самой легкой ряби не было.

Унпэнэра и Ринтувги вызывали в райцентр на совеща-ние молодых передовиков зверобойного промысла. Аре и Атчылын поехали с ними просто так, за компанию, а Кэнири — чтобы сделать кое-какие покупки в районном универмаге. И вот на обратном пути захватил их этот проклятый шторм.

Унпэнэр старается разрезать волну носом байдары, но море словно взбесилось: только что волна была спереди и вдруг ее не стало, а справа налетает другая. Того и гляди ударит в борт, захлестнет, опрокинет.

Ветер крепчает, волны становятся всё выше и выше. Легкая байдара между ними — словно беспомощная щепка. То поднимает ее волна высоко-высоко — так вы-соко, что дух захватывает, то бросает вниз, в пропасть между двумя валами, будто в раскрытую черную пасть. У Кэнири при каждом падении всё внутри словно пере-ворачивается и взлетает кверху. Он давно уже заметил это и решил тогда, что внутренности просто не успевают падать с такой же скоростью, с какой падаешь сам: они ведь гораздо легче костей; вот и получается, что ощу-щаешь желудок где-то в груди, чуть ли не у самого горла...

Но сейчас Кэнири не думает об этом, ему не до рас-суждений. При каждом падении байдары он судорожно хватается за борт и старается не глядеть вниз. И в то же время какая-то непонятная сила заставляет его смотреть туда, в самую глубину пропасти. Кэнири видит там бе-лую чайку. Она спокойно сидит между двумя огромными валами. Но вот — Кэнири даже не успевает понять, как это получилось, — байдара уже внизу, а чайку вынесло наверх, на самый гребень волны. Минуты не прошло —

байдара взлетела вверх, а чайка снова оказалась внизу.

Ринтувги тоже не может оторвать взгляда от птицы. Уж больно хороша она сейчас, среди бушующих волн! Никаких других красок — только темные волны да белая чайка. Какая могучая красота в этом спокойствии белой птицы среди темных беснующихся валов!

Унпэнэр не смотрит на чайку, он следит за направлением ветра, то и дело поглядывает на компас, прислушивается к голосу мотора. Никто, кроме Унпэнэра, не знает еще, как велика опасность, никому не известно, что горючее на исходе. Все они не раз попадали в шторм, бывали штормы и посердитей этого. Но сейчас бензина в баке осталось только минут на двадцать... Что делать потом? Справа — море, слева — скалистый берег, горы Эввыквыт. На много километров тянутся эти высокие скалы, эти крутые, почти отвесные стены. Пристать некуда.

Да, до ближайшего пологого спуска километров семь. Нет, побольше, километров восемь, пожалуй. Не дотянуть. Куда там! Против такой волны мотор и километра не протянет. Значит, надо решаться.

— Товарищи! — говорит Унпэнэр.

Но никто не слышит его. Даже Ринтувги, сидящий рядом, и то не услышал.

— Товарищи! — повторяет Унпэнэр, стараясь перекричать шум бури. Все поворачиваются к нему. Все сразу понимают, что бригадир встревожен не на шутку: слово «товарищи» звучит гораздо серьезнее, чем обычное «ребята».

— Горючее кончается. Только на несколько минут осталось. Сейчас поворачиваю к берегу, попытаюсь как-нибудь выбросить байдару на камни. Если не удастся... Словом, надо быть готовым ко всему. Вяжите весла. Приготовьте пыхпыхи.

Пыхпых — это нерпичья шкура, мешок из нерпичьей шкуры. Если надуть его воздухом да как следует завязать, — на таком поплавке не утонешь. На нем и сутки можно продержаться, и двое суток. Но всё-таки пыхпых — это уже последнее дело. Раз уж Унпэнэр вспомнил про пыхпыхи, — значит, надо поторапливаться.

Закипела работа в байдаре. Атчылын связывает весла, Ринтувги рубит мачту — тоже пригодится для плотика. Аре и Кэнири надувают пыхпыхи.

Теперь, за работой, Кэнири чувствует себя гораздо спокойнее, чем прежде. Он старается изо всех сил, сопит, его толстые щеки надуваются, глаза вот-вот, кажется, вылезут из орбит. Когда надо набрать в легкие новую порцию воздуха, он и руками и губами зажимает горловину кожаного мешка, а воздух набирает через нос. Он так поглощен этим занятием, что на время даже забывает об опасности.

А байдара уже приближается к скалистому берегу. Каждый прибрежный камень, каждый выступ скал кажется покрытым белой шапкой снега. Но это, конечно, не снег, — откуда же быть сейчас снегу? Это пена от разбивающихся о камни волн.

План у бригадира такой: неподалеку от берега, поравнявшись с Эввыквын-скалой, круто развернуться и через узкий проход ввести байдару в залив. Унпэнэр хорошо знает этот небольшой залив: там, за широкой спиной Эввыквын-скалы, поспокойней, чем в море. Только бы удалось провести туда байдару, — уж очень узок проход. Если удастся, тогда всё в порядке. Можно будет переждать шторм.

Так, крутой поворот. Всем уже понятен план Унпэнэра, все с надеждой и тревогой смотрят на узкие, чуть расширяющиеся кверху ворота залива.

— Надо высокую волну выждать, — кричит Ринтувги, наклонясь к самому уху Унпэнэра. — Внизу не пройдем, надо на волне!

Унпэнэр кивает головой. Да, конечно... Но в это время умолкает мотор.

— Заглох? — с ужасом спрашивает Кэнири, крепко прижимая к себе пыхпых. Хорошо, что на плече его плотно лежит рука Аре, не то Кэнири, наверно, выпрыгнул бы сейчас за борт.

Теперь уж не приходится выбирать, какая волна достаточно высока, а какая недостаточно. Первая же из них подхватывает байдару и стремительно несет ее вперед. Удар! Так и есть, волна всадила байдару в ворота залива, заклинила ее между двумя каменными стенами — между берегом и Эввыквын-скалой. Затрещал каркас байдары, кожаная обшивка лопнула.

Волна обрушилась, а байдара осталась высоко над водой. Не успели опомниться, как ударила следующая волна. Окатила с ног до головы, чуть не до половины

наполнила искалеченное суденышко и сразу же вытекла в огромную дыру, образовавшуюся в обшивке.

Долго здесь не просидишь. Еще десяток-другой таких ударов, и от байдары ничего не останется. Либо сломается каркас, и она рухнет вниз, либо вышибет ее в залив. И в том и в другом случае она теперь сразу же затонет.

Вверху, метрах в пяти, гранитная стена берега резко отступала назад, образуя небольшую площадку. Эта площадка казалась теперь счастливейшим местом на земле. Но как добраться туда? Как преодолеть пять метров почти отвесного, отшлифованного волнами гранитного склона?

Схватив кожаную бечеву, Унпэнэр быстро мастерит аркан и, прицелившись, бросает его на один из выступов, виднеющихся над площадкой. Петля касается камня, но, не обхватив его, соскальзывает вниз. Не удается и вторая попытка. Унпэнэр передает аркан Ринтувги.

— Попробуй-ка ты.

Снова летит кверху петля, и на этот раз она обхватывает выступ, повисает на нем. Ринтувги осторожно натягивает кожаную бечеву, петля становится всё меньше, затягивается. Ринтувги сам повисает на бечеве всей тяжестью своего могучего тела. Это не только испытание аркана — это прежде всего испытание прочности каменного выступа: кто его знает, может, это и не выступ вовсе, а просто камень, лежащий на площадке... Нет, он остается неподвижным.

— Порядок! — радостно говорит Ринтувги, снова став на ноги. — Держит!

— Полезай! — отвечает Унпэнэр.

Держась за ремень, подтягиваясь, Ринтувги поднимается по гранитной стене. Он почти уже в безопасности. Каждый инстинктивно придвигается поближе. Чья теперь очередь?

— Сначала мотор, — говорит Унпэнэр.

Очередная волна окатывает их в это время, никто не слышит его слов. Но Аре и Атчылын и без слов понимают бригадира. К тому времени, когда Ринтувги достигает площадки, мотор уже снят с байдары и привязан к ремню. Ринтувги тащит его наверх.

Унпэнэр стоит на корме и внимательно следит за подъемом мотора, раскачивающегося в воздухе и время

от времени ударяющегося о гранитную стену. Ринтувги торопится, удары становятся всё чаще, одна из лопастей винта отламывается, и, падая, обломок оставляет тоненькую черту пореза на щеке Унпэнэра.

Кэнири сокрушенно покачивает головой, увидев кровь, выступившую из ранки.

— Ерунда, — говорит Унпэнэр. — Винт сменить не долго. Был бы только мотор цел.

Боли он еще не чувствует.

Ринтувги втаскивает на площадку мотор, быстро отвязывает его и бросает вниз конец бечевы. Новая волна окатывает байдару, снова угрожающе трещит каркас. Лишь на секунду зажмурился Унпэнэр, вытирая лицо рукавом, а когда открыл глаза, увидел, что Кэнири с удивительным проворством привязывает бечеву к своему поясу.

Что ж, может, это справедливо. Может быть, так и надо. У него всё-таки дети... Но Ринтувги сверху кричит:

— Нет, нет, отвязывайся! Мне одному тебя не вытащить! Отвязывайся, Кэнири, отвязывайся! Живей!

Как ни жаль бедягу Кэнири, но Ринтувги совершенно прав. Подтянуться на руках Кэнири не сумеет, а вытащить такую тушу — это даже для Ринтувги непосильно.

— Правильно, — говорит Унпэнэр. — Пусть вторым поднимается Атчылын. Он полегче тебя. А вдвоем они мигом тебя поднимут.

Унпэнэр даже улыбнулся и ободряюще подмигнул. Чувство обиды странным образом переплетается у Кэнири с чувством благодарности — за эту улыбку, за то, что никто не обозвал его паникером, за то, что следующая очередь фактически уже обещана ему... Он хочет как можно скорее развязать узел, но пальцы плохо слушают его, и узел развязывается гораздо дольше, чем завязывался.

С невольным вздохом Кэнири передает Атчылыну конец кожаной бечевы. Даже на одну минуту трудно ему расстаться с этим тонким — не шире пальца — лахтакым ремнем, который кажется сейчас единственной нитью, соединяющей с жизнью.

Не обвязываясь — только ухватившись руками за бечеву, Атчылын в несколько секунд взлетает вверх, к Ринтувги. Затем они поднимают на площадку Кэнири, и на гранитной стене, забрызганной морской пеной,



остается четкий след тела, которое протащили по ней. Аре пытается взобраться, как Атчылын. Он сам не знает, что руководит им — удаль, привычка ни в чем не отставать от своего приятеля или желание поскорее освободить бечеву для Унпэнэра. Но, поскользнувшись на одном из выступов, больно ударив колено и чуть не сорвавшись, он сразу затихает, становится осторожнее...

Унпэнэр оставляет байдару последним.

* * *

Здесь, на площадке, к молодым охотникам быстро возвратилось их обычное, веселое настроение. Приятно почувствовать под ногами твердую почву! А уж тут она так тверда! Даже слишком, пожалуй. Если бы чуть помягче была, тоже никто не стал бы возражать.

Все пятеро сидят почти в одинаковых позах: положив руки на колени, подтянутые до самой груди, уткнувшись подбородками в руки. Так, вроде бы, потеплее. Да и не настолько просторна площадка, чтобы рассестись как-нибудь посвободней.

Никому не хочется думать о том, что будет дальше. Хочется хоть немного отдохнуть, насладиться тем, что самое страшное уже как будто позади, что можно посидеть, ничего не делая, перебрасываясь немудрыми шутками.

— Кэнири, — спрашивает Аре, — ты был на Полярной станции, когда туда привезли корову?

— Нет.

— А я думал, что был. Ее, понимаешь, выгружали с парохода подъемным краном, очень смешно было, когда она висела в воздухе... Представляете себе? Когда Ринтувги и Атчылын тащили Кэнири, он был очень похож на эту корову. Я даже думал, что он нарочно.

Молодые охотники смеются. Кэнири пытается отыграться.

— Лучше корова, которая с самого начала спокойно висит, чем корова, которая прыгает без толку. Ты вон прыгал, а потом хуже коровы повис. Мы даже хотели тебя обратно спускать — думали, что ты что-нибудь в байдаре забыл.

Унпэнэр тоже улыбается, но улыбка у него не такая веселая, как всегда. Он привычным жестом откидывает назад черные прямые волосы, но и жест этот — усталый,

неточный, — волосы почти сразу же снова падают на лоб. Если бы кто-нибудь из охотников внимательно взгляделся сейчас в его лицо, то увидел бы, что знаменитый бригадир молодежной бригады сильно изменился за несколько часов. Постарше стал, что ли.

Ринтувги смотрит на приятеля, но смотрит рассеянно и замечает только кровь, размазанную по щеке.

— Здорово тебя царапнуло, — говорит Ринтувги. — Кэнири, цело у тебя зеркальце?

Унпэнэр берет зеркальце. Оно вделано в кожаную обложку записной книжки, Кэнири всегда носит его с собой. Унпэнэр долго рассматривает царапину, даже слишком, пожалуй, долго. Но в том-то и дело, что он вовсе не думает о ней, он думает о своей неудаче, о потере байдари. Что он скажет теперь отцу, старому Гэмалькоту? Что он скажет правлению колхоза? Нет, это не только потеря байдари, это потеря доброй славы!

С бригады, наверно, снимут. Два раза уже предупреждали на правлении, в последний раз председатель Вамче так и сказал: «Еще одна такая выходка, и придется нам отобрать у тебя бригаду. И на славу твою не посмотрим». Это было всего лишь месяц назад — после того, как молодежная бригада целые сутки штормовала в открытом море: увлеклись охотой, понадеялись на то, что ветер скоро уляжется, а попали в такую переделку, что еле выбрались. Но тогда ведь выбрались благополучно! И всё-таки, когда вернулись, Гэмалькот, встречавший сына на берегу, сказал: «Ну готовься, Унпэнэр. Сегодня же на правление тебя вызываем. Возьмут тебя старики в переделку — покрепче, чем в море была». Так и вышло.

Отец уже тогда предлагал снять Унпэнэра с бригады. Но тогда Унпэнэр мог защищаться. «Что, — говорил он, — хоть одно весло у меня сломалось? Нет! Хоть один гарпун потерялся? Нет! Все охотники — целые, вся материальная часть — целая!» Он даже не упоминал о том, что, кроме всего прочего, добыча у молодежной бригады богаче, чем у всех остальных. Это и так все знали. И поэтому, как бы ни ругали его старики, но в конце концов прощали. Да, прощали до поры до времени.

— Был бы с нами Вуквукай, — говорит Унпэнэр, возвращая зеркальце Кэнири, — так ничего бы этого не случилось.

— Почему это? — спрашивает Атчылын. — Что мы, с Вуквукаем никогда в шторм не попадали?

— Попадали. В шторм всякий может попасть. А только у Вуквука — такое правило: пока доверху бачки не зальешь, никогда с места не трогайся!

— Это верно, — соглашается с бригадиром Ринтувги. — Что верно, то верно.

Он даже не подозревает, что, соглашаясь, ранит своего друга в самое сердце. Теперь всё ясно. Значит, даже Ринтувги считает, что виноват бригадир. Если бы моторист Вуквукай поехал с ними в райцентр, всё, наверно, обошлось бы благополучно. А бригадир не взял моториста, понадеялся на себя, не позаботился даже о том, чтобы горючее захватить с запасом. По хорошей погоде хватило бы, конечно, и того, что было в бачке... Да только никогда нельзя забывать, что погода может измениться.

Унпэнэр старается направить свои мысли на другое: надо решить, что дальше делать. Но мысли упорно возвращаются к прошлому, к тому, что говорили ему старики. «Ты думаешь, — говорили они, — что море тебя постепенно учить будет: сначала весло сломает, потом гарпун отнимет... Тогда, дескать, ты поумней станешь? Нет, Унпэнэр, море не так учит. Не так, как в школе, нет. Оно тебя балует, а ты, гляди, не разбалуйся. Разбалуешься, — оно тебя не жалея ударит. Сразу байдару отнимет, а то так и самого заглотнет. Ты не веслом рискуешь, ты жизнью рискуешь. А ведь женатый уже! Аймына рожать собирается, а ты — как мальчишка...»

Тогда Унпэнэру казалось, что они немного завидуют удачам его бригады, тому, что море «балует» его. В их словах, казалось ему, проскальзывала такая мысль: «Если бы мы рисковали так же, как Унпэнэр, так и у нас добыча была бы не менее богатой».

Но вот случилось именно так, как ему говорили. В море, конечно, всякое может случиться, самого опытного моряка может захватить непогода... Но всё-таки это произошло именно с ним, а не с кем-нибудь другим. Нет, старых зверобоев не обманешь, они сами прекрасно знают, в чем виновато море, а в чем виноват моряк... И надо же, чтобы это случилось даже не во время охоты! Во время самой обыкновенной поездки, из которой — было бы горючее — вернулись бы, не замочив торбаза!

А шторм всё шумит и шумит. С грохотом разбиваются волны о каменную стену берега. Даже сюда, на площадку, долетают иногда холодные соленые брызги. Чуть подавшись вперед, Унпэнэр заглядывает вниз. Байдары уже нет, узкий проход между берегом и Эввыквын-скалой свободен. . .

— О чем, бригадир, задумался? — спрашивает Аре. — Домой захотел? Про Аймыну вспомнил?

— Захотел или не захотел, а добираться надо.

— Добираться?

Интересно, как это бригадир думает добираться? Уж не по этой ли каменной стене? — Аре смотрит направо, потом налево. Остальные охотники тоже осматриваются. Площадка, на которой они сидят, и справа и слева не сразу сходит на нет. Она продолжается узеньким карнизом, очень удобным, наверно, для птиц, но совсем неудобным для человека.

— Нет, — убежденно говорит Кэнири, — тут не пройти.

Кажется, он даже доволен, что тропка так узка: будь она хоть немножко, хоть сантиметров на десять пошире, уж тогда Унпэнэр обязательно повел бы по ней бригаду. А разве это тропка? По ней и звери-то никогда не ходили, не то что люди. . .

— Не пройти? — переспрашивает Унпэнэр. — Посмотрим. Сюда взобраться тоже не легко было.

— Сравнил! Если б мы сюда не взобрались, так и в живых бы уже не были теперь. Сюда нас шторм гнал. А отсюда никто не гонит. И всё равно выхода отсюда нет.

— Посмотрим, — повторяет Унпэнэр. — Если выхода нет, — значит, придется тут сидеть, дожидаться, пока снимут.

Кэнири считает, что вопрос таким образом решен в самом благоприятном направлении. Но Унпэнэр продолжает:

— Только хорошего в этом, ребята, мало. Еда у нас есть? Ни кусочка. Воды — ни капельки. Скоро ли нас найдут? Могут и несколько дней проискать. Долго тут не просидишь, завтра или послезавтра сам захочешь тропку испробовать. А силы уже не будет. Закружится у тебя с голодухи голова, и совершишь ты, дорогой товарищ Кэнири, рекордный прыжок.

— Я-то не совершу, — злится Кэнири. — Никуда я

отсюда не тронусь, — мне и здесь хорошо. Думаешь, если у тебя жена родила, так все должны с ума посходить? Торопись, если тебе так надо, а мы не торопимся. Нам не к спеху.

Унпэнэр не отвечает. Две большие родинки, примостившиеся у него над самым переносьем, медленно приближаются друг к другу — так сурово сходятся брови бригадира. Кажется, что вот-вот эти родинки сольются в одну. А в таких случаях шутки в молодежной бригаде смолкают. Только один Кэнири, совсем недавно попавший в бригаду Унпэнэра, еще не знает, что приближение этих родинок друг к другу предвещает обычно нешуточную бурю... На этот раз бури, видимо, не будет: Унпэнэр так огорчен гибелью байдары, так озабочен, что даже наскоки Кэнири не могут вывести его из мрачного раздумья.

Кэнири ждет ответа минуту, другую. В первую минуту он еще злится, к концу второй он испытывает уже некоторую неловкость. Ему хочется как-то смягчить резкие свои слова. Он говорит, улыбаясь:

— Моя Тэюнэ уже два раза рожала, я к этому делу привык.

Почти всегда эта тема вызывает множество шуток: у Кэнири и Тэюнэ две пары двойняшек, — как не посмеяться по поводу такой редкостной удачи? Но сейчас Унпэнэр пропускает мимо ушей шутку Кэнири, точно так же, как только что пропустил мимо ушей его грубости. Унпэнэр еще бригадир пока что! Может быть, недолго ему оставаться бригадиром, но пока что это так. И никто не посмеет упрекнуть его в том, что он способен рисковать жизнью товарищей только из желания поскорее повидать новорожденного сына. Да, Унпэнэр, конечно, бывал неосторожен. Иногда — из желания во что бы то ни стало добиться первого места по добыче морского зверя, иногда — из охотничьего азарта. Бывало — из желания испытать силы, поиграть с опасностью. Бывало, если уж говорить начистоту, — из простого молодечества, чтобы удаль показать; из-за беспечности, наконец. Но никогда не примешивалось к этому ничто постороннее, никакие личные, семейные дела, никакие задние мысли! Нет уж. За такие слова стояло бы, пожалуй, дать как следует по уху. Но драться Унпэнэр, конечно, не станет. Значит, лучше всего не обращать внимания, промолчать. Молча-

ние действует иногда гораздо убедительнее, чем самые громкие слова. И даже убедительнее, чем хорошая оплеуха.

— Вот что, — говорит Унпэнэр через несколько минут. — Ты, Атчылын, сходи-ка направо, разведай, что это за тропка. А ты, Аре, с другой стороны посмотри. Колено не болит?

— Давай я схожу, — предлагает Ринтувги.

— Нет, нет, — говорит Аре поднимаясь и потирая ушибленное колено. — Давно прошло, не болит.

— Далеко не ходите, только до поворота. Пусть каждый свою тропку разведает, есть ли дальше дорога. Если тропка ненадежная, не рискуйте. Сразу тогда обратно.

— Хорошо.

Они уходят; один — направо, другой — налево. Кэнири никак не может понять этого: только что ему казалось, что ребята скорее согласны с ним, чем с бригадиром. И вдруг оказалось совсем не так...

Аре огибает небольшой выступ и почти сразу же скрывается из глаз. Атчылына видно долго. Вначале тропка идет почти горизонтально, но потом начинается спуск. Вот Атчылын скрылся до пояса, вот уже только голова его видна... Но затем он поворачивается и возвращается на площадку.

— Нет, ребята, там, действительно, не пройти. Тропка там узкая, крутая. А главное — никуда она не ведет: под воду уходит, в море.

Атчылын опускается на то же место, на котором сидел раньше, снова скрещивает руки на согнутых у самой груди коленях.

— Чайка, — говорит Ринтувги.

Да, на темных волнах попрежнему качается белая чайка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Та это или другая? Наверно, другая, — та была далеко от берега.

— Ну так, ребята! — начинает Аре, едва показавшись из-за выступа. — Картина такая: тропка всё время вверх идет и даже вроде бы расширяется немного; пройти можно. А только ведет она к водопаду. Метров триста отсюда. Упирается прямо в водопад. И конец. И другого пути тоже никакого нет: что вниз, что вверх — гладкие стены метров по двадцать.

— До водопада не доходил? — спрашивает Унпэнэр, почему-то явно довольный словами Аре.

— Нет, не доходил. Там — ходи не ходи — ясно видно: прямо в воду упрешься. А с этой стороны?

— Тут и тропки-то почти нету, — отвечает Атчылын. — Почти что на нет сходит. И дорога по ней — вниз, к морю, больше никуда.

«Значит, с обеих сторон вода», — хочет сказать Кэнири, но успевает удержать эти слова на самом кончике языка. Зачем говорить то, что и без него уже всем ясно? Зачем снова обнаруживать свое желание сидеть на месте и ждать, пока придет помощь? Зачем показывать, что обрадован? Наоборот, теперь он мог бы без всякого риска заявить о своей готовности к любому походу: идти-то всё равно некуда! Но почему же Унпэнэр так решительно поднимается?

— Правильно, ребята, — говорит Унпэнэр. — Я так и думал. Водопад — это как раз то, что нам требуется.

Охотники с недоумением смотрят на бригадира. Судя по выражениям их лиц, никто из них не испытывает особой потребности в водопаде.

— Я в горах Эввыквыт часто бывал, — продолжает Унпэнэр: — у матери родичи тут жили. Отсюда километров десять... Ну, может быть, двенадцать, не больше. Один раз мы с матерью целое лето у них гостили, — так я тогда все эти горы облазил.

— Ну? — торопит Аре.

— Ну так вот. Мы тогда с моим двоюродным братом за гагачьими яйцами сюда лазили. Их тут гнездились — этих гаг — миллионы, наверно!

— А водопад?

— И до самого водопада добирались. Только с той стороны. Понимаете?

— А, может, это совсем и не тот? Может, это другой какой-нибудь?

— Нет, здесь только один и есть. Его и с моря видно. А тропка эта поперек него идет: с одной стороны входит, с другой выходит.

Теперь уже всем ясен дерзкий замысел бригадира. Кэнири ошалело поглядывает на товарищей. Аре, зябко передернув плечами, говорит:

— Нет, Унпэнэр, там не пройдешь. Там так бьет! С двадцати метров вода падает, — представляешь себе? Нет, там только ступишь — сразу собьет! Смоет. как щепочку.

— Это тебе издали так показалось. Вот увидишь. Там вода ведь не сразу вниз рушится, она дугой падает. Понимаете, ребята? Пройдем по тропке — и не замокнем! Будто под крышей, только под водяной. Ну, конечно, замокнем... Брызги всё-таки... Так ведь и теперь не сухие. Я там один раз спрятался от брата, несколько минут просидел под водопадом. Мокро, конечно, брызги, а терпеть можно. Как под дождиком. Брат уже думал, что я в море свалился, — ему и в голову не пришло, что я под водопадом сижу...

Унпэнэр прерывает свой торопливый рассказ, сгоняет с лица улыбку, вызванную воспоминаниями, и спрашивает:

— Ну что ж, ребята, согласны идти? Здесь сидеть — никакого смысла. Ничего мы тут не высидим, всё равно придется идти.

— Пошли, — спокойно говорит Ринтувги, словно речь идет о чем-то уже давно решенном, да и вообще о чем-то совсем простом, не требующем особых размышлений.

— Пошли на прорыв! — радостно восклицает Атчылын. Чем опаснее предстоящее дело, тем веселей он становится, такой уж у него характер. Даже Унпэнэр по сравнению с ним — образец осторожности.

— Что ж, идти так идти, — произносит Кэнири, медленно поднимаясь. Он уже понимает, что если останется, то останется один. А это, пожалуй, еще страшнее, чем попытка пробраться через горы. Нет, уж лучше не отставать от товарищей. Кэнири даже постарался опередить Аре, чтобы не самым последним заявить о своей готовности.

— Ой боюсь! Боюсь! — кричит Аре, скорчив испуганную мину. Но все знают, что он на самом деле нисколько не боится. И даже Кэнири, глядя на Аре, чувствует, что бояться — какая бы ни грозила тебе опасность — смешно, в сущности. Просто-напросто смешно.

* * *

Может быть, дорогой мой читатель, тебе никогда не приходилось бывать в горах Эввыквыт? Может быть, ты ни разу даже не проезжал мимо них морем? Тогда представь себе огромный гранитный склон, почти отвесно возвышающийся над водой. В нескольких местах эту темносерую громаду пересекают еще более темные

полоски — прослойки камня в камне. Параллельно этим полоскам, всё время чуточку забирая вверх, идет тропка, вернее, та узенькая естественная терраска, которую без особых оснований называет тропкой Унпэнэр. Многие миллионы ветров мастерили эту терраску в течение многих тысячелетий. И всё-таки неважно смастерили, кое-как. Того и гляди оступишься, сорвешься, камнем вниз полетишь. Впрочем, до Унпэнэра и его товарищей ни один человек никогда еще не ступал на эту тропку, — по крайней мере на ту ее часть, которая расположена за водопадом. А птицы — те ступали бесчисленное множество раз, и еще ни одна из них не сорвалась. Может, именно для них и мастерили эту терраску ветры?

Вот и сейчас несколько чаек сидят здесь. При приближении Унпэнэра они взлетают, кружатся немного и садятся повыше. Значит, и там гранитная стена не совсем всё-таки гладкая; и там, наверно, есть такие же терраски, выступы, площадки, почти не приметные с моря. И светлосерые, почти белые, пятна, виднеющиеся кое-где на склоне, — это не светлый камень, вросший в гранит, а тоже, наверно, птицы. Да, если взглядишься, увидишь, что это так и есть.

Прямо перед склоном высится Эввыквын-скала, похожая на великана-рыбака, по пояс зашедшего в воду. А в нескольких сотнях метров от скалы — водопад. С грохотом несется по склону поток: то падает свободно — там, где склон совсем отвесный, то ударяется о камень, дробится, пенится и стремительно катится дальше, в море.

От Эввыквын-скалы к водопаду медленно продвигаются по узенькой птичьей тропке пятеро молодых охотников. Красиво, должно быть, выглядит эта картина с моря, красиво и удивительно! Мрачная темносерая громада нависает над путниками; под ними — до самого моря — крутой обрыв. Штормовые валы то и дело налетают на гранит, силятся взбежать по крутой стене и нехотя откатываются обратно. Самые могучие из них добираются почти до тропки; брызги и клочья пены падают на торбаза путников. Можно подумать, будто море забрасывает сотни водяных сетей, стараясь дотянуться до смельчаков, стащить их с тропки.

Но в море нет сейчас никого, кто мог бы полюбоваться этой суровой красотой, никого, кто мог бы уди-

виться смелости молодых охотников. Только одна белая чайка качается на волнах.

Впереди идет Унпэнэр. За ним — Ринтувги, с мотором на плече. На площадке, когда он брал мотор, Унпэнэр сказал: «Может, здесь оставим? Потом бы приехали за ним». Ринтувги выразительно посмотрел тогда вниз и ответил: «А как ты его достанешь отсюда? Нет, лучше возьмем. Лучше в горах оставим, туда за ним придем, если не сумеем сразу донести».

Третьим идет Кэнири. Он старается идти в точности по следам Ринтувги: себе в данном случае он меньше доверяет. Это, по крайней мере, заставляет его не отставать.

За Кэнири идет Аре. Даже он перестал балагурить. Молчит, сосредоточенно смотрит на тропку, чтобы не оступиться. Намокшие подошвы торбазов скользят по сырому камню, — нет, тут не разгонишься! Кроме того, Аре сказал Унпэнэру неправду, — колено у него еще болит, сильно болит. Время от времени он останавливается, незаметно — так, чтобы не увидел идущий сзади Атчылын, — потирает колено, смотрит вперед на водопад, в который упирается тропка, и, крутнув головой, продолжает путь. Трудно сказать, что именно должно выражать это движение головой, скорее всего — восхищение Унпэнэром, его решительностью, его умением находить выход из любого положения.

Атчылын отстал шагов на тридцать. Он не испытывает сейчас ничего, кроме чувства обиды. Почему Унпэнэр не разрешил ему идти первым? Много ли интереса в том, чтобы прорываться сквозь водопад, когда кто-то уже сделал это до тебя? Кажется, Унпэнэр мог бы не сомневаться ни в смелости его, ни в ловкости... От обиды Атчылын пропустил вперед всех, даже этого толстяка Кэнири.

Да, читатель, ты можешь, конечно, спросить: «Как попал в эту компанию Кэнири?» Как такой солидный человек, отец большого семейства, оказался в молодежной бригаде? Сейчас расскажу.

Я, кажется, назвал Кэнири «солидным человеком»? Извини, читатель, это я, конечно, зря его так назвал. Правда, он иногда старается напустить на себя солидность, но, чем больше он старается, тем хуже это ему удается. Какая уж тут солидность, когда во всем нашем

поселке, во всем колхозе «Утро» не найти человека более легкомысленного, чем Кэнири! Даже его трехлетние сыновья-близнецы Эйгели и Омрылькот — и те, пожалуй, посерьезнее своего непутевого папаша.

Дело в том, что из двух других бригад Кэнири, попросту говоря, выгнали. В последнее время он был в бригаде Кымына — человека требовательного, но справедливого, спокойного, терпеливого. Однако и Кымын не выдержал, от имени всей бригады попросил правление, чтобы забрали у него лодыря Кэнири.

Вамче — председатель правления — позвал Унпэнэра и спросил, не попробуют ли молодые охотники приучить Кэнири к работе. Унпэнэр посоветовался с товарищами и согласился. «Ну, Кэнири, — сказал тогда Вамче, — приходится сделать тебе небольшое омоложение. В третью бригаду тебя переводим, в молодежно-комсомольскую. Если ты и здесь за ум не возьмешься, так молодежь с тобой церемониться не станет, сам знаешь. Тогда уж переводить тебя некуда будет. Разве что в женскую бригаду переведем, в пошивочную».

Кэнири вначале твердо решил проявить себя в молодежной бригаде с наилучшей стороны. Пусть все видят, что Кымын просто не умеет использовать талантливых людей, не создает условий для работы. Такое твердое решение не помешало Кэнири проштрафиться в первые же дни, да еще и Аре подвести. Унпэнэр поручил им починить сети. Кэнири предложил Аре сыграть в шахматы, с тем чтобы проигравший произвел всю починку один. При этом Кэнири дал вперед ладью! Азартный Аре соблазнился, проиграл, к сроку с починкой сетей не управился, и в результате им обоим крепко влетело от Унпэнэра.

А теперь вот приходится таскаться с этими мальчишками по таким проклятым местам. Нет, всё-таки в бригаде Кымына было поспокойнее.

Когда до водопада остается шагов сорок, Унпэнэр останавливается, поджидает Ринтувги. Уж не раздумал ли бригадир в последний момент?

— Воды не бояться! — кричит Унпэнэр, стараясь перекрыть грохот водопада. — Рывком не браты! Идти, как идешь, всё внимание — на тропку! Главное — не брать рывком, не торопиться! От воды ничего не будет, пусть поливает. А дорогу надо осторожно выбирать, не-

известно, какая она там... Я ведь насквозь не проходил, не знаю. Только с той стороны под водопад подбирался.

Ринтувги понимающе кивает.

— Передай остальным, — добавляет Унпэнэр. — Никаких рывков, никакой спешки! На воду внимания не обращай! Не примерившись — ни одного шагу не делай!

Они стоят уже почти рядом, но, кроме Ринтувги, никому не слышны слова бригадира. Ринтувги передает их Кэнири, Кэнири — Аре, Аре — Атчылыну. Атчылын слушает Аре, но смотрит на Унпэнэра и кивает ему головой. «Не беспокойся, бригадир, — говорят его глаза, — я и сам понимаю, что дело не шуточное».

Ринтувги снимает с плеча мотор, осторожно ставит его у ног и вытаскивает из-за пазухи кожаную бечеву.

— Только на всех не хватит, — говорит он.

— Будем меняться. Я, как пройду, натяну ремень и подержу его три раза. Вот так. Это значит, что я уже на той стороне, что ремень уже свободен. Тащи его тогда и сам обвязывайся. А конец — следующему. Ну, всё. Двинулись.

Говоря это, Унпэнэр успел обвязаться. Он весело подмигивает товарищам, поворачивается к водопаду и идет дальше.

Основная масса воды падает, действительно, на некотором расстоянии от гранитной стены склона. На расстоянии полуметра, пожалуй. Чуть пониже тропки, где склон уже не совсем отвесный, вода снова встречается с гранитом и стремительно катится в море, пенясь и грохоча. Но и здесь, в узком пространстве между стеной и основным потоком, — сотни маленьких потоков, тысячи струй. А брызги... Нет, это несколько не напоминает морозящий дождик. Это посильнее самого страшного ливня.

Не обернувшись, не приостановившись, только замедлив шаги, Унпэнэр пригибается и уходит под ревуший поток. Ринтувги снова — гораздо торопливее, чем раньше, — снимает с плеча мотор и, намотав на руку конец бечевы, ложится на тропку: так будет вернее, надежнее.

Несколько секунд полусогнутую фигуру Унпэнэра еще можно различить. Вот он приостановился. Наверно, разглядывает тропку. Может быть, ждет, пока глаза привыкнут к полутьме: уже темнеет, а там, под водой, совсем, наверно, плохо видно. Вот он снова двинулся

вперед, и почти сразу же фигура его стала неразличима, исчезла за потоками воды.

Сколько времени проходит в ожидании? Минута? Две? Даже рассудительный Ринтувги начинает немного тревожиться. Атчылын давно бы уже бросился на выручку бригадира, если бы... Но вот бечева постепенно натягивается, и все видят, как она трижды дергается, чуть приподнимая каждый раз руку Ринтувги.

Один за другим прошли охотники под водопадом, и, когда последний из них — Атчылын — выбрался на тропку, Унпэнэр едва удержался от того, чтобы самым настоящим образом пуститься в пляс. Впервые с той минуты, как налетел шторм, на лице Унпэнэра заиграла та молодая, открытая, белозубая улыбка, которая не только у Аймыны, но и у самых сварливых и хмурых стариков всегда вызывает ответную улыбку.

— Ну? — говорит он, хлопая Ринтувги по мокрой спине. — Ну? А?!

Больше он ничего не может сейчас произнести. Он хочет спросить: «Здóрово получилось?!» — но какой-то комок подкатывает к горлу, мешает говорить.

Впрочем, нужны ли сейчас слова? Остальные охотники чувствуют примерно то же, что и Унпэнэр. Вода стекает с них бесчисленными струйками, но радость не менее заметно струится из глаз и согревает всех пятерых таким живительным теплом, перед которым бессильны даже самые холодные воды Эввыквынского ледника. Это радость победы. Молодые охотники притоптывают, хлопают себя по груди, по бокам и ногам, но это не только для того, чтобы быстрее согнать воду, — это рвется наружу радость.

— Пошли, ребята, — говорит Унпэнэр, справившись, наконец, с волнением. — Пошли, — надо до темноты на настоящую тропку выйти.

Здесь каменная терраска немного пошире, чем с той стороны водопада, но Унпэнэр не называет ее «настоящей тропкой». «Настоящая» начнется повыше, после поворота к перевалу; там уже не будет этого страшного обрыва, по обе стороны будет спокойная, надежная твердь.

— Здесь недалеко, с полкилометра. А там привал устроим.

В том же порядке, что и раньше, охотники продол-

жают путь. Атчылын несколько раз оглядывается на водопад. Еще бы разок пройти там! Сквозь этот полумрак, наполненный обманчивыми, дрожащими, перебегающими тенями струй, сквозь эти стремительные потоки и оглушительный грохот, сквозь сладкое ощущение опасности... Только туда и сразу же обратно. Вот если бы оказалось сейчас, что забыли там что-нибудь!

Размечтавшись, Атчылын едва не наталкивается на внезапно остановившегося Аре. Что случилось? Что там произошло впереди?

Ринтувги стоит на одном колене, с трудом удерживая равновесие. Он оступился, упал на одно колено, изогнулся, стараясь перенести центр тяжести подальше от обрыва. Он пытается ухватиться за что-нибудь свободной рукой, но ухватиться не за что, а вторая рука занята мотором, и мотор гнет, гнет к обрыву. У Ринтувги мелькает мысль о том, что надо сейчас же бросить мотор — может быть, тогда удастся удержаться... В тот же момент кто-то схватывает его сзади.

Это Кэнири. Он побледнел, глаза его от ужаса округлились, но он крепко, изо всех сил держит Ринтувги за плечи. Ринтувги уже установил равновесие и теперь хотел бы просто присесть на тропку, чуточку отдохнуть, перевести дыхание.

Поняв, наконец, что опасность миновала, Кэнири отпускает Ринтувги, снимает у него с плеча мотор.

— Я немного понесу. Ты отдохни.

— Спасибо, Кэнири. — Ринтувги садится, с наслаждением расправляет уставшие плечи, заглядывает вниз и, вздохнув, повторяет: — Спасибо!

Через минуту они снова шагают по тропке. Унпэнэр даже не догадывается о том, что произошло позади него.

* * *

Старый охотник Гэмалькот довольно сурово воспитывал сына. «Холод и чукча — родные братья. — говорил Гэмалькот. — Чукча не должен бояться холода». И он так непреклонно придерживался этого правила, что Нутэнэут нередко плакала тайком, пока не убедилась, что маленькому Унпэнэру суровое воспитание явно идет на пользу. Но вначале даже соседи, хоть и сами они своих детей не баловали, удивлялись, считали, что Гэмалькот слишком уж беспощаден к сыну. Другой ребенок навряд

ли мог бы выдержать, но Унпэнэр родился таким здоровяком, что любые испытания только укрепляли его крепкое тело.

Это началось, когда Унпэнэру исполнилось шесть лет. Незадолго до того Нутэнэут родила второго сына. «Ну,— сказал жене Гэмалькот,— теперь ты занимайся своим Йорэлэ, а Унпэнэром я сам займусь». А Унпэнэру он сказал так: «Тебе уже седьмой год пошел, тебя уже можно считать мужчиной. Я рад, что дождался, наконец, помощника. Тем более, что семья у нас, как ты знаешь, увеличилась, забот прибавилось и у меня и у матери».

Мальчик должен был вставать так же рано, как вставал отец,— с первыми проблесками зари. Босиком, не одеваясь, должен был выбежать из яранги, осмотреть небо, определить, откуда дует ветер, и, вернувшись, доложить отцу, готовившему пока что свою охотничью снасть. Пусть сечет по голому телу пурга, пусть мороз сковывает землю, пусть ледяный ветер несется с Чукотского моря или студеная слякоть ранней весны мучительными колдовками охватывает ноги,— всё равно. Какая бы ни была погода, порядок не нарушался.

Отец внимательно выслушивал сына, не прекращая работы. Нужно было рассказать о том, какого цвета небо на востоке, есть ли облака, много ли их, какой они формы, и всегда нужно было особо доложить о том, нет ли предательского облачка над Дежнёвской горой. Если же сведения были недостаточно точны, приходилось снова выбегать наружу. Только много лет спустя понял Унпэнэр, как, не выходя из яранги, старый охотник безошибочно обнаруживал эти неточности простым сопоставлением сведений, которые приносил сын.

Предутренняя стужа закаляла тело, наблюдения приучали к тому пониманию природы, без которого невозможно стать настоящим охотником. Но босиком на морозе не постоишь, а вести наблюдения, всё время приплясывая, было очень трудно.

Вернувшись, Унпэнэр уже не имел права забраться обратно под шкуры. И, рассказывая отцу о том, какой злой ветер налетает с моря, выбивать зубами дробь тоже не разрешалось. Надо было быстро одеться и браться за завтрак. Мороженого мяса можно было есть сколько угодно — только бы не засиживаться за завтраком дольше, чем отец. Но чаю полагалось лишь одно блюдечко:

и заварка, и пресная вода зимой были дороги, нелегко доставались.

Отец уходил на охоту, а Унпэнэр — к маленькому, промерзшему до самого дна ручью. Здесь он откалывал куски льда, складывал их на саночки и вез домой, матери. Так добывалась вода.

К этому времени на улице поселка появлялись его сверстники. Закончив работу, он мог играть с ними, кататься с горы, мог забегать и в ярангу, но только в ее наружное помещение, в сенки. В теплый внутренний шатер, именуемый пологом, Унпэнэру разрешалось войти лишь под вечер, когда возвращался с охоты отец.

Одежду старшему сыну Нутэнэут шила из грубых, невыделанных шкур. «Выделанная шкура — одежда летняя, — говорил Гэмалькот. — Настоящий охотник никогда не сидит без дела. А движения сделают мягкой любую шкуру. Лучше всякой обработки!» — «А когда сидишь в засаде? — спрашивал Унпэнэр. — Тогда ведь нельзя двигаться? Ты сам говорил, что охотник должен уметь на целые часы превращаться в неподвижный камень».

Гэмалькот прищурившись взглядывал на жену, как бы приглашая ее полюбоваться сыном, и отвечал: «Видишь ли... Видишь ли, когда совсем не шевелишься, так тогда и самая жесткая шкура не может поцарапать. Неподвижному камню безразлично — в мягком он мешке или в твердом».

Постепенно приучил Гэмалькот своего старшего сына к охоте. И на тундрового зверя ходил с ним и на морского. Унпэнэр оправдал ожидания отца, к шестнадцати годам он был уже одним из лучших охотников во всем колхозе. Только вот благоразумию и осторожности не смог научить его Гэмалькот. За что ни брался Унпэнэр, — всё ему удавалось на славу. Но слишком горяч он был на охоте, слишком любил риск.

Да и не только на охоте сказывалась в нем эта черта. Одним из первых в поселке Унпэнэр научился плавать, — у нас ведь раньше почти не знали этого искусства, хоть и живем мы у самого моря. Уж очень наше море сурово, никто по собственной воле не отваживался залезать в его холодные воды. Унпэнэр научился плавать в Петропавловске-Камчатском, когда ездил на курсы механизаторов зверобойного промысла. Было это, разумеется, летом. А вернувшись домой, когда лагуну уже сковало льдом,

Унпэнэр на спор переплыл широченную полынью. И даже ни разу после этого не чихнул. Через несколько дней, узнав об этой выходке, фельдшер полярной станции как следует выругал Унпэнэра, осмотрел его, прослушал и, покачав головой, тихо произнес: «Да... Типичный белый медведь».

— Черный, Алексей Вадимович, — уточнил Унпэнэр.

Фельдшер серьезно поглядел на черные волосы молодого охотника и сказал:

— Да... Черный белый медведь...

Этакому «черному белому медведю» многое, конечно, дается легче, чем другим. Вот он идет своей легкой походкой впереди товарищей. Всё вверх и вверх. Тропка становится круче, зато шире, гораздо шире. Уже виден крутой поворот, после которого тропка пойдет не над пропастью, а по отлогому, ровному склону. Еще легче, еще веселее становятся шаги Унпэнэра, да и на душе у него совсем не так мрачно, как было сразу после гибели байдары. Правда, мысли о байдаре, о том, что придется держать ответ; не выходят из головы, но постепенно они принимают совсем другой оборот. Унпэнэр огорчается теперь не столько за себя, сколько за старика Гэмалькота: старик будет, конечно, очень расстроен, хотя сам — Унпэнэр вполне уверен в этом — первым будет настаивать на назначении другого бригадира. Еще больше будут расстраиваться Нутэнэут и Аймына, да еще Йорэлё, братишка. Ну да ничего, если самому не показывать вида, что очень огорчен, так и они скоро успокоятся. «Что ж, — думает Унпэнэр, — пусть теперь другой бригадиром поработает. Наверно, всё-таки спросят, кого я сам предложу. Предложу Вуквука или Ринтувги, пусть выбирают. Любой подходит».

Мысли Унпэнэра всё чаще обращаются к дому. Как там сейчас, всё ли в порядке? Как чувствует себя Аймына? И надо же было, чтобы это произошло в его отсутствие! Конечно, Нутэнэут сделает всё, что нужно, но хотелось бы быть в это время дома... Скоро ли он увидит их? Если бы не разыгрался шторм, Унпэнэр уже вернулся бы, увидел бы и жену и сына. Значит, Аймына уже, наверно, ждет, с тревогой прислушивается к гулу шторма. А тревожиться ей нельзя, никак нельзя: от этого, говорят, может молоко пропасть...

У самого поворота Унпэнэр останавливается, поджи-

дает товарищей. Вон они, все четверо. Только отстали почему-то. И мотор несет уже не Ринтувги, а Кэнири. Правильно, надо сменяться. Кэнири несет мотор и даже напевает себе под нос — гляди ты!

Кэнири, действительно, напевал. Не потому, конечно, что ему нравилось идти с грузом — вовсе нет. Наоборот, он считал, что Ринтувги мог бы уже освободить его от ноши. А напевал он просто потому, что чувствовал себя гораздо увереннее, чем раньше. Это чувство расширялось по мере того, как расширялась тропка, но родилось оно в тот самый момент, когда он бросился на выручку к Ринтувги. Кто выручил силача Ринтувги? Кэнири! Получается, что Кэнири в чем-то, хоть в одном каком-то деле, оказался даже сильнее, чем Ринтувги... Правда, так получается только в мыслях у самого Кэнири, но этого достаточно для того, чтобы прибавить ему веры в собственные силы. Ринтувги — и тот чуть не свалился, а Кэнири прошел это самое место с мотором на плече — прошел, даже глазом не моргнув!

Унпэнэр дождался товарищей и вместе с ними поднялся на тропу, идущую к перевалу. Теперь можно уже идти не гуськом, а рядом. Хоть всем пятерым в одну шеренгу! Можно идти по тропе, а можно и прямо по отлогому склону, по мху.

— Привал! — объявляет Унпэнэр и, крикнув от удовольствия, первым растягивается на земле.

Шторм либо утих немного, либо отсюда уже почти не слышен. Хорошо лежать, растянувшись, расслабив все мускулы... Впереди еще трудный и опасный путь; но разве можно сравнить его с тем, что пройдено? Кожаная бечеза, по которой поднимались на площадку с байдары, доживавшей свои последние минуты; узенькая птичья терраска, по которой пришлось столько времени пробираться над обрывом; водопад, под которым нужно было пройти, — всё это уже позади.

— Сейчас, наверно, часов девять, не больше, — говорит Аре.

— Ты по каким часам судишь? — отзывается Атчлын, оглядев небо, сплошь затянутое тучами. — По желудочным?

— Нет, я так, приблизительно. Если по моим желудочным судить, так мы уже третьи сутки в дороге. Я бы сейчас целого моржа спопал.

— Ближе было к тому, чтобы он тебя слопал. Еще бы чуть-чуть — и попал бы ты на подводный обед... А по-моему, сейчас и семи еще нету. Это из-за туч так стемнело.

Сходятся на том, что сейчас, должно быть, часов восемь. Ринтувги спрашивает:

— К утру дома будем?

— К утру вряд ли, — отвечает Унпэнэр. — А к полудню, я думаю, придем. К полудню должны прийти.

— А подарки ты не взял, Унпэнэр? — спрашивает Кэнири.

— Подарки наши в море плавают. Тут уж не до них было.

Кэнири почему-то улыбается. Но в темноте никто не видит его улыбки.

Вчера, на вечернем заседании совещания молодых зверобоев выступал секретарь райкома. После его выступления объявили перерыв, но секретарь поднял руку и сказал: «Одну минутку, товарищи. Одну минуточку внимания. Хочу сделать внеочередное сообщение. Информацию, так сказать, неофициального характера. Два часа назад я говорил по радиотелефону с товарищем Вамче, председателем колхоза «Утро». И товарищ Вамче сообщил мне, в частности, что сегодня утром жена участника вашего совещания, знатного зверобоя Унпэнэра родила сына. Товарищ Унпэнэр здесь? Вот, товарищ Унпэнэр, Вамче просил передать вам поздравления. И мы к этим поздравлениям целиком, конечно, присоединяемся!»

Что тут было! Смех, поздравления, аплодисменты... Смущенный Унпэнэр еле выбрался из зала. Утром пошли в районный универмаг покупать подарки для Аймыны и новорожденного. К счастью, у Ринтувги, у Кэнири и Аре было с собой немного денег. Сложились, купили красивый цветастый платок, полдюжины мягких рубашечек с тесемками вместо пуговиц, крохотное пушистое одеяльце и даже матросский костюмчик. Продавщица говорила, что этот костюмчик «самое меньшее — для пятилетнего», но всем он очень понравился, и решили взять. Унпэнэру было даже чуточку обидно, что такие малюсенькие штанишки продавщица считает слишком большими для его сына... Но когда байдару заклинило между берегом и Эввыквын-скалой, Унпэнэр и не вспом-

нил, конечно, про сверток с подарками. Надо было людей спасать, а не рубашонки с тесемками!

— Эх, ребята, костер бы сейчас развести! — говорит Кэнири.

— Неужели замерз? — с притворным удивлением спрашивает Аре. — Такой жирный, а мерзнешь. Жир лучше шубы греет, у любого кита спроси.

— А ты, скажешь, не замерз?

— Так ведь я худой; это совсем другое дело. И то, по-моему, температура самая подходящая.

Но Аре говорит неправду, он тоже многое отдал бы сейчас за возможность погреться у костра. Только не из чего развести костер: в горах Эввыквыт ни одной хворостинки не найдешь, кругом камни да сырой мох.

Какой там костер! Атчылын пытался закурить, и то не сумел: спички у всех отсырели, головки спичек отваливаются при первом прикосновении.

— Пошли, ребята, — говорит Унпэнэр. — На ходу всё-таки потеплее.

— Темно, — отзывается Ринтувги. — Тропу в темноте не потеряем?

— Нет, здесь теперь прямая дорога. Всё прямо и прямо. И всё на подъем, до самого перевала. А спуск. . . — Унпэнэр на несколько секунд умолкает, раздумывая о том, что спуск — это, собственно, одна из самых опасных частей пути. — Ну, к спуску, я думаю, уже и светать начнет. . . Ты, Атчылын, возьми теперь мотор. Как устанешь, — передашь Аре, а после Аре я понесу. Ты, Ринтувги, держись позади, смотри, чтобы кучно шли, не растягивались.

. . . Всю ночь шли не останавливаясь: Унпэнэр боялся, что если остановятся, лягут, — так уж не смогут потом подняться. В торбазах подстилки из сухой травы свалились в твердые комки. Эти комки причиняли боль на каждом шагу, но охотники долго не могли собраться с силами, чтобы разуться и выкинуть их.

Чем выше поднимались люди, тем становилось холоднее. Мокрые, непокрытые волосы Унпэнэра смерзлись, покрылись сплошной коркой льда. Одежда на всех обледенела. Даже на сгибах она стала грубой, неподатливой, а на груди и спине превратилась в тяжелые, мрачно поблескивающие ледяные панцыри.

Первыми выдохлись Кэнири и Аре. Кэнири откровенно

жаловался, отставал. Аре не жаловался, но и не балагурил больше, и хромал уже не тайком, а открыто. Мотор несли теперь только Ринтувги, Унпэнэр и Атчылын, да и то всё чаще и чаще сменяя друг друга.

Лишь под утро охотники увидели впереди что-то светлое. Это был Эввыквынский ледник; от него до перевала оставалось не больше ста метров. Но для того, чтобы пересечь ледник, хоть он в этом месте не шире обычной горной речки, потребовалось еще около часу. Встер здесь хлестал с особой силой и был особенно холодным. Руки окоченели. Атчылын с мотором на плече заскользил вдруг, заскользил и грохнулся на лед. Если бы Ринтувги не успел удержать его, Атчылын скатился бы, наверно, до самого низа, до самого конца ледника. Но Ринтувги ухватился одной рукой за камень, наполовину вмерзший в лед, а другой рукой удержал Атчылына. После этого стали перебираться через ледник ползком.

Когда подошли к перевалу, совсем уже рассвело. Это хорошо, — начинать спуск в темноте было бы слишком рискованно. Унпэнэр оглядывает товарищей. Вот Ринтувги, Аре, Атчылын... Но где же Кэнири?!

Унпэнэр бросается обратно и находит Кэнири, сидящего посреди тропы. Вслед за Унпэнэром подбегают остальные.

Кэнири пытается унять дрожь, силится что-то сказать, но лишь беззвучно шевелит губами. Наконец он проносит едва слышно:

— Я, ребята, больше не могу.

— Надо, — говорит Ринтувги.

Кэнири смотрит на него, на других и повторяет чуть громче:

— Я, ребята, больше не могу.

— Можешь, — говорит Унпэнэр. — Можешь, Кэнири.

* * *

Над поселком колхоза «Утро» поднялось ясное, но по-осеннему холодное, неласковое солнце. И всё же — каким бы ни было оно неласковым — засверкали покрытые инеем толевые крыши новых домиков, заиграл солнечными бликами ручей. Казалось, что он даже зажурчал немного погромче. Наперебой зачирикали над ним, перелетая с берега на берег, птички. Может быть, сегодня они соберутся и полетят на юг, куда давно уже тянется

стая за стай. Вот они и прощаются с ручьем; возле которого выросли, возле которого только этим летом научились летать. Прощаются, желают ему долгого сна — на несколько месяцев, до самой весны, до тех пор, пока солнце начнет пригревать и птицы начнут возвращаться с юга.

Йорэлё прибежал на ручей за водой. С тех пор как Аймына родила, забот у него прибавилось: то Нутэнэут посылает на Полярную станцию за фельдшером Алексеем Вадимычем; то Гэмалькот велит сбегать в правление, узнать нет ли из райцентра каких-нибудь вестей об Унпэнэре; то сама Аймына попросит принести ей чего-нибудь. В глубине души некоторые поручения Йорэлё считает излишними. Зачем, например, тревожить Алексея Вадимыча, если и Аймына и ребенок прекрасно себя чувствуют? Зачем бегать в правление? Ведь если бы стало известно что-нибудь об Унпэнэре и его товарищах, так председатель и сам, наверно, пришел бы. Или счетовода Рочгыну сразу бы прислал.

Зато каждую просьбу Аймыны Йорэлё выполняет с особым старанием. Ведь он таким образом делает то, что делал бы Унпэнэр, если бы успел вернуться. А больше всего Йорэлё хочет быть похожим на старшего брата.

Кроме того, почти все просьбы Аймыны можно выполнять, не выходя из дому, а дома сейчас интересней, чем, где бы то ни было. Во-первых — племянник. Правда, ему только два дня, но рассматривать его очень забавно. И раз он существует, — значит, Йорэлё уже дядя. Дядя Йорэлё! Во всем шестом классе ни один мальчишка, ни одна девчонка еще не имеют племянников.

Во-вторых, дома всё время гости. Одни уходят, другие приходят. Поздравляют, приносят подарки для новорожденного, говорят о всяких интересных вещах. Иногда — правда, очень редко — высказывают какие-нибудь предположения о том, где могли бы высадиться молодые охотники, захваченные штормом. К этим разговорам Йорэлё прислушивается особенно внимательно. И если ему удастся услышать что-нибудь утешительное, он торопится прошмыгнуть в комнату, где лежит Аймына, и тихонько пересказать ей это.

Сейчас у Гэмалькота сидит несколько старинных его приятелей: Всеволод Ильич, дядя Мэмыль, Атык. Вошел

косторез Гэмауге. Надо бы поздравить отца, но отца нет. Гэмауге поздравляет деда. Степенно и немногословно, как полагалось в старину, он говорит:

— Слышал я, гость приехал к тебе. Радость сопутствует хорошему гостю.

Гэмауге разворачивает газету, в которой он принес подарок, и ставит его на стол. Это письменный прибор, вырезанный из моржового клыка. Закинув на спину рога, мчится «ылвылю» — дикий олень. Взявшись за рога, можно откинуть голову оленя — тогда открывается чернильница. За оленем бежит охотник, готовый метнуть копье. Это копье, оказывающееся при ближайшем рассмотрении ручкой, легко вынимается из поднятой руки охотника. Рядом лежит уже поверженный «ылвылю», взявшись за которого, очень удобно промакнуть написанное массивным пресс-папье.

Хороший подарок, он всем очень нравится. Но есть в нем что-то, что заставляет стариков призадуматься. Дело вовсе не в том, что новорожденные обычно обходятся без письменных приборов: ведь дарили же новорожденным и трубки, и гарпуны, и охотничьи ножи, а всё это — тоже не детские игрушки. Подарок, сделанный при рождении, может послужить человеку через много лет. Но всё же...

Гэмалькот, полюбовавшись прибором, говорит:

— Не слишком ли это щедрый подарок, Гэмауге? А? Такая вещь больше подходит сыну профессора, а не сыну зверобоя.

— Ты зверобой, Гэмалькот, и отец твой был зверобоем, и сын твой стал зверобоем. Но откуда мы знаем, кем станет сын твоего сына? Теперь другие времена, Гэмалькот.

— Да, — подтверждает Атык. — Да, теперь совсем другие времена. Это раньше так считалось, что приморский чукча на всю жизнь к морю прикован, всю жизнь должен моржа бить. Даже в песнях «рабами моря» себя называли. Теперь не так...

Из скромности Атык не приводит примеров, но все понимают, что он думает сейчас о своем сыне Тылыке, который учится в Ленинградском университете.

— Садись, Гэмауге, — приглашает Гэмалькот, уступая гостю китовый позвонок — свое любимое место.

Но Гэмауге не садится, потому что сам хозяин опу-

стился на пол: кроме китового позвонка, верой и правдой служившего Гэмалькоту еще в яранге, в комнате три табуретки, занятые гостями. Старый Мэмыль, лукаво прищурившись, хлопает себя по коленям и спрашивает:

— Да что в самом деле — в райисполкоме мы сидим, что ли?

С этими словами он опускается на пол, рядом с хозяином. Все старики, очень довольные, следуют его примеру, не исключая и Всеволода Ильича, поселившегося у нас еще тогда, когда во всем поселке не было, говорят, ни одной табуретки. Продолжая прерванный разговор, Всеволод Ильич говорит:

— Всякое, конечно, может случиться. Может быть, сын Унпэнэра охотником станет, зверобоем. А может быть, и не охотником, а ученым каким-нибудь, профессором.

Гэмалькоту такое предположение очень приятно, конечно, но он считает нужным возразить:

— Ну, Севалот, это уж ты слишком высоко взял. Такого у нас еще никогда не бывало.

— Не бывало, верно. А мало ли у нас теперь такого имеется, чего тридцать лет назад не бывало и быть не могло? Мог ты тогда в доме жить? Могли Атык и Мэмыль детей своих в институты посылать? Не могли! А тут, пока сын Унпэнэра вырастет, еще годы и годы пройдут. Может и профессор из него получиться, ничего в этом нет удивительного.

— Ничего удивительного, — подтверждает Атык.

Гэмалькоту смешно. Слово «профессор» неразрывно связывается у него с представлением о стройном, светловолосом человеке, о серых глазах, внимательно глядящих сквозь круглые очки в тонкой золотой оправе. Таким запомнился Гэмалькоту профессор Визе, приезжавший сюда лет двадцать пять назад. Он производил тогда промеры глубин, расспрашивал зверобоев о течениях, о нравах моржей, о перемещениях льдов. Он больше слушал, чем говорил, но очень скоро Гэмалькот с изумлением убедился, что почти все тайны Чукотского моря этот приезжий знает лучше самих чукчей... Трудно, очень трудно представить себе крохотное существо, лежащее сейчас в соседней комнате, таким стройным, светловолосым человеком в золотых очках!.. Впрочем, ведь и Степанов — тот молодой ученый, который приезжал сюда когда-то

записывать чукотские песни и сказки, — он тоже стал теперь профессором. Тылык писал отцу, что слушает и лекции Визе, и лекции Степанова. А ведь Степанов — он совсем из простых людей, его отец в Анадыре пекарем был.

— Да, — произносит Гэмалькот, продолжая вслух то, о чем только что думал. — Отец профессора Степанова в анадырской аптекарне работал. Совсем, говорят, простой был человек.

— А по-моему... — старый Мэмыль берет со стола костяного охотника, вынимает из его руки ручку-копье, вкладывает ее обратно и продолжает: — По-моему, дело тут не только в этом. Теперь не только профессору, теперь и зверобою такая штука нужна. Мы с тобой, Гэмалькот, и то на старости лет читать-писать научились. Атык вот говорил, что мы себя звали «рабами моря». Правильно, были такие песни. А сейчас зверобой из этого рабства вышел. Так я тебя понимаю, Гэмауге?

Мэмыль смотрит на костяного человечка, которого держит в руке, и кажется, будто свой вопрос он тоже задал этому человечку, а не косторезу. Гэмауге молча кивает головой.

— Я тебя понимаю так, — продолжает Мэмыль. — Я бы на твоём месте так сказал: «Вот я принес подарок для мальчика. Еще никто не знает, кем станет ваш мальчик, но, кем бы он ни стал, я надеюсь, что этот подарок ему пригодится. Если мальчик станет охотником, пусть не отстает от грамоты, от науки. Если станет ученым человеком, пусть не забывает про свою родную Чукотку».

— Так, Мэмыль, так, — говорит молчаливый косторез.

Все снова начинают рассматривать письменный прибор. После слов Мэмыля искусная работа Гэмауге кажется еще более искусной, еще более значительной.

Гэмалькот посматривает на часы. Уже половина восьмого. На восемь тридцать, если Унпэнэр со своими товарищами еще не вернутся, Вамче назначил выход на поиски. Часок еще нужно подождать. За это время Вамче обещал связаться с районным центром: может быть, молодые охотники возвратились туда или смогли известить о себе из какого-нибудь поселка, в котором решили переждать шторм...

— Как называли внука? — спрашивает Гэмауге.

— Никак еще не назвали. Отца дожидаемся. Третий день без имени мальчик живет.

— Это ничего, — говорит Атык. — Ему еще не скоро паспорт получать. Успеете.

— Конечно, успеется, — подхватывает Мэмыль. — Имя человеку на всю жизнь дается. С этим делом торопиться нечего, надо хорошее имя выбрать.

— А ведь раньше, — говорит Гэмалькот, — раньше не так думали. Многие считали, что надо похуже имена давать. Чем хуже будет имя, тем, считалось, лучше будет у человека жизнь. Чтобы, значит, злых духов обмануть. Такие имена давали, чтобы даже злым духам противно было.

— Да, да, — говорит Мэмыль. — Помните старого Вэльпонты? Помните, откуда он для своего сына имя взял?

Все, конечно, помнят покойного Вэльпонты, у которого под старость, после четырех дочерей, родился, наконец, сын. Но почему Вэльпонты назвал своего сына «Кэнири»? Нет, такое может помнить только Мэмыль — живая история всего нашего поселка, живой сборник всех семейных преданий, всех событий, о которых забыли даже их непосредственные участники.

— Тащил Вэльпонты моржовую шкуру на берег, — продолжает Мэмыль. — Размачивал он ее в море, а теперь вытаскивал. Жена ему помогала. Вдруг почувствовал Вэльпонты, что жена перестала ему помогать, — шкура сразу будто тяжелей стала. Обернулся, а жена, оказывается, на песке лежит, рожает. Он со страху так приналег, что сразу один вытащил шкуру из моря. Подбежал потом, видит, — родился у него сын. Обрадовался, заплясал на берегу. И заметил в это время, что на моржовой коже копошатся кэнири — морские червячки. «Знаешь, — спрашивает, — как мы своего сына назовем?» — «Как?» — «Кэнири! Вот как мы его назовем!» Жене это имя понравилось. «Хорошее, — говорит, — имя. Никто не позавидует. Злые духи — и те внимания не обратят». Вот и назвали человека червяком.

Гэмалькоту вспоминается то далекое утро, когда Нутэнэут впервые показала ему сына. Разворачивая новорожденного, она сказала: «На нем столько родинок, сколько звезд на небе». Самая большая родинка примостилась у мальчика на лбу. Гэмалькот назвал своего пер-

венца Унпэнэром — Полярной звездой, хотя шаман Эвынто ругал его за это. «Слишком красивое имя, — говорил шаман, — слишком гордое. Это неосторожно, Гэмалькот. Злые духи могут рассердиться». Но мальчик вырос, и красивое имя нисколько не помешало ему стать хорошим охотником. Правда, уже не раз ему грозила смертельная опасность. Может быть, теперь с ним и в самом деле приключилось что-нибудь худое? Может, лучше всё-таки было бы не называть сына Унпэнэром? . .

— Да, — говорит Всеволод Ильич, выслушав рассказ о рождении Кэнири. — Да, сами родители любимого своего сына червяком назвали. И еще радовались, что хорошее имя нашли!

Гэмалькот прекрасно понимает, что все эти разговоры ведутся с единственной целью — отвлечь его от тревожных мыслей. Но как ни стараются старые друзья, это им плохо удается, — на душе у Гэмалькота становится всё тревожнее. Из всего рассказа Мэмыля Гэмалькот понял только то, что речь шла о Кэнири; но Кэнири ведь тоже там, с Унпэнэром. . . Где они сейчас? Живы ли?

Гэмалькот всё время поглядывает в окно. Вот вернулся с ручья Йорэлё. Он несет полное ведро воды, старается не расплескать. Перед тем, как перейти дорогу, он ставит ведро на землю, чтобы переменить руку. Но в это время Йорэлё увидел что-то необычайное в дальнем конце улицы. Он метнулся было туда, но остановился, вбежал в дом.

— Там. . . там, — говорит Йорэлё, — какие-то ледяные люди идут.

Все выбегают на улицу. Пять человек шагают по ней, пять богатырей, закованных в ледяные доспехи. Холодное солнце поздней осени сверкает на этих доспехах, но не растапливает их. Йорэлё сразу, конечно, догадался, что это молодые охотники возвращаются в поселок, что впереди шагает его старший брат Унпэнэр. Но Йорэлё ведь известный выдумщик! На какую-то долю секунды молодые охотники показались ему сказочными ледяными людьми, и вот он повторяет, притворяясь, будто всё еще не узнает идущих:

— Видите? Видите? Ледяные!

Через минуту отец уже стоит возле Унпэнэра, положив руку ему на плечо. Наверно, старику захотелось не

только глазами, но и на ощупь убедиться в том, что сын возвратился домой.

— Пришли, значит? — спрашивает Гэмалькот. — Пешком, значит, пришлось идти?

И то, что молодые охотники пришли, и то, что они пришли пешком, совершенно очевидно, конечно. Старик и не ждет ответа, он спрашивает только для того, чтобы что-нибудь произнести, чтобы скрыть волнение. Но Унпэнэр понимает отца иначе. В вопросе отца ему слышится заслуженный упрек. Ему кажется, будто отец спросил: «Пешком, значит, пришлось идти? Угробили, значит, байдару?»

— Да, — отвечает Унпэнэр. — Байдару я разбил. Но мотор мы успели снять, мотор цел. Мы его даже через перевал перенесли. Перед самым спуском его оставили, не могли дальше тащить, боялись, что уроним. Завтра мы с Ринтувги сходим за ним.

— Ладно, успеете сходить, — говорит Атык. — Отдохнуть сначала надо как следует.

— А что мотор сберегли — это вы молодцы, — говорит Гэмалькот.

— Молодцы! — подтверждает Всеволод Ильич. — А еще лучше, что головы свои сберегли.

— Да, — смеется Мэмыль, — хоть и дурные у вас головы, а всё-таки молодцы, что сберегли их. Могут еще пригодиться. И даже поумнеть еще могут.

— Оставь, оставь! — кричит выбежавшая из дома Нутэнэут на Кэнири, припавшего к ведру, которое Йорэлё забыл на дороге. — Оставь, зубы застудишь... Чего ты держишь людей на холоде? — обращается она к мужу. — Думаешь, мало они намерзли? Веди в дом, сейчас чай пить будем.

Она подхватывает ведро, и вслед за нею все заходят в кухню, шумно рассаживаются. Кэнири и Аре одновременно устремляются к табуретке, стоящей возле плиты, сталкиваются, смеются. Табуретка достается Кэнири, оказавшемуся на этот раз проворнее. Он быстро опускается на нее, хрустнув своими ледяными доспехами, сразу изломав их в добром десятке мест. Дверца плиты раскрыта, приятное ощущение тепла охватывает Кэнири, от его одежды поднимается густой пар. Но уже через несколько минут он начинает сомневаться в преимуществах своей позиции: он ближе всех к огню, но дальше всех от

миски с моржовым мясом, от блюда с лепешками... Впрочем, лепешек столько, что, пожалуй, всем хватит.

Только Унпэнэр, не задерживаясь на кухне, прошел в свою комнату, к Аймыне. И Йорэлё, конечно, прошмыгнул вслед за ним. А когда Унпэнэр держал в руках белый сверток, внутри которого попискивало что-то смугло-красное, и Аймына вглядывалась в лицо мужа, стараясь определить впечатление, которое произвело на него это попискивающее существо, в комнату вошел Алексей Вадимыч — фельдшер с Полярной станции.

— Здравствуйте, — говорит Алексей Вадимыч. — Поздравляю тебя, Унпэнэр. Поздравляю вдвойне!

— Почему вдвойне?

— Во-первых — с рождением сына. А во-вторых, и тебя-то самого можно считать вторично родившимся. Из такой, говорят, переделки выбрался... А ну-ка отдай сына, безобразник! Смотри, — прямо на ребенка вода капает. Хоть бы вытерся сначала, обсушился...

Действительно, ледяной шлем на голове Унпэнэра растаял. Только одна прядь свешивается на лоб сосулькой; и частые капли падают на белоснежный сверток.

— Ничего! — улыбается Унпэнэр. — Моему сыну ледяная вода не должна повредить. Это ведь белый медвежонок будет. А? Черный белый медвежонок!

Но всё-таки он отдает ребенка Алексею Вадимычу. А в комнату уже входят все остальные. Впереди — Гэмалькот, позади — Кэнири с чашкой чая в одной руке и недоеденной лепешкой в другой.

Гэмалькоту всё уже известно. Он говорит:

— Их, Аймына, у Эввыквын-скалы разбило. Знаешь Эввыквын-скалу?

— Знаю, — говорит Аймына. — А как же вы добрались оттуда? Оттуда ведь никакого пути нет — крутая гора, стена...

— Вот по стене и добрались, — отвечает за Унпэнэра Гэмалькот. — По птичьим тропам к водопаду вышли, оттуда дальше, по горам Эввыквыт, через ледник...

— Да уж, действительно, — задумчиво произносит старый Мэмыль. — Действительно. Эввыквыт.¹

¹ Эввыквын означает по-чукотски — твердокаменный, стойкий; эввыквыт — множественное число — твердокаменные, стойкие, (Прим. перев.)

И всем становится ясно, что старик подразумевает не столько горы, сколько молодых охотников, сумевших пробраться через неприступные кручи, по нехоженным тропкам.

Чтобы заслужить такую похвалу, стоило, пожалуй, и померзнуть, и торбаза ободрать об острые камни в горах Эввыквит, и руки исцарапать, и на тонком ремешке покачаться над пропастью.

Кэнири торопливо допивает чай, дожевывает лепешку. Потом ставит чашку на подоконник, вытирает руку о штаны, достает из-за пазухи какой-то измятый пакет и торжественно подходит к кровати, на которой лежит Аймына.

Бумага разорвана, всем виден яркий, цветастый платок.

— Это тебе, Аймына, — говорит Кэнири, разворачивая пакет. — Тебе и твоему сыну. Это от всей нашей бригады.

Вслед за платком появляются крохотные рубашонки с тесемками вместо пуговиц, за рубашонками — матросский костюмчик.

Ай да Кэнири! Значит, еще в байдаре он успел засунуть за пазуху пакет с подарками и никому ни слова не сказал! Не в каждом стойбище найдется такой хитрец!

А продавщица-то была, оказывается, права, — теперь Унпэнэр и сам видит, что матросский костюмчик велик, непомерно велик. Не скоро еще можно будет надеть этот костюмчик на сына.

Пока все заняты рассматриванием подарков, Унпэнэр присаживается на корточки у изголовья.

— Послушай, Унпэнэр, — тихо говорит Аймына. — Разве Эввыквын — плохое имя для мальчика? Как ты думаешь? Давай назовем его Эввыквын!



СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Тает. Снег из белого стал грязновато-желтым; кое-где уже чернеет земля. Небо — синее-синее, теплое. Короткой ночью чуть потемнеет оно, чуть остынет, и снова восходит весеннее солнце. Еще дня три-четыре, самое большее неделя — и солнце совсем перестанет заходить за горизонт. Только коснувшись краешком горизонта, оно снова будет подниматься и своими теплыми лучами растопит остатки снега. Будут утра, дни и вечера, а ночей совсем не будет — до конца лета.

Хорошо! В это весеннее время рано просыпается поселок. Спать никому не хочется, — отоспались, видно, за зимние месяцы. И разве улежит в постели настоящий охотник, когда прямо над поселком проносятся громадные стаи уток? Да что там утки! Унпэнэр говорит, что слышал рев моржей! Унпэнэр не станет врать; раз говорит, — значит, действительно, слышал. И ничего нет удивительного: когда ж и реветь морскому зверю, как не весной? Во всяком случае, пора готовиться к первой охоте на моржей, к первому выходу в море.

Снег тает, но широкий ледяной припай еще крепко держится у берегов. Широкий, торосистый. Множество трещин избородило его, а он всё стоит. Каждый день море обкусывает край припая, волны отламывают льдину за льдиной и уносят их на север. Но от берега до открытой воды всё еще далеко. Километров, наверно, пять. А то и все шесть.

У самой воды сидит на припае охотник Кэнири. На коленях у него ружье, он внимательно поглядывает вперед, поджидая неосторожную нерпу. Лицо у него довольное, — рядом с ним уже лежат на льду две нерпы с простреленными головами. О, Кэнири хороший стрелок! Пусть только покажется среди волн круглая нерпичья голова...

Кэнири немного разнежился на солнышке. Оно так весело поблескивает на изломах торосов, так ласково пригревает! Тепло, приятно — не то, что зимой, когда в жгучий мороз подкарауливаешь тюленей у разводьев. А сейчас совсем не хочется уходить.

Между тем уходить уже пора, пожалуй. Бригадир велел в восемь часов утра быть у вельбота, там кое-какую починку надо произвести. Наверно, уже восьмой час. Или нет еще?

Сегодня Кэнири встал совсем рано. Никто не видел, как он отправился на припай. Он собирался поохотиться немного, а к восьми вернуться. Ну, в крайнем случае, к девяти. Вельбот не зверь, сам в море не уйдет. Можно будет и с девяти приступить к ремонту.

Но охота — это такая штука, от которой очень трудно оторваться. Особенно, если охота оказывается такой удачной, как сегодня. Кэнири почему-то уверен, что скоро ему удастся подкараулить и третью нерпу. А уж тогда можно сразу вернуться в поселок.

Однако третьей нерпы всё нет и нет. Что же, можно и подождать. Кэнири сидит на мягком охотничьем мешке из тюленьей кожи, спиной прислонился к обломку старого тороса. Такое удобное местечко выбрал, что можно хоть целый день просидеть не шевелясь. А это для охотника — первейший закон: не шевелиться, ни одним движением себя не выдать.

Наверно, Кэнири слишком строго соблюдал этот закон — так строго, что в конце концов задремал, убаюканный ласковым солнцем, легким ветерком, ленивым колытанием волн, ленивым течением своих мыслей. Голова его падает на грудь, и от этого он просыпается.

«Ну, значит, надо возвращаться, — думает Кэнири. — А то еще разомлеешь тут совсем, заснешь».

Он представляет себе, как притащит домой свою добычу, как встретят его ребята. Каждому из них — всем четверым — он даст по одному нерпичьему глазу — это их любимое лакомство. Но жене уже не придется полакомиться нерпичьим глазом, да и самому Кэнири тоже не придется. Вот если бы вынырнула еще одна нерпа, тогда хватило бы на всю семью.

Далеко в море появились два пароходных дымка. «О, уже навигация открылась!» — думает Кэнири. Он начинает размышлять об этих пароходах, о том, сколько дней они уже находятся в пути, откуда и куда идут... Кэнири решает посидеть здесь еще немного — до тех пор, пока дымки не окажутся прямо перед ним. По его расчетам, это произойдет через полчаса, не позже. Когда можно будет смотреть на дымки, не поворачивая голову вправо, тогда Кэнири пойдет домой. Появится за это время третья нерпа — хорошо; не появится — тоже не беда. Две нерпы — тоже неплохо.

Приняв такое решение, Кэнири засыпает. На этот раз

голова его не падает на грудь, а плавно опускается на плечо. Ему снится, что он идет по улице поселка со своей охотничьей добычей. Несколько человек попадаетея ему навстречу, среди них старый Мэмыль. Старик рассматривает одну нерпу, потом другую и говорит: «Вот что значит меткий стрелок! Смотрите, — оба раза он попал в голову, а глаза у обеих нерп целые. Молодец!» Кэнири во сне улыбается. Похвала всегда приятна, а особенно похвала Мэмыля, который так часто ругал Кэнири лодырем, лежебокой. И на собраниях ругал, и даже в стенной газете. А теперь вот хвалит, молодцом называет. Нет, Мэмыль всё-таки справедливый старик! Кэнири скромно переводит разговор на другую тему. Он спрашивает, сколько сейчас времени. «Половина восьмого», — отвечает счетовод Рочгына, стоящий рядом с Мэмылем. «Ну, тогда я пойду, — говорит Кэнири. — Пойду, поташу домой нерп. Мне к восьми в бригаду нужно».

Вот снится ему, — он уже дома; он протягивает нерпичий глаз своему маленькому Кольке. Тот берет обеими руками и запихивает себе в рот, за щеку. Щека раздувается, становится огромной, невероятно огромной. Нерпичий глаз просвечивает сквозь нее, он виден всё яснее и яснее. Нет, это не нерпичий, это глаз Мэмыля. Старик щурится и сурово говорит: «Эх, ты! Опять от работы отлыниваешь? Тебя в бригаде дожидаются, а ты на припай бегашь?» Кэнири становится стыдно и холодно под этим взглядом, он хочет отвернуться, но никак не может. Он хочет ответить, что еще успеет и в бригаду, но ответить тоже не может.

К счастью, прищуренный глаз Мэмыля исчезает. Кэнири видит себя в море, на вельботе. Мотор выключен, вельбот мерно покачивается на волнах...

Когда Кэнири проснулся, ему показалось вначале, что он, как и в первый раз, вздремнул лишь на одну секунду. Поискал глазами пароходные дымки, но не нашел их. Куда же они могли деваться? Неужели он спал так долго, что пароходы уже прошли и дымки скрылись за горизонтом? Кэнири встал, сладко зевнул, потянулся, потер руками бока. Прохладно что-то стало, солнце уже не так пригревает. Он нагнулся, чтобы связать нерп, и вдруг почувствовал то самое покачивание, которое ощущал во сне. Выпрямившись, он посмотрел в сторону берега и застыл в ужасе. Нерпы выпали у него из рук. Он плыл по морю

на оторвавшейся от припая льдине! Перед ним темнела вода. Далеко, недостижимо далеко виднелся зубчатый край припая, а поселка совсем уже не было видно.

Кэнири бросился к самому краю льдины и закричал изо всех сил. Он ревел, как раненый зверь, без слов, без надежды, размахивал руками над головой, топал ногами. Потом, сразу обессилев, упал, но хриплые крики еще вырывались у него из глотки.

Через несколько минут этот приступ отчаяния прошел. Кэнири сел и уставился глазами в ту сторону, где должен был находиться поселок. Что же теперь делать?

Сколько ни старался Кэнири, придумать не мог ничего. Оставалось только одно — ждать. Ждать спасения, постараться продержаться как можно дольше. У него есть две нерпы. Есть двенадцать патронов — это еще, можно сказать, двенадцать нерп! Ну, по крайней мере, десять, не меньше. Пищи хватило бы надолго — на такой срок, на какой он и рассчитывать не может: льдина так долго не продержится.

Да, с голоду он, наверно, не умрет, — главная опасность не в этом. Главная опасность в том, что льдина будет с каждым днем становиться всё меньше, всё тоньше, всё ненадежнее. Наступит время, когда она совсем растает, раскрошится. Если спасение не придет раньше, чем наступит это время, — Кэнири никогда уже не увидит своих детей, жены, товарищей. Если его не спасут, пока льдина еще держится, — он погибнет.

Кэнири стал вспоминать охотников, которых уносило на льдине. Ирына, сына резчика Гэмауге, унесло, когда он был еще мальчишкой. Лет пятнадцать ему тогда было. Кэнири хорошо помнит этот случай, он сам тогда участвовал в поисках. Ирына уже считали погибшим, но дней через десять мальчик вернулся. Его привезли охотники из соседнего поселка, они подобрали его, совсем уже обессилевшего, на льду.

Когда-то, говорят, Мэмыля тоже унесло. Это было давно. Кэнири еще не было тогда на свете. Мэмыля, правда, далеко унесло, к чужому берегу прибило, он, говорят, семь лет в чужих краях скитался. Но в конце концов вернулся всё-таки в родной поселок. Вернулся всё-таки!

Но и того и другого уносило зимой. Тут и сравнивать нечего! Зимой льдина — всё равно, что плот. Хоть целый

месяц на ней плавай, хоть два. Не растает. А весной... Вот, говорили, из Усть-Амгуемы позапрошлой весной одного охотника унесло. Так и не нашли его. Наверно, льдина была небольшая, быстро растаяла. В такое время человек на льдине долго продержаться не может: прогреет ее солнце, подточат ее волны, и распадется она на маленькие кусочки, как распадается сахар в стакане чая.

Кэнири так остро, так мучительно захотелось оказаться сейчас дома, за столом, перед кружкой горячего чая! Приложить к кружке обе ладони, погреть их, вдохнуть в себя теплый ароматный пар, пить мелкими глотками... Эх, хоть бы один глоточек!

Казалось, с первого момента, с первой секунды, когда Кэнири увидел, что находится на оторвавшейся льдине, он должен был понять всю серьезность своего положения. Однако, чем больше он думал, тем яснее становилось ему, что надежд на спасение мало, ничтожно мало. Он вспоминал детей — и сразу появлялась мысль: «Наверно, я никогда больше не увижу их». И к догадкам о том, что ждет его, прибавилась вдруг ясная мысль о смерти. Если в первые секунды он испытал животный ужас, то теперь его томила тоска, холод проникал в самое сердце.

Медленно поднялся Кэнири и побрел к своему охотничьему мешку. Нужно двигаться медленно, осторожно, нужно беречь этот кусок льда, от которого зависит жизнь. Кэнири сел на мешок и снова задумался. Солнце было уже совсем низко.

Он думал о доме, о семье. Жена, наверно, уже беспокоится... А может быть, и не беспокоится, — сколько раз случалось, что Кэнири возвращался домой гораздо позже! У нее и так много хлопот: четверо ребят — две пары двойняшек. Старшим по три года, младшим — почти по полтора.

В бригаде тоже привыкли к его отсутствию. Может, бригадир заходил к нему домой, узнал, что Кэнири еще рано утром ушел куда-то с ружьем. Выругался, наверно, бригадир, махнул рукой и пошел дальше по своим делам.

Ведь никто не знает, куда направился Кэнири! Нет, его еще не ищут, никто даже не тревожится о нем. Поиски могут начать с завтрашнего утра, не раньше. Когда узнают, что он и ночью не возвращался домой.

Солнце коснулось горизонта. На поверхность моря легла чуть колеблющаяся золотая дорожка — от льдины

до того места, где огненный диск прикоснулся к воде. Вот нижняя часть диска уже скрылась за горизонтом. Вот и весь он скрылся — будто утонул. Погасла золотая дорожка, стало темнее. Но Кэнири знает, что не пройдет и получаса, как солнце снова полезет вверх, снова начнет растапливать льды. Оно выплывет вон там, чуть левей того места, где опустилось.

* * *

Не такой Кэнири человек, чтобы тосковать много часов подряд. Даже если ничто не изменилось к лучшему, если нет никаких причин чувствовать себя веселее, чем вчера, — всё равно. Просто не умеет он долго предаваться унынию. Даже самые печальные, самые безнадежные обстоятельства могут выработать в его душе только незначительное количество печали, которого хватает лишь на короткое время. Обстоятельства остались прежние, а печали уже нет, вся вышла.

Утро выдалось довольно пасмурное, и Кэнири сумел найти в этом некоторое утешение: льдине такая погода, конечно, менее опасна, чем солнечная.

Течение постепенно уносило его к северу, всё дальше в Чукотское море. Но если как следует присмотреться, берег еще можно было разглядеть. Узенькую светлую полоску, почти сливающуюся с облаками. Ничего, для тех, кто будет искать Кэнири, такое расстояние — ерунда. Они ведь выедут на моторном вельботе, у них будет с собой бинокль.

Прежде всего Кэнири обошел всю твердь, еще оставшуюся в его распоряжении. Придирчиво осмотрел каждую трещинку. Больших трещин он не нашел, только несколько маленьких, у самых краев. За ночь откололся лишь один кусочек величиной с нерпу. Он плыл теперь метрах в тридцати.

Льдина была порядочная, на ней вполне уместилась бы целая яранга. Почти ровной шеренгой торчало на льдине несколько торосов, одни — в рост человека, другие немного повыше. Между двумя средними торосами стояла лужица пресной воды, образовавшаяся из растаявшего снега. По морю, на большом расстоянии друг от друга, плавало много таких торосистых льдин, оторванных от берегового припая.

На всякий случай Кэнири перенес на середину льди-

ны всё свое имущество: ружье, две нерпы, кожаный мешок, охотничий посох, закидушку для вылавливания убитых нерп из воды.

Потом разделал обеих нерп, выпотрошил их и положил под один из торосов. Позавтракал нерпичьей печенкой. Пришлось, правда, съесть сырую, но это не испортило настроения Кэнири. Зубы у него крепкие, такими зубами можно лахтаций ремень разжевать — не то что сырое мясо. А что касается вкуса... непривычно малость, но Кэнири успел так проголодаться, что ему теперь и не то показалось бы вкусным.

Он закусил холодным, солоноватым нерпичьим глазом, запил водой из пресной лужицы. Собрал весь еще не растаявший снег и с южной стороны лужицы сложил из него стенку. Теперь, если даже прояснится, вода окажется в тени, не будет испаряться. А главное — весь снег, растапливаемый солнечными лучами, не будет зря стекать в море, а потечет в лужицу, пополняя запасы пресной воды. Очень довольный своей выдумкой, Кэнири отовсюду по пригоршне собирал слежавшийся желтоватосерый снег, пока стенка не дошла ему до пояса.

Чем теперь заняться? Кэнири сел на мешок и стал чистить ружье. Может быть, вчера, когда он впервые обнаружил беду, нужно было дать несколько выстрелов? Нет, никто, конечно, не обратил бы на них внимания. Мало ли кто из охотников стреляет в окрестностях поселка. Когда он по нерпам стрелял, это ведь никого не встревожило. И вообще — стоит ли расстраиваться из-за того, чего не сделал вчера? Ведь этого уже не воротишь! Кэнири даже стало смешно, когда он вспомнил, как ревел и топал ногами. Хорошо, что никто этого не видел.

Какая в конце концов разница — вчера бы его начали искать или сегодня? Ну, проплавает на несколько часов больше — только и всего. Мясо есть, пресная вода есть, льдина еще недельку, наверно, продержится. По крайней мере, будет о чем порассказать, когда вернется в поселок.

Теперь-то уж поиски, конечно, начаты, — значит, особенно волноваться не о чем... А вдруг не начаты? А что, если его совсем не станут искать? Прежде всего жена, конечно, побежит к Вамче, к председателю колхоза. А вдруг Вамче не захочет посылать людей на поиски? «Что? — спросит. — Пропал твой Кэнири? В море, думаешь, унесло? Ну что ж, туда ему и дорога. И тебе без

него легче будет, и нам. Какой толк от этого бездельника? Не буду я из-за него хороших людей отрывать от работы, на риск посылать. Да и вельботом рисковать не стану. В море еще льдов много, затрет льдами вельбот, — что я тогда делать буду? Нет, мне сейчас люди здесь нужны, в колхозе».

А если старый Мэмыль, член правления, будет в это время у Вамче, так он еще и от себя прибавит: «Я, — скажет, — никогда от этого Кэнири добра не ждал. Никудышный он человек. Хвастун, лодырь. Мало мы с ним возились? И ругали, и уговаривали, и из бригады в бригаду переводили. Казалось, — опомнился, одумался, начал работать. Смотришь, — опять лодыря гоняет. Сам он виноват, что попал в беду. Пусть теперь сам и выпутывается, если сумеет».

Кэнири усмехается, протирая ружье: никогда, конечно, ничего подобного не скажет ни Вамче, ни Мэмыль. Вамче, наверно, сам поехал на поиски. Да и Мэмыль охотно поехал бы, только скорее всего — не взяли старика. Нет, в том, что поиски уже начаты, сомневаться не приходится.

И всё-таки Кэнири ощущает неловкость от слов, которые сам только что приписал своим односельчанам. Пожалуй, слова эти не очень далеки от истины, его действительно не раз ругали за лень, за хвастовство, за нежелание работать по-настоящему, с душой. Да, пожалуй, эти упреки справедливы.

Что он, собственно, представляет собой, какая от него польза колхозу? Он отлично стреляет, но, чтобы быть хорошим охотником, этого еще мало. Нужны еще выносливость, упорство. Во время стрельбы по мишеням он не отстает ни от Ринтувги, ни от Унпэнэра. Разве что на несколько очков. А ведь это знатные охотники, их добыча всегда в десятки раз больше, чем у Кэнири. Их портреты всегда на Доске почета висят. Видно, есть у них что-то такое, чего ему не хватает.

У Кэнири ловкие руки. Однажды в подарок отцу своей жены он смастерил такую ладную нарту, что весь поселок любовался. А когда Вамче поручил ему сделать такую же нарту для оленеводческой бригады, Кэнири взялся было, но никак не мог довести дело до конца. Так до сих пор и не сделал.

А сколько раз его ругали за отлынивание от колхоз-

ной работы! То он в тундру уйдет с ружьишком, то в самую горячую пору уедет дня на два в соседний поселок, прослышав, что в тамошнем магазине появились новые галстуки; то заберется на Полярную станцию поиграть с фельдшером Алексеем Вадимычем в шахматы или в шашки.

Кстати, о шахматах. В колхозе «Утро» Кэнири — первый шахматист. И не только в колхозе, — в прошлом году он на районных соревнованиях занял одно из первых мест. Потом его даже в Анадырь посылали, на окружные соревнования. Но большинство колхозников не ценят этого, особенно правленцы.

Правда, в Анадыре Кэнири оплошал, оказался на предпоследнем месте. В Магадан, на областной турнир колхозных шахматистов, его уже, конечно, не послали. А победитель — пастух Айгынто с Большого Анюя — перед отъездом в Магадан сказал: «Ты, Кэнири, хорошо мог бы играть, только теории совсем, видно, не знаешь. Тебе надо по-настоящему за теорию взяться»...

Кэнири отложил ружье, поднялся, огляделся: похоже, в этом мире он один-единственный жилец. И даже не на земле, а на воде! Да, будет чем удивить семью...

Он снова взялся за ружье и снова погрузился в мысли.

А много ли от него пользы семье? Тэюнэ вдвое больше трудодней вырабатывает, чем он. Вся семья на ней держится. Она в пошивочной бригаде одна из первых мастериц; лучше ее работает только старуха Рультынэ.

Мысли Кэнири с обычной для них легкостью переносятся на жену, на детей и быстро утрачивают свое самокритичное направление. Кэнири с гордостью думает о жене, как будто не старуха Рультынэ, а он сам научил ее нашивать узоры на одежду из оленёнковых шкур.

С особой нежностью вспоминает Кэнири своих двойняшек. Две пары! Не каждому выпадает такое счастье. Правда, получилось это само собой, тут ни ему, ни Тэюнэ особенно гордиться не приходится. Но не даром всё-таки, когда родилась вторая пара, об этом даже в газете писали. И Тэюнэ из родильного дома целый месяц врачи не выпускали, — заботились о мальчиках, боялись, как бы не застудились они в дороге. А потом, когда пришел пароход с бревенчатыми срубами домов, один из этих сру-

бов предоставили Кэнири. Специальное было на этот счет постановление окрисполкома.

Что они сейчас делают, малыши? Старшие — Эйгели и Омрылькот — видят, наверно, что мать грустная, понимают, что с отцом случилось несчастье. Да и младшие уже всё понимают, им ведь уже по году и пять месяцев. Одного Колей звать, другого Сашей. Это Тэюнэ захотела русские имена ребятам дать — в честь докторов, которые их выхаживали. Одного доктора звали Николаем Петровичем, а другого — старшего врача — Александрой Ивановной.

Кэнири охотно согласился с женой. Пусть называет ребят Николаем и Александром. А сейчас ему впервые приходит в голову, что, если у мальчиков русские имена, так им, когда вырастут, пожалуй, и отчество потребуется. А? Вырастут, кончат школу, поедут в институт. Кэнири хочет, чтобы его сыновья обязательно поступили в институт. Вон у Атыка сын в Ленинграде учится... Приедут сыновья Кэнири в Ленинград, там запишут их имена в толстую книгу. Так записывали самого Кэнири, когда он ездил в Анадырь на соревнования. Только у него не спрашивали отчества: здесь, на Чукотке, у каждого человека имеется одно только имя. А в Ленинграде не так, там, наверно, и отчество у сыновей появится. Как это будет? Николай Кэнирович? Вот это здорово! Александр Кэнирович?..

А что, если Колька никогда больше не увидит своего отца? Вырастет, расскажут ему, что Кэнири лентяем был, никудышным человеком... Мало ли что наговорить могут! Особенно — про мертвого...

Ни малейшей тревоги Кэнири сейчас уже не ощущает — он думает об этом нарочно, чтобы только подразнить себя. Ему почему-то кажется, что скоро, совсем скоро в море появится моторный вельбот. Надо только терпеливо дожидаться... Пока что можно вернуться к мыслям о малышах.

Если они будут когда-нибудь учиться в Ленинграде, так им, может быть, и фамилии понадобятся? Это соображение немного озадачивает Кэнири. Он знает, что отчество образуется от имени отца, — но откуда берется фамилия? Над этим он никогда не задумывался раньше. «Вот, например, дядя Степан, школьный сторож. Степан Андреевич Кабицкий. Значит, отца его Андреем звали.

Но почему «Кабицкий»? Надо будет разузнать, спросить у дяди Степана. Или лучше — у фельдшера спросить, у Алексея Вадимыча. Наверно, фамилии можно придумывать любые, так же как имена. Ну что ж, тогда можно придумать малышам красивые фамилии. Четыре красивые фамилии. . .»

Кэнири не хотел бы отрываться от этих приятных размышлений, но надо встать, взять посох и пойти на край льдины. Рядом плывет огромная ледяная глыба, айсберг; если он столкнется со льдиной Кэнири, — будет плохо. Удар может расколоть ее. Нужно стоять на краю и посохом отталкиваться от айсберга.

Только тогда, когда айсберг совсем уже рядом, становится видно, с какой скоростью несет на него льдину. Кэнири расставляет пошире ноги и нацеливается посохом в один из выступов быстро приближающейся глыбы. Но посох соскальзывает и, не удержав равновесия, Кэнири падает на лед. Вслед за этим слышится глухой удар.

Кэнири вскакивает и оглядывается. Так и есть, льдина расколота пополам. На той половине — ружье, мешок, закидушка. Кэнири перепрыгивает через трещину, падает, поднимается, хватается вещи, но перепрыгнуть с ними обратно уже не решается. А ведь там остались и нерпы и посох. Да и побольше та половина, пожалуй. Но трещина с каждой секундой становится всё шире, страшная, темная полоса воды лежит теперь перед Кэнири. Он и в первый раз не решился бы прыгнуть, если бы успел взглянуть на эту страшную полосу. Правда, она была тогда еще не такой широкой. Хорошо, что прыгнул сгоряча, не взглянув.

Кэнири быстро разматывает бечеву закидушки и бросает, не целясь. Острые железные зубья вонзаются в один из торосов на другой половине льдины. Бечева натягивается так туго, что звенит.

Если она сейчас оборвется, — пропадет тогда Кэнири. Без закидушки ничего не сделаешь. Без нее и ружье ни к чему: убьешь нерпу, а выловить всё равно не сможешь.

Туго натянутая бечева вонзается в руку. От напряжения у Кэнири пересохло во рту, дрожит всё тело. Но вот... Темная полоса перестала расширяться, льдина остановилась... Да, да! Вот она постояла секунду, как бы в раздумье, и начала медленно приближаться. Бечева перестала врезаться в руки, провисла.

Когда полоса воды между льдинами стала совсем узкой, Кэнири перешагнул через нее. Проверил, на месте ли нерпичьи туши, бросил на лед мешок и устало опустился на него. Провел сухим языком по сухим губам, повернулся туда, где стояла лужица пресной воды, и только теперь заметил, что льдина раскололась как раз в том самом месте. Заветной лужицы больше не существовало, вода вылилась в море, запасы снега, собранные с такой тщательностью, тоже рухнули в море.

Из всего, на что может опереться нога человека, оставался под Кэнири лишь небольшой кусок льда. Небольшая льдина — вдвое меньше, чем та, которой он обладал еще час тому назад. Такая, что и двух солнечных дней не выдержит.

И ни капли пресной воды.

* * *

Третьи сутки носило Кэнири по Чукотскому морю. Берегов уже не было видно. Иногда он принимал за берега ледяные поля, видневшиеся на горизонте, но вскоре убеждался, что эти поля, как и его самого, несет могучее морское течение.

Небо было гораздо яснее, чем накануне. Это не предвещало ничего хорошего. «Надо менять кочевье, — думал Кэнири. — И как можно скорее».

Он решил при первой же возможности перебраться на более надежную льдину. Теперь у него уже был некоторый опыт. Но, как назло, за всё утро поблизости не проплыла ни одна льдина, на которую стоило бы перебраться.

Кэнири плотно поел, но сразу же пожалел об этом: утолив голод, он еще сильнее стал страдать от жажды.

Один раз до него донесся отдаленный рев моржей. «Правду сказал Унпэнэр, — подумал Кэнири. — Ревут уже клыкастые. Как это Унпэнэр умудряется услышать их раньше всех? Почти каждую весну он их первым слышит! И раньше всех начинает готовиться к промыслу».

Мысли Кэнири снова обратились к родному поселку, но сегодня они были менее веселыми, чем вчера утром. Уверенность в благополучном исходе не была уже такой твердой. Снова подумал он о дурной своей славе, и на этот раз опасения, нелепость которых вчера была ему

очевидна, показались не столь уж нелепыми. «Искать-то, конечно, будут, да весь вопрос в том — как искать? Если бы того же Унпэнэра унесло, или Ринтувги, или самого Вамче, так, пожалуй, давно бы их нашли. Не один вельбот послали бы, а все вельботы, все байдары, какие есть у колхоза».

Впервые с тех пор, как оторвало от припая льдину, Кэнири начинает томительно ощущать свое одиночество. Да, пожалуй, и за всю свою жизнь он впервые испытывает это чувство.

К полудню метрах в двадцати от него появилась льдина порядочных размеров, окруженная плотным кольцом битого льда. Кэнири метнул закидушку и оказался таким образом на буксире у этой льдины. Однако подтянуться вплотную он не мог: мешал битый лед — густая кашицеобразная масса. Как ни старался Кэнири пробиться, разгоняя посохом эту массу, — ничего у него не получалось. Если и удавалось отогнать какой-нибудь кусок льда, на его место в то же мгновение устремлялось несколько других.

Но отказаться от своего намерения Кэнири не хотел: там, на большой льдине, еще лежал кое-где снег — это пресная вода! Сейчас для Кэнири это было важнее всего. Даже важнее, чем необходимость как можно скорее сменить углый осколок на более надежное пристанище, которому не были бы так опасны лучи весеннего солнца, пригревавшего всё чувствительней.

Среди массы мелкого льда было несколько льдин, которые могли, казалось, выдержать тяжесть человека. Кэнири решил перебраться по ним. Это было довольно рискованно, но другого выхода он не видел.

Размахнувшись, он перекинул на большую льдину охотничий мешок. Ружье надел через плечо, бечеву закидушки крепко привязал к поясу. «Пусть нерпы пока здесь остаются, — решил он. — Их и оттуда можно будет достать».

Несколько раз проверив посохом прочность и устойчивость ближайшей льдины, Кэнири прыгнул на нее. Потом на вторую, на третью. Когда до цели оставалось уже совсем немного, он поскользнулся, упал на колени. Льдина резко качнулась, и Кэнири соскользнул в воду.

Он барахтался в воде, покрытой ледяной крошкой, тщетно пытался ухватиться за большую льдину. Ружье

и намокшая одежда тянули его книзу. Несколько раз он погружался с головой. Один раз ему долго не удавалось всплыть, будто волны уже навсегда сомкнулись над ним. Но он снова вынырнул, выплевывая горькую морскую воду, и снова барахтался — отчаянно, ожесточенно, из последних сил.

Бечева закидушки, привязанная к поясу, случайно попала ему под руку. Он не помнил о ней, он вначале отдернул руку, чтобы не запутаться. И только тут понял, что бечева может спасти его. Проворно работая руками, он стал перехватывать бечеву, с каждым движением подтягиваясь к большой льдине всё ближе и ближе. Он снова ушел под воду, но и там, сжав зубы, продолжал перебирать руками, пока они не коснулись края льдины.

Наконец, он вылез и, тяжело дыша, лег на лед лицом. Из рта его, из носа и ушей текла вода. Ломило голову, особенно затылок. Всё лицо и руки были испарапаны битым льдом, из царапин сочилась кровь.

Переведя дыхание, Кэнири прополз несколько шагов и стал жадно грызть слежавшийся снег.

Потом он повернулся на спину и хотел немного отдохнуть, но мокрому, во всем мокрому, ему было так холодно, что он нашел в себе силы встать и раздеться догола.

Озябшее тело было жестким, синеватым. Кэнири растер себя снегом и сразу согрелся. Затем он высвободил закидушку, железные зубья которой глубоко вонзились в лед, и, натянув бечеву между двумя торосами, развесил одежду. Оттянутая тяжелой, мокрой одеждой, бечева сразу провисла.

Кэнири стал искать посох и нашел его на окружавшей льдину массе битого льда — видимо, выронил, когда падал. Посох был близко, Кэнири достал его и подпер бечеву закидушки, превращенную в бельевую веревку. Видела бы Тэюнэ, как ловко он всё это проделал! Как самая заправская хозяйка.

Только теперь Кэнири вспомнил о нерпичьих тушах, лежавших на оставленной льдине. Рванул было сбрасывать с бечевы одежду, но тут же увидел, что никакой закидушкой их уже не достать: волны отнесли его старую льдину, — она плыла теперь в доброй сотне метров.

Это не очень опечалило Кэнири. Раз есть патроны — будет и пища. Накануне он несколько раз замечал поблизости нерп, высывавших из воды свои круглые головы.

Он только не хотел стрелять, пока рядом лежали две нерпичьи туши.

Сидя на кожаном мешке, поджав под себя голые ноги, Кэнири тщательно протер ружье. Солнце пригревало, а когда оно скрывалось за облачком и в воздухе сразу становилось прохладнее, Кэнири начинал проделывать такие телодвижения, каких не отыскать ни в одном учебнике гимнастики.

Морской ветер и солнечные лучи довольно быстро просушили одежду. Одевшись, Кэнири сел с ружьем у края льдины — поджидать нерпу.

Как был он теперь непохож на всегда беспечного, всегда щеголеватого Кэнири! Если обычно он легко примирался лишь с дырами на штанах, на торбазах, словом — не выше пояса, то сейчас вся его одежда была изорвана, измята, а он этого даже не замечал. Лицо его осунулось, покрылось царапинами, синяками.

Он сидел у края льдины, как два дня назад сидел на краю берегового припая, и, прищутив глаза, следил за поверхностью моря — не покажется ли где-нибудь нерпа. Раза два нерпы показывались, но недостаточно близко. А Кэнири решил, что будет бить только наверняка.

Когда он смотрел вверх, на небо, по которому проплывали легкие светлые облака, у него было такое ощущение, будто и льдина тоже плывет по воздуху, чуть покачиваемая ветром. Тишина была такая, что в ней мерещился далекий-далекий, ровный, неумолчный звон. Лишь изредка с громким плеском падал в воду отвалившийся кусок льдины. И снова воцарялась тишина.

Вдруг Кэнири услышал какой-то однообразный звук. Или ему почудилось? Но отдаленный звук нарастал, звучал всё явственнее. «Мотор!» — подумал Кэнири и, вскочив на ноги, стал всматриваться в море, надеясь увидеть среди волн моторный вельбот.

Вельбота не было, но Кэнири уже не сомневался, что слышит монотонный гул мотора. Кэнири стал напряженно прощупывать глазами небо и, наконец, увидел летящий вдалеке самолет. Неужели он пролетит мимо, неужели летчик не заметит человека, стоящего на льдине?

Кэнири схватил ружье и выстрелил два раза. Самолет пролетел еще немного и круто повернул обратно.

«Услышал! — обрадовался Кэнири. — Услышал!» Но самолет почти не приближался. Он пролетел некоторое

расстояние и опять повернул — он просто кружил над морем. Кэнири понял, что самолет этот послан на поиски.

Тогда Кэнири снова стал стрелять — это было не только сигналом, но и приветственным салютом. Кэнири не мог ждать, пока летчик сам отыщет его. Радость рвалась наружу, нетерпение двигало руками, заряжавшими ружье. Боязнь, что летчик всё-таки не заметит его, заставляла стрелять всё снова и снова, пока не кончились патроны.

Бросив ружье, Кэнири стал бегать по льдине. Со стороны могло бы показаться, что человек обезумел, но в действительности им руководил правильный расчет. Он рассудил, что человека, стоящего на месте, издали гораздо труднее приметить, чем бегающего.

Вскоре, однако, он остановился. Самолет улетал. Кэнири долго смотрел ему вслед.

Теперь можно было подвести итог. Самолет не обнаружил его. Патронов больше нет. Пищи нет и нечем добыть ее.

И всё-таки положение не казалось Кэнири безнадежным. После того, что произошло сегодня в полдень, после того, как ему удалось выбраться из воды на льдину, радостное ощущение победы не оставляло его. К этому прибавилась теперь уверенность в том, что поиски ведутся при помощи самолета. Если уж вызвали для поисков самолет, так найдут, обязательно найдут!

Отчего, собственно, приходит в отчаяние? Льдина большая — не то, что тот осколок, на котором он был еще сегодня утром. Снега на ней много, в трех местах — лужицы пресной воды. Когда есть чем утолить жажду, можно некоторое время и без пищи продержаться. Хороший охотник должен быть терпеливым.

А вдруг осколок с нерпичьими тушами прибьет обратно? В глубине души у Кэнири еще теплилась такая надежда. Вон попрежнему качается на волнах этот осколок. Даже нерпичьи туши видны. Как отнесло его, так и обратно может прибить. Пусть хоть приблизится на длину бечевы, а уж Кэнири не промахнется!

Правда, можно было не оставлять туши на той льдине. Теперь Кэнири понимает, что можно было разрезать их на части и перекинуть сюда, как он перекинул охотничий мешок. Наконец, нужно было положить в мешок хоть несколько хороших кусков мяса. Но тогда Кэнири

не подумал о такой простой предосторожности. И немудрено: у него было тогда еще двенадцать патронов!

Кэнири старается убедить себя, что еще не должен испытывать голода. Ведь он уже ел сегодня — и ел много. Если бы нерпичьи туши лежали здесь, рядом, он, наверно, и не притронулся бы к ним сейчас.

Чувствуя, что увещания не влияют на желудок, Кэнири принимает другие меры: он пьет воду из лужицы и потуже затягивает ремень.

К концу дня погода ухудшается, облака становятся гуще. Под низовым, порывистым ветром морская гладь покрывается бесчисленным множеством морщин.

Теперь пасмурная погода уже не радует Кэнири. Летчик, чего доброго, может отложить поиски. Побойтся, пожалуй, сделать очередной вылет, скажет, что видимость стала плохая.

Кэнири бросает недовольный взгляд на сморщившуюся поверхность моря. «Как живот у столетней старухи», — досадливо думает он. А между тем морщины и складки постепенно превращаются в волны — не в те спокойные волны, которые тихо покачивали льдину весь день, а в злые, шумные, пенные.

В голову Кэнири снова закрались сомнения. Он решил вдруг, что самолет искал не его, а кого-то другого. Мало ли кого еще могло унести на льдине! Побережье большое. Охотников и рыбаков много. Может, унесло какого-нибудь знатного человека, из-за которого не жаль и самолет вызвать?

А возможно, что и не в этом дело. Возможно, что этот самолет вообще никого не искал, а производил разведку льдов. Или стада моржей выслеживал. У каждого свои дела, не могут же все заниматься поисками охотника Кэнири!

Ветер разрывает пелену облаков, и оказывается, что солнце еще не зашло. На горизонте Кэнири видит тонкий дымок парохода. Дымок медленно движется с востока на запад. Далеко, очень далеко! Какая б ни была глотка, всё равно не дозовешься. Какие бы ни были бинокли на пароходе, — всё равно не увидят тебя оттуда. Морские дорожки широки, десятки кораблей могут пройти по Чукотскому морю и ни один из них не окажется, может быть, вблизи от Кэнири.

А волны становятся всё злее, переворачивают неболь-

шие льдины, сталкивают их друг с другом, разбивают в мелкие осколки. Кэнири не переставая следит за льдиной, на которой лежат нерпичьи туши, видит, как она становится на дыбы, как, падая, она сталкивается с другой льдиной и разлетается вдребезги. Кэнири весь передергивается, представляя себе, что случилось бы, если б он оставался там.

Он так смертельно устал, так переволновался за этот день, что ничего уже не может делать, ни о чем не хочет больше думать. Сон валит с ног. Но он решает сначала поставить на своей льдине флаг. Всё-таки льдина будет тогда приметнее. Флаг могут ведь заметить даже тогда, когда Кэнири будет спать.

Кэнири стаскивает с себя рубашку и привязывает ее к посоху, а посох прикрепляет бечевой к самому высокому торосу льдины. Теперь флаг виден далеко. Ничего, что без рубахи будет похолоднее.

С льдиной, на которой находится Кэнири, волны пока что не могут справиться. Для них она слишком велика и к тому же защищена с краев плотной массой битого льда. Эта масса смягчает удары волн. И всё же льдину качает гораздо сильнее, чем качало днем. Похоже, что буря разгуляется по-настоящему.

На всякий случай — чтобы не скатиться в море — Кэнири привязывает себя к торосу, под которым лежит. Он делает это уже почти бессознательно, непослушными, обессилевшими руками. Он чувствует, что впадает в забытие, не успев затянуть последний узел; заставляет себя очнуться, затягивает узел, шепчет: «Теперь буду спать». И сразу проваливается в глубокий, как море, тяжелый сон.

* * *

Никакие звуки не доходили теперь до сознания Кэнири. Ни шум волн, ни треск разбиваемых льдин не могли проникнуть сквозь этот сон, как не могли бы проникнуть они к нему, если бы он лежал на дне моря. Ничем, казалось, невозможно разбудить его теперь...

Ничем, кроме того однообразного, рокошущего гула, который он уже слышал вчера.

Вначале Кэнири подумал, что это сон. Не хотелось открывать глаза, — боялся, что звук этот сразу исчезнет. Через минуту Кэнири всё-таки открыл глаза. Звук не оборвался.

Солнце еще только начинало подниматься над горизонтом, — Кэнири понял, что проспал не больше полу часа. Но силы уже вернулись к нему. Может быть, их возвратил не столько сон, сколько этот однообразный рокочущий гул, звучащий, как самая прекрасная музыка.

Самолет кружил над льдиной. Летчик еще издала метил флаг, а затем и человека, спящего под торосом. Человек зашевелился, стал отвязывать себя от тороса, вскочил, замахал руками.

Самолет развернулся и взял направление на льдину. Он летел теперь так низко, как будто собирался совершить посадку.

«Неужели он хочет сесть?» — с удивлением подумал Кэнири, невольно отступая. Ему казалось, что машина летит прямо на него. Он не очень хорошо разбирался в авиационных делах, однако понимал, что посадить самолет на такую льдину невозможно. Правда, буря, к счастью, не разыгралась по-настоящему, море уже успокоилось немного, но льдину еще порядочно качает. Да и не таких она размеров, чтобы служить аэродромом! И торосистая вдобавок!

Однако машина стремительно приближается. Слышен уже не монотонный, ровный гул, а рев, нарастающий с каждой долей секунды. Не выдержав, Кэнири падает и прикрывает голову руками. Падая, он видит какой-то предмет, отделившийся от машины.

Рев отдаляется так же быстро, как приближался. Кэнири поднимает голову и видит аккуратно упакованный тюк, застрявший между двумя торосами. Он не успевает еще распаковать тюк, как видит, что самолет, сделав круг, снова направляется к льдине.

Теперь Кэнири не падает. Он только приседает и то лишь тогда, когда машина, кажется, вот-вот заденет его крылом. Он хорошо видит летчика и, счастливо смеясь, машет летчику правой рукой, не отнимая левой от тюка.

Снова от самолета отделяется какой-то предмет. Это второй тюк. Но он сброшен не так удачно, как первый. Ударившись о льдину и несколько раз подпрыгнув, он скатывается в воду.

Кэнири, торопясь, принимается отматывать от тороса бечеву, которой привязан флаг, — иначе как закидушкой тюк не достать. Узлы затянуты на совесть, они не сразу поддаются.

А самолет всё кружит и кружит над льдиной. Только тогда, когда Кэнири отмотал бечеву, поймал тюк и вытащил его на лед, самолет поднимается выше.

Перед тем, как улететь, он трижды качнул крыльями. Кэнири понял, что летчик приветствует его. «Наверно, у летчиков так полагается», — подумал он. И, чтобы быть вежливым, он вытянул в стороны руки, нагнулся и трижды качнул руками — точно так, как самолет крыльями...

В тюках были упакованы самые различные вещи, о каких может только мечтать человек, унесенный на льдине в море. Здесь были и продукты, и теплая одежда, и аптечка, и палатка, и даже электрический фонарик с двумя запасными батарейками. Кэнири рассматривал каждую вещь, и каждая вызывала в нем такую радость, так нравилась ему, что он только присвистывал от восхищения.

Скоро в палатке деловито шумел примус, а сам Кэнири лежал на спальном мешке, ожидая, пока закипит чайник, и покуривая трубочку. Есть ему уже не хотелось: рассматривая содержимое тюков, он съел пачку печенья и две плитки шоколада.

Из всех вещей, обнаруженных в тюках, одна особенно сильно занимала его — главным образом потому, что он никак не мог понять ее назначения. Это была всего-навсего какая-то очень короткая палка из неизвестного Кэнири, прочного, но очень легкого материала. Судя по звуку, была она не сплошной, а представляла собой нечто вроде трубки, но открыть эту трубку Кэнири не мог, сколько ни старался.

Всласть попив горячего чаю и еще раз повертев в руках непонятную трубку, Кэнири залез в спальный мешок и сразу заснул. На этот раз, впервые за всё время, он проспал несколько часов подряд.

Проснувшись, он вышел из палатки и обвел глазами небо, море, горизонт. Море было спокойным, на небе — ни облачка. Солнце стояло высоко. Небольшая светлосерая птичка прыгала по льдине, поклевывая крошки печенья. Заметив Кэнири, она взлетела и села на воду неподалеку от льдины.

Кэнири долго слонялся по льдине, выискивая трещины и ямки, обследовал ее края и остался доволен: льдина еще продержится! Наслаждаясь счастливым ожи-

данием и тем, что его помнят на «Большой земле», Кэнири не знал, как убить время: заходил в палатку и выходил из нее; рассматривал красочные этикетки на всех консервных коробках; менял батарейки в электрическом фонарике; щедро смазал себе иодом все ссадины и царапины и даже забинтовал левую руку — не потому, что царапин на ней было больше, чем на другой, а потому, что на левой руке бинт почти не мешал. Еще раз оглядел небо, прислушался. Нет, всё тихо...

Может быть, поиграть в шахматы? Для этого в конце концов не так уж обязательно иметь партнера. Он расставит фигуры так, как они стояли в его последней партии с Алексеем Вадимычем, перед тем, как Кэнири проиграл ладью. Фигур потребуется немного, почти все уже были сняты с доски. Расставит и попробует сыграть по-другому.

Из печенья Кэнири составил на снегу шахматную доску. Получилась вполне приличная доска из белых квадратиков снега и желтых квадратиков печенья. Потом зашел в палатку и из картонной упаковки примуса вырезал аптечными ножничками несколько фигур. А когда снова вышел, — увидел целую стайку светлосерых птичек, растаскавших и энергично клюющих его шахматную доску.

Настроение у Кэнири было такое хорошее, что он даже не рассердился на них. Наоборот, он решил, что его малышам очень понравится рассказ об этой истории, — о том, как его «обыграли в шахматы» какие-то птички.

На солнце было теплее, чем в палатке. Кэнири скинул на лед куртку, и из кармана выпала палочка, секрет которой всё еще не был разгадан. Кэнири поднял ее, и на этот раз секрет открылся почти сам собой: палочка оказалась трубкой, в которую была вложена записка. Видимо, при падении стала на место резьба головки, и теперь головку трубки удалось отвинтить без труда.

С волнением развернул Кэнири записку. Торопливым но разборчивым почерком было написано:

«Тов. Кэнири!

Мы вас ищем третьи сутки. Не падайте духом, — спасем. Главное — найти. А раз нашли, — спасем.

В тюках всё, что вам необход. Если погода будет не хуже этой, завтра навещу.

Б а к ш е е в».

Вот оно что! Значит, это письмо от летчика! А трубка — это у них для таких случаев вместо конверта. Понятно. Наверно, он бросил ее одновременно с первым тюком, когда Кэнири лежал, прикрыв руками голову.

«В тюках всё, что вам необход.» О, да, здесь всё, что необходимо! Здесь гораздо, гораздо больше, чем необходимо! «Если погода будет не хуже этой...» А ведь погода утром была еще неважная, совсем неважная. Но Бакшеев не побоялся, полетел.

Всё яснее представляет себе Кэнири, как много народу заботится сейчас о его спасении. Он снова думает о том, как Тэюнэ прибежала с тревожной вестью к Вамче, но теперь эта сцена представляется ему совсем не так, как в первый раз. Вамче, наверно, растревожился, сразу дал радиogramму куда надо, оттуда выслали самолет. А пока что колхозники подтаскивали, наверно, по припаю вельбот, чтобы в любой момент спустить его на воду. Теперь Бакшеев уже указал им направление, и они, наверно, плывут, торопясь снять Кэнири со льдины.

Сколько людей беспокоится о нем! Радист, начальник аэродрома, летчик — совсем незнакомые люди. И не только они. Наверно, и в Анадыре знают, по всему побережью, может быть, велено следить за морем, искать.

Кэнири становится неловко. Что он — герой какой-нибудь, важный человек? Обыкновенный чукотский колхозник, охотник. А правду сказать, так себе колхозник, из отстающих. И в беду попал по собственной вине: зашнул на краю припая, не заметил, как льдину оторвало.

А сколько дорогих вещей ему сбросили с самолета! Может, это всё-таки ошибка? Неужели всё это предназначено именно ему? Да, в записке так и сказано: «Тов. Кэнири!» Никакой ошибки тут быть не может. Летчик Бакшеев сам написал его имя.

Хороший, видать, человек этот летчик! Отыскал-таки и вещи сумел на льдину сбросить, и еще от себя записку написал. Захотел подбодрить! «Не падайте, — написал, — духом, обязательно спасем!»

Кэнири перечитывает записку. Ему нравится в ней каждое слово, ему хочется что-нибудь очень хорошее сделать для этого летчика. «Бакшеев, — повторяет он про себя. — Красивая фамилия. Если фамилии можно давать, какие хочешь, то одному из малышей надо дать эту. Кольке хотя бы. Николай Кэниривич Бакшеев — вот как!»

К вечеру четвертых суток Кэнири был снят со льдины пароходом «Уэлен». Это произошло совсем не так, как представлял себе Кэнири. Он думал, что еще издали увидит вельбот, будет махать своим флагом, приветствуя спасителей, потом пожмет руки Вамче, Унпэнэру и Ринтувги. Почему-то казалось, что в вельботе будут именно они. О своих приключениях Кэнири решил не болтать до тех пор, пока его не станут расспрашивать: пусть охотники сразу увидят, что не такой уж он хвастунишка, каким его считали прежде.

Но всё произошло иначе. В море появился не колхозный вельбот, а большое грузопассажирское судно. Кэнири не махал флагом, а, истомившись ожиданием, спал в палатке. Пароход остановился, с него спустили шлюпку, трое матросов высадились на льдину, а Кэнири всё не просыпался. Матросы даже начали тревожиться, но, приблизившись к палатке, услышали такое сладкое похрапывание, что все их тревоги сразу рассеялись.

За десять минут ледовый лагерь был ликвидирован. Всё погрузили на шлюпку, и еще через десять минут Кэнири стоял на палубе «Уэлена», улыбаясь окружившим его матросам.

Еще в шлюпке он пытался раздарить матросам запасы своих продуктов. Только пять плиток шоколада Кэнири разложил по карманам, объяснив, что это для Кольки и Сашки, для Эйгели, Омрылькота и Тэюнэ. Несмотря на протесты Кэнири, матросы смущенно засовывали консервные банки обратно в его охотничий мешок, пока рулевой не сказал: «Нехорошо, ребята, обижать человека. Берите, он ведь от всего сердца дарит».

На корабле Кэнири вверили заботам судового врача. Убедившись, что четырехдневное плавание на льдине и даже купанье в Чукотском море не принесли здоровью охотника ни малейшего ущерба, врач ограничился тем, что предложил ему принять душ. А так как Кэнири не имел в этом деле никакого опыта, врач охотно составил ему компанию, и оба они с большим удовольствием полоסקались под теплым дождевиком до самого ужина.

«Уэлен» шел пока что к берегу. Капитан снесся по радио с колхозом «Утро» и попросил прислать кого-нибудь за Кэнири. Он назначил пункт, находящийся километрах в пятнадцати от колхоза — западнее по

побережью. Ледовые условия не позволяли избрать более близкий пункт.

Две собачьих упряжки помчались по береговому припаю, на бегу огибая торосы. На передней нарте сидел старый Мэмыль, на второй — Ринтувги. Мэмыля решили послать потому, что из всех членов правления никто не умел так хорошо говорить, не обладал такой представительной внешностью, как он; уж он-то не ударит в грязь лицом, когда будет беседовать с моряками, и сумеет как следует поблагодарить их. Ринтувги — знатный охотник и самый сильный парень во всем колхозе — был послан на случай, если Кэнири так ослаб, что не сможет сам передвигаться.

Пароход и собачьи упряжки почти одновременно подошли к условленному месту. Шлюпка доставила посланцев колхоза «Утро» на борт «Уэлена».

Это был час ужина, и капитан пригласил всех в кают-компанию, к столу, одновременно попросив старпома поторопить врача и Кэнири, которые всё еще не вышли из душевой.

Они явились последними, довольные, покрасневшие. Врач на ходу застегивал китель. Кэнири причёсывал гребешком мокрые, иссиня-черные волосы. Все уже сидели за столом.

Кэнири усадили на почетное место — по правую руку от капитана. Он сел и не поверил своим глазам, когда увидел около себя Ринтувги. Они горячо обнялись.

— Ринтувги?! Откуда ты здесь?

— Здравствуй, Кэнири! Ну-ка, покажись. Мы только что приехали. Нас за тобой прислали.

— А кто еще приехал?

— Мэмыль.

— Где же он?

— Вон, рядом с капитаном.

Кэнири повернулся налево и увидел седую голову Мэмыля. Старик весело подмигнул ему, и за спиной капитана они потрясли друг другу руки. Но перекинуться словом они не успели, потому что капитан поднялся и начал держать речь.

Встреча с Ринтувги и Мэмылем очень обрадовала Кэнири. Да, он и Мэмылю вначале обрадовался. Он соскучился по родному поселку, по колхозу, по всему, что было привычным, знакомым с детства. Соскучился так, как

будто не четыре дня, а четыре года не был дома, не видел земляков. А ведь старый Мэмыль — это живая душа поселка, без него даже трудно представить себе родной колхоз.

Но вслед за тем Кэнири стал опасаться, как бы старик не сказал тут чего-нибудь неприятного. Этот старик никогда долго не молчит. Такая уж беспокойная у него натура.

Постепенно опасения Кэнири переходят в уверенность. Да, старик обязательно скажет, для того он и приехал. Осрамит перед всеми моряками! Начнет говорить о том, что Кэнири сам во всем виноват, что это известный лентяй и нарушитель трудовой дисциплины. . . Ох, не раз уже приходилось Кэнири выслушивать такие слова. Часто ругали его на собраниях, и, пожалуй, чаще всех ругал его именно Мэмыль. И зачем нужно было присылать сюда Мэмыля? Лучше бы сам Вамче поехал или попросил бы съездить учителя Эйнеса.

Но Кэнири слышит, что капитан говорит о нем, и на несколько минут забывает о своих опасениях.

— Мы все, — говорит капитан, — являемся свидетелями того, как был спасен товарищ Кэнири, охотник из колхоза «Утро». Мы все в некоторой степени являемся даже участниками этого спасения. Как только были начаты поиски, нам приказано было организовать усиленное наблюдение, установить специальную вахту для этого дела на всё время прохождения по Чукотскому морю. «Уэлен» еще только приближался тогда к Чукотскому морю, еще только по Берингову шел. И все суда, находившиеся в этом районе, получили такой же приказ. А когда летчик Бакшеев установил точное местонахождение товарища Кэнири и оказалось, что ближе всех к этому месту находится «Уэлен», нам приказали отклониться от курса, чтобы снять товарища Кэнири со льдины. Такое приказание было передано нам по радио непосредственно из Главного управления, из Москвы. И мы немедленно выполнили это приказание.

«Вот оно как!» — думает ошеломленный Кэнири. Ему было неловко, когда он понял, что не только в родном поселке, но и в Анадыре встревожены его судьбой. А тут, оказывается, даже в самой Москве беспокоились о нем! Беспокоились, заботились о том, чтобы не погиб в Чукотском море охотник Кэнири.

И, как бы отвечая на его мысли, капитан продолжает:

— Мы, советские люди, знаем, что во всем мире нет более ценного сокровища, чем человек. Этому нас учит партия. Велика в нашей стране забота о человеке. Вот почему мы так рады, что смогли принять участие в спасении товарища Кэнири. И теперь, товарищ Кэнири, прежде чем вы покинете борт «Уэлена», я от имени всей команды хочу пожелать вам здоровья, счастья и трудовых успехов!

Капитан, а за ним все остальные чокаются с Кэнири, поздравляют его. Осушив рюмку, капитан протягивает руку Мэмылю, потом Ринтувги и продолжает:

— А колхозу «Утро», представители которого здесь присутствуют, команда «Уэлена» желает всяческого процветания на благо каждого колхозника, на благо всей нашей великой Родины!

И тут встает старый Мэмыль. Так и есть, старик будет говорить. От огорчения Кэнири даже отодвигает от себя тарелку.

— Мне тоже пришла охота кое-что сказать, — начинает Мэмыль. — Я хочу большое спасибо сказать. И вам, товарищ капитан, большое спасибо, и всем вам, товарищи моряки! И за хорошие ваши слова, и за хорошие дела, за то, что выручили из беды нашего товарища — колхозника Кэнири.

Старик обводит всех взглядом и продолжает, остановив глаза на молоденьком моряке, сидящем против него:

— Правильно капитан говорил, — у нас теперь о простом человеке большая забота. Раньше не так было... Вот я вам расскажу, как раньше было. Ходил я на охоту вместе с братом. И унесло нас на льдине в море, обоих унесло. Молодые тогда мы были — ему двадцать лет, а мне еще меньше. Никто нас не спасал, никто не искал. Если охотник в море пропал, — значит, злые духи его забрали. Так шаманы говорили, — они всё валили на этих духов — на кэле. Нельзя, говорили, против кэле идти, нельзя спасать. Кэле себе жертву взяли. Вот как... Ну, проплавали мы две недели, изголодались, замерзли со всем. Зимой дело было, льдина не таяла, зато мы сами холодной льдины стали. Брат себе ноги отморозил. Наконец прибило к берегу. Только к чужому. Подобрали нас американские эскимосы. Брат через несколько дней умер, а я всё-таки выжил. И почти семь лет маялся там, пока удалось домой добраться. Почти семь лет!

Старик говорит медленно, тихо. Все внимательно слушают его. Вдруг, широко улыбнувшись, старик обращается к капитану:

— Я ведь тоже моряком был. Матросом на американской шхуне плавал. Только там капитан за свой стол меня не сажал, нет. Там такая собачья жизнь была, что хоть на нее вешайся. . . Ну, я это просто так вспомнил, для сравнения. Тогда судьба человека никого не интересовала. Пропал — и всё тут, будто тебя и не было никогда. Только отец с матерью поплачут. А теперь другая настала пора. Когда Кэнири пропал, нам для поисков сразу же самолет прислали, опытного полярного летчика дали. . . И запрашивали его по радио три раза в сутки: «Не нашли еще Кэнири? Нет? Ну ищите тогда, ищите, пока не найдете!» Вот какое теперь внимание к человеку!

И еще, — продолжает Мэмыль, помолчав, — еще я хочу сказать про самого Кэнири. Про него много рассказывать можно. . . Он у нас — отличный стрелок. Нарту сделать, байдару кожей обшить — в таких делах он, когда захочет, никакому мастеру не уступит. Кроме того, он еще и шахматист. Даже на районном турнире честь своего колхоза защищал и привез для колхозного клуба приз — три комплекта шахмат и три комплекта шашек.

Кэнири сидит, не поднимая глаз от стола. Мэмыль не преувеличивает, вовсе нет, всё это — правда. Но про Кэнири можно рассказать и многое другое. Почему это старик оказался сегодня таким добрым? Решил пожалеть? Вряд ли, на него это не похоже. Наверно, считает, что морякам незачем знать все проступки человека, которого они спасли. Пусть думают, что спасли хорошего человека, достойного. А самого Кэнири Мэмыль успеет и после выругать за лень, за легкомыслие, за то, что по его вине пришлось такую тревогу поднимать, столько государственных средств расходовать. . . А может, Мэмыль еще и сейчас повернет в эту сторону?

Все с уважением поглядывают на Кэнири, не подозревая о том, что творится в его душе. А старый помощник капитана — завзятый шахматист — жалеет, что не успел сразиться с таким партнером. Если бы знать заранее, уж он бы не уступил Кэнири доктору, не позволил бы тратить драгоценное время на душ!

— Вот, например, — продолжает старый Мэмыль, — один случай. Я сам об этом только сегодня узнал, мне то-

варищ Ринтувги рассказал. Они с Кэнири в одной бригаде, мы товарища Кэнири не очень давно в эту бригаду перевели. Как говорится, для укрепления. . . — Мэмыль скашивает глаза на Кэнири, — для укрепления дисциплины.

Кэнири исподлобья обводит моряков взглядом. Нет, кажется, они поняли старика совсем не так, как он. Они, наверно, решили, что не дисциплина Кэнири, а дисциплина бригады нуждалась в укреплении. Ох и хитрый же старик этот Мэмыль! . .

Но вдруг Кэнири замечает, что капитан улыбнулся и вроде переглянулся с Ринтувги. Может, пока Кэнири полоскался под душем, Мэмыль успел рассказать морякам и кое-что другое? Но о каком еще случае вспомнил сейчас Мэмыль?

— Им как-то пришлось руль-мотор через горы переносить, — говорит тем временем старик. — Впереди Ринтувги шел, нес на плече руль-мотор, а позади — Кэнири. Вообще-то, сами видите, Ринтувги — парень здоровый, для него такая ноша — шуточное дело. Но тут, на самой опасной тропке оступился он, упал на одно колено, зашатался. То ли руль-мотор из рук выпустить, то ли самому вместе с ним в пропасть лететь. . . Чувствует, что никак не удержаться. В этот момент Кэнири сзади подоспел, подхватил у него с плеча груз, выручил. И пронес Кэнири этот груз до привала — через самое опасное место пронес. Так дело было, товарищ Ринтувги?

— Так, дядя Мэмыль, точно. Если бы не Кэнири, — пропал бы тогда руль-мотор. Да и мне бы, наверно, не удержаться.

Действительно, был такой случай. Кэнири его помнит. Но он не подозревал, что и другие помнят об этом. Так вот, значит, о чем говорили в колхозе, пока его носило на льдине. Вот какие случаи вспоминали товарищи!

— Я, дорогие товарищи моряки, на этом хочу закончить, — говорит Мэмыль. — Спасибо вам еще раз от всего колхоза «Утро»! Спасибо вам от жены товарища Кэнири! Спасибо от четырех его сыновей — от двух старших близнецов, Омрылькота и Эйгели, и от двух младших близнецов, Александра и Николая!

Последние слова произвели на моряков самое большое впечатление. Старый Мэмыль нарочно поберег напоследок это «спасибо» от четырех малышей. Моряки оживились, вспомнили своих собственных ребят, с которыми

расстались на всё время дальнего плавания. Начались тосты за сыновей Кэнири — всех четырех и попарно.

* * *

... Светлой ночью, то скрываясь за торосами, то снова показываясь, по припаю мчались к берегу две собачьих упряжки. На передней нарте ехал Ринтувги, на второй — старый Мэмыль и Кэнири.





VIII

ПЯТЬ ПИСЕМ ВАЛИ КРАМАРЕНКОВОЙ

(Мой дорогой читатель! Прежде чем ты приступишь к чтению этих писем, я хочу сказать тебе несколько слов. До сих пор я рассказывал всё по порядку: сначала — о том, как Унпэнэр и Йорэлё, сыновья охотника Гэмалькота, прорезали в отцовской яранге первое самодельное окошко; затем — о том, как появились в нашем поселке и настоящие жилые дома с настоящими светлыми окнами... Лето сменилось осенью, и Тэгрынэ улетела в Хабаровск, в институт, а ее верный друг Ирын, сын резчика Гэмауге, остался в поселке, неумело скрывая свою любовь и тоску. Потом пришла зима с ее жестокими буранами, и во время одного из буранов, в Месяц Старого Дикого Оленя, чуть не погиб среди тундры отважный Йорэлё. Дыхание ранней весны уже доносилось из-за гор в ту ночь, когда на усталых собаках Гэмауге примчался на аэродром, чтобы вручить делегату Этувги искусно вырезанную из моржового бивня Трубку Мира. Возвращалось и снова уходило короткое заполярное лето, приезжала на каникулы Тэгрынэ; она привезла отцу морской бинокль, который помог ему вывести на чистую воду бездельника Кэнири...

В одной из первых глав я рассказал тебе о том, как молодежная бригада Унпэнэра спасла в Чукотском море потерпевших бедствие американских эскимосов; но о том, как те же молодые зверобои одолевали суровые высоты

Эввыквынского ледника, ты прочел гораздо позже, потому что между спасением эскимосов и походом через ледник прошел целый год. Словом, до сих пор я рассказывал обо всех событиях из жизни своих земляков, строго придерживаясь того порядка, в котором происходили эти события.

Но теперь я прошу тебя временно возвратиться мыслями на несколько месяцев назад. К тем дням, когда старый Мэмыль в часы, свободные от работы, уже овладевал при помощи дочери удивительными тайнами азбуки, а Кэ-нири, вовсе позабыв о работе, валялся на меховом одеяле и предавался сладостным мечтаниям о «кэнирийских лайках». Дело в том, что примерно тогда же Валя Крамаренкова писала первое из этих писем.

А пятое письмо она писала уже весной, уже после того, как летчик Бакшеев, успешно выполнив задание, покинул наш маленький поселок. Таким образом, возвращение к прошлому будет, как видишь, совсем непродолжительным.

Зато из писем Вали Крамаренковой ты узнаешь о ней самой и о других героях этой книги кое-что новое — то, чего сам я рассказать не сумел. Именно поэтому я и включаю ее письма в свою книгу. Если же кое-где она касается событий, уже известных тебе, то ты сможешь, таким образом, увидеть их в новом свете, дополнить новыми чертами свое представление о них.

Хочу еще сказать, что я не во всем согласен с Валей Крамаренковой. Но я не считал себя вправе переделывать ее письма. Передаю их тебе в точности такими же, какими они попали ко мне в руки).

Анадырь, 20 августа.

Здравствуй, Танечка! Привет с далекой Чу-котки, с самого «края земли»!

Вот, наконец, я и добралась. Вернее, почти добралась. Сегодня утром приехала сюда на теплоходе, сразу пошла в окрисполком, к заведующему Отделом народного образования. Он меня принял очень хорошо, предложил на выбор три места. Я выбрала Эргырон. Это стойбище на побережье Чукотского моря, охотничий колхоз. Отсюда еще километров восемьсот. Там, говорят, одна из лучших в округе школ, и там как раз очень нужен биолог. Так что

завтра я снова отправляюсь в дорогу, в последний этап моего путешествия.

Если хочешь, Танечка, пояснее представить себе, куда занесло твою Вальку, раскрой атлас и на карте Советского Союза отыщи Анадырь, центр Чукотского национального округа. Нашла? Это, как видишь, на крайнем северо-востоке страны, у самого Берингова моря. Теперь мне предстоит еще проехать по проливу, соединяющему Берингово море с Чукотским, обогнуть мыс Дежнева, и вскоре после этого я буду у цели, в Эргыроне. На карте его не ищи, на общесоюзной карте его, конечно, нет. Там есть Уэлен и Ванкарем, а это где-то между ними. Поставь крохотную точку на берегу Чукотского моря, где-нибудь между Уэленом и Ванкаремом, и знай, что в этой точке живет и работает преподавательница биологии — Валентина Алексеевна Крамаренкова.

Эргырон — это даже не название населенного пункта, а только название колхоза. По-чукотски это, кажется, означает «Рассвет» или «Утро» или «Заря». Что-то в этом роде. А как стойбище на самом деле называется, я еще даже не знаю. Здесь все его называют Эргыроном, по имени колхоза.

Танечка, мне здесь всё-всё нравится — и люди, и язык, и море, и собаки, и олени, и горы... А знаешь, оказывается, на нартах ездят не только зимой, но и летом! Только зимой полозья деревянные, и в пути их время от времени обливают водой, чтобы образовалась тонкая ледяная корочка — они тогда лучше скользят. А летом полозья железные. Конечно, ездят на них не везде, а по болотным мхам, по так называемой «мокрой тундре». Это я еще с теплохода увидела, — какие-то чукчи ехали по прибрежной тундре на нартах. Я, конечно, очень удивилась, а помощник капитана объяснил мне насчет полозьев.

Ты знаешь, Танечка, здесь, оказывается, совсем не холодно. Я сижу перед открытым окном в платье с короткими рукавами. Правда, говорят, что через две-три недели здесь сразу похолодает, начнутся осенние штормы... Но пока что тут погода нисколько не хуже, чем в Москве. Наоборот, когда я уезжала — помнишь? — весь день шел дождь. А тут солнышко. Правда, уже не летнее, но всё-таки солнышко.

Прости, что я пишу так сбивчиво — то о нартах, то о погоде. Уж очень много разных впечатлений. Сейчас

напишу обо всем по порядку, как обещала. Моих соседей по купе ты, наверно, помнишь. На всякий случай напомню. Это были двое мужчин (на которых мама косилась с нескрываемой опаской) и одна блондинка (которую мама трогательно просила «приглядеть в дороге за Валенькой»).

Прежде всего я познакомилась с тем худошавым, невысоким, остроглазым дяденькой, которого провожала красивая нарядная женщина. Он оказался очень интересным. У него и в голосе, и в глазах всё время смешинка — даже когда он серьезно говорит. О лесах, мимо которых мы проезжали, он рассказывал так увлекательно, что я сначала приняла его за ботаника, за ученого лесовода. Я от него узнала такие вещи, которых ни в одной лекции по дендрологии не слыхала, ни в одном учебнике не читала. Но он как-то сказал: «Если бы я был ботаником...» Я поняла, что у него, значит, другая специальность. Потом мне показалось, что он писатель: он так внимательно прислушивался к языку людей, к звучанию каждого слова. Но спросить я постеснялась. Зовут его Константин Георгиевич, а спрашивать фамилию мне было неловко. Ты не знаешь, среди наших писателей нет никого с таким именем и отчеством? Если нет, тогда он, наверно, моряк: к концу пути он разговорился с другим пассажиром о морях, о ветрах, о старинных кораблях, и говорил обо всем этом с таким знанием дела, что мысленно я уже произвела его в «старые морские волки».

Второй мой сосед по купе — тот пожилой, в очках, которого никто не провожал, — оказался инженером одного дальневосточного судостроительного завода. С этим я разговорилась только на четвертые сутки, потому что трое суток он спал почти беспробудно. Слезал он со своей полки только для того, чтобы поесть и спросить у проводника или у кого-нибудь из нас: «Где мы, собственно, находимся?» После этого, ни к кому не обращаясь, он смущенно произносил: «Вы уж меня извините, я, пожалуй, еще немного сосну», — и снова забирался на полку, где немедленно приводил свое намерение в исполнение. Но на четвертые сутки, вместо обычного «я, пожалуй, еще немного», он весело сказал: «Ну, кажется, выспался». Побрился, переоделся, стал разговорчив. Оказалось, что он возвращается из командировки, в которой был занят какой-то очень срочной работой — целый месяц спал только

урывками, по три-четыре часа в сутки. Словом, выпавшись, он совершенно преобразился, оказался очень славным дяденькой. В чемодане у него было столько книг и журналов, что скоро наше купе превратилось в библиотеку для всего вагона.

Блондинка — единственная из нас четверых — непрерывно ругала дорогу. Для нее дорога была «невероятно утомительной», «невыносимо скучной», «убийственной». Сначала я думала, что она скучает по мужу (ее муж — тот офицер, который ее провожал, помнишь?). Но она заявила, что «полезно иногда отдохнуть друг от друга». Детей у нее нет, по работе она тоже не могла скучать, так как нигде не работает, домохозяйка. Скучала она просто потому, что ничего не знает, ничего не хочет узнать, ничем не интересуется. Ее не интересовали ни люди, с которыми мы ехали (потому, наверно, что никто из них не пытался ухаживать за ней), ни книги (потому, что это были хорошие книги), ни замечательные места, по которым мы проезжали. . .

Четвертым обитателем купе была, как ты знаешь, я — существо, вообще не умеющее скучать, а тем более — в дороге, где всё — новое, неизвестное, неизведанное. Мы проезжали по таким местам, что несколько раз я ловила себя на мысли о том, как хорошо было бы сойти на ближайшей станции, поселиться здесь, поступить на работу. . . Ты понимаешь меня, Татьяна? Каждый день видеть эти могучие реки, эти горные хребты, подружиться с этими лиственницами и столетними кедрами! Но решение давно уже принято, назначение давно уже лежит в портфеле, и это назначение — на Чукотку. . .

После поезда — теплоход. В Охотском море нас немного покачало. Некоторых пассажиров так укачало, что они ни обедать, ни ужинать не стали, целые сутки не поднимались со своих коек. А я, оказывается, совсем не подвержена морской болезни! Как видишь, мне и тут повезло. Ты ведь всегда говорила, что я везучая.

На теплоходе я познакомилась с одним педагогом, возвращавшимся в Анадырь из отпуска. Он уже три года работает на Чукотке, называет себя старожилом этих мест. Если бы ты знала, Танька, какой это неприятный тип! Всё ему тут не нравится, всех он ругает. Откровенно заявляет, что привлекли его сюда только высокие заработки. Считает, что каждый, кто едет сюда, руководствуется этим

же, только не все, дескать, решаются в этом признаться. Фамилия у него какая-то актерская — Дальский.

Вообще-то, конечно, я сама виновата: обрадовалась, что встретила «старожил», «товарища по профессии», и прилипла к нему. А потом уж не знала, как отвязаться, когда увидела, какое это гнилье. К счастью, тут как раз и началась качка. Дальский стал глотать какие-то пилюли, а потом и вовсе убрался в свою каюту. Наивно было бы предполагать, что сюда едут одни только энтузиасты. Да я этого и не предполагала, конечно. И всё-таки встреча с этим «коллегой» оставила у меня неприятный осадок.

Зато помощник капитана и два ленинградских гидрографа, с которыми я тоже познакомилась на теплоходе, — это настоящие энтузиасты Севера. А особенно мне понравилась Мария Феоктистовна Лесникова — местный педагог. Я от нее и пишу тебе, меня к ней устроил заведующий окроно. Она тоже биолог. Сейчас она ушла по своим делам, а я тут одна у нее хозяйничаю. Из окна виден Андырский залив, на рейде стоит теплоход, на котором я приехала. Завтра он уйдет обратно и повезет это письмо. А если бы я тебе написала только с места, из Эргырона, — ты бы, наверно, получила письмо через месяц, не раньше. Вот я и решила отсюда послать.

Я поеду дальше завтра рано утром — как раз есть okazия, моторный вельбот пойдет в Эргырон. Ты представляешь себе, Танька, что это значит? Из одного моря в другое, через весь Берингов пролив — и не на пароходе, а на моторке! Около восьмисот километров на колхозном рыбацком суденышке! Как подумаю, у меня даже душа замирает. Ты только не подумай, пожалуйста, маме об этом рассказать. Я ей писала еще с дороги, из Хабаровска, а теперь уж с места напишу, когда всё мое путешествие будет позади. Здесь относятся к 800-километровой поездке на моторном вельботе по Берингову и Чукотскому морям, как к чему-то совсем обычному. Я, как ты понимаешь, делаю вид, что отношусь к этому точно так же.

Пора кончать письмо, оно и так получилось ужасно длинное. А я еще о стольких интересных вещах не успела тебе написать! Ни слова не написала о море. Море, Татьяна, произвело на меня такое впечатление, что теперь мне трудно себе представить, как это я жила до двадцати четырех лет и даже не видела его ни разу. Только на картинках да в кино! Всё время, пока ехали на теплоходе,

я наблюдала: море каждый день, каждый час разное! У него столько различных обликов, сколько выражений на человеческом лице. То оно доброе, ласковое, то мрачное, разгневанное, то по-детски веселое, играющее, то грустное, задумчивое... Словом, чуть ли не любое настроение, какое можно прочесть на лице человека, можно увидеть и на море. Я не знаю, сама ли я придумала это сравнение. Может быть, я когда-то прочла это где-нибудь. Если и прочла, — я тогда не могла, конечно, понять, до чего это верно.

Не написала я тебе и о тех, с кем отправлюсь завтра в Эргырон. Меня с ними уже познакомили; завтра утром они обещали зайти за мной по дороге к вельботу. Это председатель колхоза Вамче и еще два колхозника — чукотские охотники, зверобои, родители моих будущих учеников.

До свидания, родная моя! Крепко обнимаю тебя и целую!

Твоя Валька.

Р. С. Пиши мне, Танечка, по следующему адресу: «Чукотский национальный округ, поселок колхоза «Эргырон», школа, учительнице В. А. Крамаренковой». Пиши мне обо всем и обо всех — о себе, о маме, о Васе, о Сережке. Только сразу же напиши, не откладывая, помни о том, как далеко нужно добираться письму.

Колхоз «Эргырон», 31 августа.

Здравствуй, Таня!

Пишу тебе уже второй раз, а ты, наверно, и первого моего письма еще не получила. Что же касается твоего ответа... до тех пор, когда я его получу, пройдет столько времени, что и подумать страшно.

Ох, Танька, Танька! До чего же мне тоскливо, если бы ты только знала! До чего мне нужно было бы побыть с тобой, рассказать тебе о всех своих печалях, пореветь, как следует...

Ты не думай, ничего особенного у меня не случилось. Просто очень мне тут одиноко. Уж очень далеко я себя зашвырнула.

Винить некого: сама я выбрала себе это назначение, никто меня не уговаривал. Наоборот, мама, как ты

знаешь, даже старалась отговорить. И сама всякие ужасы выдумывала, и через тебя, и через Сережку пыталась на меня повлиять. Всю ее нехитрую дипломатию я прекрасно понимала. . . Я никого не хотела слушать, размахнулась изо всех сил и к чорту на кулички закинула свою собственную судьбу — так далеко, что никому, пожалуй, и не найти. Да никто и не станет искать!

Завтра начинается учебный год. Как я мечтала когда-то об этом дне, о первом дне своей педагогической работы в далекой чукотской школе! И не «когда-то», а всего лишь неделю назад. Мне это казалось таким интересным, таким значительным событием. . . А теперь мне это совершенно безразлично. Ну, что из того, что начнется новый учебный год? Начнется и будет продолжаться всю долгую чукотскую зиму. И молодая учительница, затерянная в одной из бесчисленного множества школ, будет всю эту долгую зиму рассказывать ребятам о тычинках и пестиках — ребятам, с трудом понимающим русский язык и никогда в жизни не видевшим не только пестиков и тычинок, но и вообще ни одного порядочного цветка. В общем, Танечка, тундра — это, как известно, не сад, не субтропики. И даже совсем наоборот, как любит говорить Вася.

Ты можешь, конечно, спросить меня, что же, собственно, изменилось за одну неделю. Уверяю тебя, что ничего не произошло, ничего не изменилось. Кроме меня самой, разве что. Просто я немного повзрослела за это время, увидела собственными глазами то, что издаലെка выглядело гораздо привлекательнее.

Мама почему-то больше всего боялась самого путешествия. То ей казалось, что у меня обязательно украдут в дороге чемодан и сумочку, то — что я сама попаду под поезд. Что же касается морского путешествия, то кораблекрушение представлялось маме одной из его неотъемлемых частей.

Если бы она знала, насколько здесь, на месте, хуже, чем в пути! Я готова была бы всё то время, что мне предстоит здесь пробыть, непрерывно скитаться, терпеть любые неудобства, подвергаться в пути любым опасностям, только бы не торчать в этой унылой дыре, где и словом перемолвиться не с кем, где некому даже пожаловаться, когда очень уж паршиво на душе.

В бытовом отношении тут вполне прилично, гораздо лучше, чем я предполагала. Мне дали хорошую комнатку



в школьном доме. Есть электричество. В поселковом магазине полно всяких продуктов (правда, консервированных). Довольно большой выбор тканей. Но — к чему мне всё это?

Только умоляю тебя, Танечка, не утешай меня, не пиши мне о том, что «жизнь — везде и во всем», что «надо в любой обстановке найти свое место», и прочее и прочее. Не надо ни утешать меня, ни стыдить, ни ругать. Всё это я могу сделать сама и — уверяю тебя — делаю это преусердно. Милая, что ты можешь мне написать об этом? Можешь, наверно, написать что-нибудь в таком роде: «Что с тобой, Валька?! Это так на тебя непохоже! Это просто малодушие! Ты ведь ехала работать, а не развлекаться! Разве можно так поддаваться плохому настроению? Разве можно так падать духом после первых же трудностей, еще даже не приступив по существу к работе?!»

Видишь, поскольку твой ответ придет еще не скоро, я сама отвечаю себе за тебя. Вот до чего дошла — сама себе письма пишу! Может, я уже спятила с тоски? Нет, Танечка, не беспокойся, я еще не спятила. Просто хотела освободить тебя от обязанности утешать затосковавшую подругу. А если ты всё-таки сочтешь это необходимым, так уж придумай, пожалуйста, что-нибудь более убедительное, не повторяй того, что я сама написала себе от твоего имени.

Ну вот я и не выдержала, разревелась. Всю страницу слезами закапала. Ты не сердись на меня, Танечка, что чернила расплзлись, постарайся разобрать. А если чего-нибудь и не разберешь — не беда: чем меньше дойдет до тебя моего скулежа, тем лучше.

Погода здесь — совершенно под стать моему настроению: серая, хмурая. Перед моим окном — спортивная площадка. Волейбольную сетку уже сняли: холодно, мокро, кругом лужи. На улице поселка никого нет, разве что собака изредка пробежит.

Правда, у собак здесь вид довольно веселый. Может быть, такое впечатление создается потому, что это всё лайки, а у лаек хвосты задраны кверху. Но люди, Танька, люди — до чего это всё мрачные типы!

Вот тебе несколько примеров. Директор школы Эйнес. Местный парень, чукча. Угрюмый, неприветливый — за десять дней я не слыхала от него и десяти слов. В Ана-

дыре, в окошко мне говорили, что он кончил Хабаровский пединститут. Когда видишь его, очень трудно в это поверить: внешне он ничем не отличается от любого из здешних колхозников. Такая же одежда из оленьих шкур, такой же охотничий нож болтается у пояса. Даже в самые последние дни перед началом учебного года, когда надо готовить школу к зиме, наш директор в школе почти не показывался. Иногда только зайдет вечером, походит по классам, посидит полчаса у школьного сторожа, попьет чайку и уйдет. А целые дни он на охоте, «на промысле», как здесь говорят. Словом, он со всех точек зрения — рядовой колхозник, рядовой член охотничьей бригады. Ничуть, может быть, не хуже, но, видимо, и не лучше. А всё-таки хотелось бы, чтобы директор школы был хоть немного покультурнее рядового чукотского колхозника.

Характерная деталь: в поселке, среди дедовских яранг, стоит уже несколько домов; некоторые передовые колхозники живут уже в домах, по-культурному; а директор школы живет в яранге! В его распоряжении довольно просторный школьный дом и — рядом — два отдельных жилых домика для учителей. Словом, для директора, я думаю, комнатка нашлась бы. Даже сторож — и тот живет в школьном доме. Я слыхала о старых чукчах, предпочитающих непривычному дому темную, тесную, грязную, но привычную ярангу. А тут — молодой парень, член партии! Я не знаю, много ли стоит его высшее образование, но уж одно то, что он четыре года прожил в Хабаровске, казалось бы, должно было как-то отразиться на нем. Нет, оказывается, в некоторых людях бескультурие сидит так глубоко, прошлое так крепко держит их в своих цепких лапах, что тут и высшее образование не помогает. Возвращается такой человек в свое стойбище после четырех лет жизни в Хабаровске, и оказывается, что «каким он был, таким он и остался»...

Весь школьный коллектив вполне под стать своему руководителю. Есть тут и «европейцы»: хромой завуч (он же — учитель математики) и школьный сторож. Первый — Всеволод Ильич Вербин — может быть, и был когда-то культурным человеком. Он очень опустился, но по некоторым признакам чувствуется, что не всегда он был таким, как теперь. По-моему, он из «бывших людей», из аристократов, бежавших от революции. Может быть, даже из белых офицеров. Знаешь, они ведь не все за гра-

ницу эмигрировали, кое-кто забрался в такие медвежьи углы, как этот Эргырон, и сидят здесь.

Второй — поляк Кабицкий. Мрачный, рыжебородый. Типичный убийца. Кажется, за убийство он и попал когда-то в Сибирь. Видимо, такие черные дела на совести этого человека, что, даже отбыв свой срок, он не захотел возвращаться в родные места. Его комната — рядом с моей. Соседство, как ты понимаешь, не из приятных.

К тому же и тот, и другой — старики. Вербину под шестьдесят, а Кабицкому, наверно, еще больше. Оба «очукотились» полностью — и по одежде, и по языку. Вербина называют здесь «Севалот» (видимо, это бывший «Всеволод»). Кабицкий женат на чукчанке.

Знать чукотский язык — это, конечно, очень хорошо. В этом отношении я искренне завидую Вербину. Представляешь себе, как мне трудно будет со школьниками — я совсем не знаю чукотского, они почти не знают русского... Изучить язык было бы, конечно, хорошо, но во всем остальном я не хотела бы уподобиться Вербину. Но кто знает, какой я стану через три года? Три года! Боюсь, что я вообще не выдержу такого срока. Одна неделя прошла, а я уж по горло сыта этой Чукоткой...

До свиданья, Танечка.

В. К.

Эргырон, 3 сентября.

Очень глупо, Танька, получилось: на днях я отправила тебе письмо, которое, конечно, не следовало отправлять. Но его уже увезли в бухту Провидения, ничего теперь не поделаешь. Пишу вдогонку другое. В обычных условиях ты получила бы это мое письмо вскоре после того письма — дня через три или четыре. Но здесь условия далеко не обычные. Может оказаться, что ты их получишь одновременно (если последний пароход еще не ушел из бухты Провидения). А в противном случае это письмо отстанет на месяц или даже на два, так как морская навигация заканчивается. Ищи потом оказию...

Видишь ли, Татьяна, когда я писала тебе прошлый раз, на душе у меня было так скверно, так скверно! Непосредственный повод этого отвратного настроения был еще так близок, что даже упоминать о нем не хотелось. А с другой стороны, обязательно нужно было поделиться

с тобой, пожаловаться тебе... Вот и получилась ерунда: наревела целый бочонок, а толком ничего не объяснила.

Сейчас я уже немного успокоилась, хотя настроение у меня попрежнему преунылое и нет никаких надежд на то, что оно изменится к лучшему. Нет, в этом отношении всё, о чем я тебе писала, остается таким же неутешительным, таким же безрадостным. Но острота отчаяния, которое меня охватило, кажется, проходит. Что ж, перетерплю как-нибудь три года.

Здесь, в поселке, до вчерашнего дня находился один уполномоченный из райисполкома. Какой-то работник районного центра, чукча. Лет ему около двадцати пяти, не больше. Хорошо говорит по-русски и вообще довольно развитой парень. Но бездельник, пропойца, словом — полнейшая мразь. Прислали его сюда для проверки готовности к зимнему охотничьему сезону или для помощи в проведении осеннего забоя моржей — точно не знаю. Во всяком случае, по каким-то охотничьим делам. Для зверобоев здесь сейчас самая страдная пора — вроде того, как у нас во время уборочной кампании. А он в оружии ничего не понимает, поехать с бригадой на лежбище моржей побоялся, лез к опытным охотникам с нелепыми советами. К тому же почти всё время он был пьян.

Кончилось тем, что вчера колхозники подобрали его, мертвецки пьяного, посреди поселка, уложили в моторку и отвезли обратно в райцентр, к нему домой.

Ты, наверно, не понимаешь, зачем я описываю тебе этого горе-уполномоченного, какое мне дело до всей этой истории. Да?

Дело в том, что я с ним познакомилась еще в дороге: по пути из Анадыря в Эргырон мы заехали в райцентр, и там он к нам присоединился. В вельботе мы оказались рядом.

Он и тогда был не совсем трезв. Шутил насчет того, что «выпил в дорогу, чтобы не замерзнуть, а погода, как назло, оказалась теплая». Погода, действительно, была очень хорошая, спокойная. Мы с ним всё время болтали, и — представляешь себе? — он даже показался мне довольно интересным, приятным собеседником. Учти, Танюша, что к этому времени я уже трое суток находилась в вельботе, почти целые сутки штормовала. Учти, что спутниками моими были пожилые чукотские колхозники, настолько молчаливые, что временами их можно было

принять за глухонемых. Меня они ни о чем не расспрашивали, на мои вопросы отвечали двумя-тремя словами, между собой тоже говорили мало, да и то по-чукотски. А тут появляется молодой парень, веселый, разговорчивый. И главное — местный работник, готовый удовлетворить мое ненасытное любопытство. Я ведь не знала, что он собой представляет, не понимала, что все его разговоры — ерунда, рассчитанная на таких восторженных дур, как я.

Через несколько дней мы встретились неподалеку от школы. Я несла воду. Вообще-то сторож (тот самый старик, о котором я тебе уже писала) приносит по утрам два ведра, но я в тот день стирала и всё израсходовала. А тут, перед вечером, захотела чаю себе согреть, решила сама принести и на обратном пути встретила с этим самым уполномоченным. Он любезно взял у меня ведро, дотащил до крыльца, стал расспрашивать, как я устроилась на новом месте, довольна ли я. Против обыкновения, он был совершенно трезвым. Впрочем, я ведь видела его только второй раз в жизни, почти ничего о нем не знала и понятия не имела о том, какие у него обыкновения. Мы посидели на крылечке, я откровенно призналась ему, что многое меня тут разочаровало, что друзей я тут не нашла и, по всей видимости, не найду, что временами меня одолевает такая дикая тоска, что хоть воем вой. . .

Он слушал меня очень сочувственно, говорил, что и сам переживает нечто подобное: его недавно перебросили в район из Анадыря. «Если мне, говорит, в районном центре тошно, так представляю себе, каково вам тут, в этом поселке. Да еще после Москвы!»

Мне пришло в голову позвать его к себе, попить вместе чаю. Знаешь, Танька, для одинокого человека самое тягостное — это время еды. Я уже привыкла, почти привыкла проводить вечера одна, сама с собой. Но сидеть одной к столу никак не могу привыкнуть — просто кусок в горло не лезет. .. Ну так вот, я его пригласила зайти ко мне, если вечер у него ничем не занят. Только у меня еще было не убрано после стирки, и я его пригласила зайти через часок. Он охотно согласился.

Вечером он пришел, успев за какой-нибудь час или полтора так нализаться, что от него через всю комнату несло водкой. Но держался он по началу прилично — только еще оживленнее, чем во время пути, в вельботе.

Я отошла от стола, чтобы выключить закипевший чайник, а когда вернулась, увидела, что на столе стоит нераспечатанная бутылка вина.

Конечно, нужно было сразу же вытурить его, но я, Танечка, не сделала этого. Я подумала, что обижаться было бы глупо, что он, наверно, и сам не понимает оскорбительности своего поведения. Правда, я решительно заявила, что пить вино не собираюсь, и положила бутылку обратно в его портфель. А потом я стала разливать чай и говорить о том, что являться к девушке в таком состоянии да еще с таким подарком, — недостойно, неуважительно; что напиваться, да еще так часто, как это, видимо, делает он, вообще нехорошо, какое бы ни было у человека настроение... Словом, я завела такую душеспасительную беседу, от которой хмель, по моим расчетам, должен был улечься у него из головы. Он выпил несколько стаканов чая, но хмелел всё больше и больше, будто бы пил не чай, а водку.

Вначале я думала, что у него, может быть, какая-нибудь беда, что он пьет, как говорится, с горя. Но постепенно я стала догадываться, что единственное его горе в том и состоит, что он почти всегда пьян.

Мою откровенность, мое доброе отношение и дружеский интерес к его судьбе он понял по-своему. Стал целовать мне руки и заплетающимся языком объясняться в любви. Я отняла руки, поднялась, попыталась урезонить его. Сказала, что объясняться в любви полагается в трезвом состоянии, а путать любовь со скотством вообще не полагается. Но он уже ничего не слушал, лез ко мне, пытался облапить. Я вырвалась, выбежала из комнаты. Он бросился вслед за мной...

Куда тут побежишь? К сторожу Кабицкому стучать? Он со своей старухой давно уже спят, наверно. Вся остальная школа пуста, классы заперты. Ломиться к сторожу, просить у него защиты я постеснялась, бросилась к выходу. Стала дергать дверь на себя, забыла с перепугу, что она открывается наружу, а не внутрь — он в это время подбежал, схватил меня сзади. Мне опять удалось вырваться, выскочить на улицу, но у него в руке остался воротничок от моей блузки (кружевной воротничок, помнишь?).

Тут мне повезло: сбегаю за мной с крыльца, он споткнулся и упал. Это дало мне возможность немного отбе-

жать, пока он поднимался, — шагов на двадцать, если не больше. Услышав, что он опять гонится за мной, я пустилась вокруг школы, успела вернуться в свою комнату и запереть дверь. В ту же секунду слышу, — он подбегает к двери, дергает ее раз, другой.

Некоторое время мы стояли молча. Потом, немного отдышавшись, он говорит: «Откройте». Я молчу. Он говорит: «Откройте, у вас мой портфель остался. Я только возьму портфель и сразу уйду».

Я тихонько отошла от двери, открыла форточку, выбросила портфель (в нем, по-моему, ничего, кроме этой бутылки, и не было) и говорю: «Ваш портфель на улице лежит, под моим окном». Он немного постоял, потом пошел. Тогда я скоренько погасила свет в комнате, схватила табуретку и притаилась, жду. «Ну, — думаю, — если он высадит окно и попытается лезть в комнату, так и двину его табуреткой по башке». Честное слово, Танька, я бы его оглушила. Знал бы тогда! Табуретка у меня тяжелая, дубовая, а зла я была, как дикая кошка. Но он, к счастью, только подобрал свой портфель, посмотрел на мое темное окно и пошатываясь удалился. Я подождала еще немного, потом легла на кровать и дала слезам волю — всю подушку залила.

Представляешь себе? — ночь, весь поселок спит, никому здесь до меня дела нет. Мама, ты, друзья — все, кому я хоть немного дорога, кому я хоть сколько-нибудь нужна, — за тридевять земель, всё равно что на другой планете. Заступиться за меня некому, со мной здесь могут сделать всё что угодно. Этот подлец может наговорить на меня всё, что ему заблагорассудится, и поверят, разумеется, ему — местному работнику, представителю районного центра, а не какой-то молодой «учительке», чужой, приезжей девчонке. Так мне, по крайней мере, казалось тогда. Могут, я думала, узнать и не от него: если Кабицкий что-нибудь слышал, если он проснулся от нашей беготни, то завтра же по всему поселку болтовня пойдет. И люди будут, конечно, винить в первую очередь меня. Почему, скажут, он пошел именно к ней, а не к кому-нибудь другому? Танечка, ведь я его действительно сама пригласила! Хороша, скажут, новая учительница, у которой сразу же после ее приезда затеваются какие-то пьяные ночные скандалы...

Лежала я, плакала, думала эту невеселую думу — не

знаю, сколько времени так прошло. Вдруг, слышу, кто-то стучит в окно. Оказывается, вернулся. Дубасит кулаками по раме, стекла дребезжат. Кричит, ругается, обзывает меня самыми отвратительными словами.

Я-то думала, что он совсем ушел, а он, оказывается, напился где-то до полного свинства и обратно пришел покуражиться надо мной. Пришлось снова вооружиться табуреткой и занять свой пост сбоку от окна.

Наслушалась я тогда! Не только по собственному адресу, но и вообще-то мне такой грязной ругани никогда раньше слышать не приходилось. И не только я наслушалась, — он орал так, что наверняка во всех соседних ярангах проснулись. Теперь уж мне не приходилось сомневаться в том, что по всему поселку пойдет обо мне дурная слава.

Он кривлялся под моим окном, кричал, перемешивая русские ругательства с чукотскими, старался как можно грубее оскорбить меня, вызвать меня на перебранку. Я, конечно, молчала, я дала себе слово не отзываться, что бы он ни говорил.

Не знаю, сколько это продолжалось. Я устала, меня мучило ощущение своего бессилия, своей незащищенности. В полном изнеможении я опустилась на пол и снова разревелась. А он всё кричал и кричал за окном. Он выдумал, будто я «чукчей за людей не считаю». Дескать, если бы он не был чукчей, так я бы с ним поласковой обошлась, не считала бы его скотиной. Понимаешь, как повернул?

Кому-кому, а тебе, Танька, хорошо известно, что я комсомолка не только по документам. Для меня интернационализм — это не какое-то отвлеченное понятие, а твердое мое убеждение, жизненный принцип, частичка моей душевной сущности. Национализм я считаю самой гнусной несправедливостью, просто-напросто контрреволюцией и всё. Для меня все люди равны, совершенно независимо от нации. А он всё наоборот повернул. Но я и тут смолчала.

Он еще какие-то гадости орал, — я уже старалась не слушать. Нервное напряжение так меня утомило, что я впала в забытие. Его голос то доносился до моего сознания, то словно затихал. Потом он громко вскрикнул и совсем замолк. Наверно, свалился и сразу же заснул мертвецким сном, как это бывает с пьяными.

Больше я его, к счастью, не видела. Вчера, как я уже

упоминала, после того как он снова перепился, его уложили в моторную байдару и отвезли обратно в райцентр. Этим и закончилась его «работа» в Эргыроне.

Дописываю 4 сентября, вчера не успела. Сегодня воскресенье. Это еще хуже, чем будни. Те три дня, что я занималась с ребятами, были хоть работой заполнены. Хоть во время уроков удавалось забыть о своей тоске. Заниматься, Танечка, так невероятно трудно, что обо всем позабудешь!.. А сегодня я опять одна со своими невеселыми думами.

Вчера я подробно описала тебе эту неприятную историю. Но не думай, пожалуйста, что только она вышибла меня из колен. Она была только последней каплей, ядовитой каплей, переполнившей чашу. Не потому я затосковала, что какой-то пропойца поднял ночью шум под моим окном, а скорее наоборот — вся эта история только потому и произошла, что очень уж паршиво у меня на душе: ведь если бы тоска меня не одолела, так разве я позвала бы к себе чаевничать человека, которого почти не знала?

Никто мне по поводу этой истории ничего не говорил пока. Даже директор не вызывал. Впрочем, что представляет собой наш директор Эйнес, я уже как-то писала тебе. Угрюмый местный парень. Может быть, он хороший зверобой, но на педагога он так же похож, как я на японского императора. Правда, 1 сентября он пришел в школу в европейском костюме, при галстуке, без охотничьего ножа. Но вежливости это ему не прибавило. Может, именно из-за того ночного скандала он так неприветлив со мной? Не думаю. По-моему, он с самого начала был со мной ничуть не любезнее.

К началу учебного года все приоделись — и учительницы, и математик Вербин, и школьный сторож. Учительницы здесь все местные, чукчанки. Образование у них — Анадырское педучилище, только одна окончила двухгодичный учительский институт в Хабаровске.

Вербин, оказывается, тоже без настоящего высшего образования. Хорош завуч! Он мне сам сказал, что «в 18-м году пришлось уйти с 3-го курса» (о причинах, по которым «пришлось уйти», как и о происхождении хромоты своей, он умалчивает). Ни старость, ни многие годы педагогической работы не вытравили из него какого-то

дворянского душка. По всем манерам видно, что он из «бывших». Когда он пришел в школу пришедшимся, выбритым, наодеколонившимся, это стало еще заметнее, чем обычно. Здороваясь, он так пристукивает пяткой о пятку, будто на ногах у него до сих пор не мягкие оленьи торбасы, а офицерские сапоги и шпоры «со звоном».

Я начинаю думать, что фрукт, с которым я встрети-лась на теплоходе, был прав. Кажется, я писала тебе о нем еще в первом письме, из Анадыря. Забыла сейчас его фамилию, помню, что актерская какая-то. Рисуюсь своим цинизмом, он говорил, что работает на Чукотке только из-за «неизлечимого пристрастия к длинному рублю». И утверждал, что «все здесь такне». Да, сюда едут, видимо, либо «охотники за длинным рублем», либо те, кто по каким-нибудь причинам на лучшие места не рассчитывают. Одним не приходится надеяться на лучшее вследствие полной своей бездарности, другим — потому, что прошлое у них темноватое (как, например, у нашего сторожа и у нашего математика).

Как же меня сюда занесло? Биография у меня еще совсем небольшая и ничем, кажется, не запятнанная; бездарностью, как ты знаешь, в университете меня не считали; за «длинным рублем» я не гонюсь, мне и «короткого» хватило бы. . . Значит, попадают сюда и такие экземпляры — дурочки, начитавшиеся романтических книжек и возомнившие, что могут принести здесь какую-то пользу.

В этом-то, Танечка, и заключается моя ошибка, в этом-то всё дело. Какую пользу я смогу тут принести? Я даже с самыми элементарными своими обязанностями не справлюсь, это мне уже совершенно ясно. И никто на моем месте не справился бы! Посуди сама. Во-первых, мне придется, кроме ботаники, преподавать географию. Географа в здешнюю школу не прислали, предложили «обходиться собственными силами». То, что я в географии ничего не смыслю, — это нашего директора несколько не интересует. Такие вещи здесь — самое обычное явление: математик, кроме алгебры и геометрии, преподает физику; преподавательница русского и литературы тянет еще и немецкий (в котором она смыслит, кажется, не больше, чем я в географии). Представляешь себе: уже несколько лет здесь существует семилетка, а до сих пор нет ни географа, ни физика, ни преподавателя языка!

Вторая беда заключается в том, что некоторые школьники плохо говорят по-русски. В 7-м классе еще кое-как я с ними сговариваюсь, в 6-м тоже, а в 5-м есть ребята, с которыми совсем невозможно. Как мне их учить, если мы друг друга не понимаем?

Хорошо еще, что я не преподаю в младших классах. Там в этом году сложилось такое положение, что и местным учительницам, чукчанкам по национальности, никак не объясниться с некоторыми учениками: в младшие классы пришло семеро эскимосских ребят, не знающих ни русского, ни чукотского. А учебников на эскимосском языке в нашей школе нет. Это какое-то дикое головотяпство! Дело в том, что раньше колхоз был только чукотским, а в этом году, в связи с укрупнением, в него вошло и несколько эскимосских семей. Словом, из-за того, что райзо и роно не договорились во-время, ребята остались без учебников.

Вот какие печальные дела, дорогая моя Танечка. Как видишь, унылое мое настроение — это не девичьи капризы. Есть от чего взвыть!

До свидания. До свидания, которое состоится еще, к сожалению, очень не скоро. Я даже не уверена, Танечка, что оно состоится когда-нибудь, что мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, вернуться домой, к родным, к друзьям.

Твоя Валя.

5 января.

Танька, Танечка, Татьянка моя дорогая! Какая же ты умница! Ай да я — как я здорово умею выбирать себе подруг! По сколько нам было, когда мы подружились? По восемь? Или по семь? И как это я уже тогда догадалась, что из тебя вырастет такая умница?!

Вот уже пятый месяц я работаю здесь. За это время многое изменилось. Вернее сказать, я многое узнала, многое поняла. Разобралась в здешних делах, в людях, в которых по началу совершенно не смогла разобраться. От настроения, в котором я писала тебе свои первые письма, давно уже не осталось и следа.

Четыре месяца прошло с тех пор, как я их послала тебе. Я часто, очень часто думала о тебе, Танечка, с большим нетерпением ждала твоего письма. И каждый раз я

представляла себе, как ты меня изругаешь, сколько резких слов мне придется прочесть. Мне было при этом и смешно (потому что я не могу теперь без улыбки вспоминать о том ужасном ребячьем отчаянии, которое охватило меня в первые дни), и в то же время было, признаюсь, немного боязно, стыдно.

И вот я получаю твое письмо, читаю страницу за страницей, наслаждаюсь. Где-то на середине вспоминаю: «А где же ругань?» Читаю еще страничку или две, становится даже немного обидно: «Я-то, дескать, изливалась перед ней, всю бумагу слезами закапала, а она — ноль внимания». И, наконец, на предпоследней странице читаю: «Ни утешать тебя, Валька, ни ругать за те твои письма не буду. Уверена, что к тому времени, когда мое письмо дойдет до тебя, твоя «безысходная тоска» улетучится до капельки».

Умница ты моя, умница-разумница! В одном только ты ошиблась: это произошло не к тому времени, когда я получила твой ответ, а гораздо раньше. Тогда, когда ты читала мои отчаянные вопли, от самого-то отчаяния не оставалось уже ничего, кроме воспоминания и чувства некоторого смущения. Какой глупой, какой слепой я была! Ничего, совершенно ничего не понимала.

Буду отвечать тебе по порядку. Прежде всего — относительно работы. Дел здесь тьма тьмущая, залезла я в них по уши. Можешь судить хотя бы по тому, что я четыре месяца — целых четыре месяца! — не писала тебе. И даже получив твой ответ, села писать только через десять дней, благо новогодние каникулы подоспели. Кстати, поздравляю тебя, Танечка, с Новым годом! Чуть не забыла.

С географией я справляюсь, как прирожденный географ. Да я и есть прирожденный географ — удивительно, как это я раньше об этом не догадывалась! Как моя любовь к путешествиям могла сочетаться с полным равнодушием к этому интереснейшему предмету?

Вначале было трудно. В моем распоряжении был только старый, потертый глобус и школьные учебники. В поселковой библиотеке, когда я попросила что-нибудь о зарубежных странах, о путешествиях, мне смогли предложить только... «Путешествие Гулливера». Как-то учебники седьмого класса меня спросили, что такое «колония». Я попыталась ответить, привела несколько примеров, сказала, в частности, что английские колонизаторы до сих

пор не вернули Китаю «город Гонконг». Один семиклассник спрашивает: «А разве Гонконг — это город?» — «Да, — говорю, — конечно, город. Крупный портовый центр».

Я почему-то была в этом совершенно уверена. А он говорит: «Нет, Валентина Алексеевна, это остров. Я в одной книжке читал. Город на том острове есть, только он как-то иначе называется». Я готова была сквозь землю провалиться!

После занятий я рассказываю об этом директору, заявляю ему, что не могу преподавать предмет, которого не знаю. «Тем более, — говорю, — что литературы нет, проконсультироваться не у кого». А он вдруг спрашивает: «Вы на лыжах умеете ходить?» — «Умею». — «Возьмите у меня лыжи и сбегайте на Полярную станцию. Там чуть не каждый сотрудник — профессор географии».

Так я и сделала. Здесь, совсем неподалеку от поселка, расположена одна из Полярных станций Главсевморпути. Почему я сама не сообразила пойти к ним? Не знаю! Правда, профессоров там не нашлось, но начальник станции оказался кандидатом географических наук и очень славным дяденькой. У них прекрасно подобранная, хоть и небольшая, библиотечка, которой я теперь пользуюсь, как собственной. Если что не ясно, всегда есть возможность спросить, посоветоваться. В первый же раз я выяснила, что насчет Гонконга была неправа. Но это уже не очень меня опечалило — настолько я была обрадована соседством дружной семьи полярников, их приветливым отношением, их готовностью помочь.

Я уже провела три экскурсии на Полярную станцию (с каждым из старших классов). Начальник станции был у нас на пионерском сборе, посвященном великим русским исследователям Севера, подарил школе очень хороший атлас. Ребята заинтересовались географией, вошли во вкус предмета — это главное! Да я и сама вошла во вкус, что не менее важно. Признаюсь, что будущей осенью, когда нам пришлют географа (наверно, пришлют, наконец), мне будет даже немного жаль расставаться с этим предметом.

С биологией дело было, конечно, проще, чем с географией. Тут я с самого начала чувствовала себя увереннее, знала, как пробудить у ребят интерес. К тому же мне очень помог Эйнес — директор нашей школы. Он еще

в конце сентября ездил в Анадырь, в окрестности, добыл много нужных для школы вещей и, в частности, привез мне такой биологический кабинет! Три огромных ящика со всякими наглядными пособиями! Кроме того, я со своими юннатами сделала уже двадцать пять чучел здешних птиц и зверей. Даже в Москве не во всякой школе имеется такой биологический кабинет.

Ты спрашиваешь о ребятах, плохо владеющих русским. Это, Танечка, до сих пор самый сложный для меня вопрос. Это очень, конечно, затрудняет работу. И всё-таки мне удастся объясняться с любым из учеников — неуспевающих у меня нет. Видишь ли, таких, которые совсем не знают русского, в старших классах уже не встретишь. В младших классах имеются такие, но там преподают местные учительницы, чукчанки.

На моих уроках ребята расслаиваются так, чтобы на каждой парте был мальчик или девочка, хорошо владеющие русским. Пришлось пойти на такую систему «уроков с переводчиками». Кроме того, стараюсь уж, конечно, шире пользоваться наглядными пособиями и говорить попроще, пояснее.

Даже с эскимосскими ребятами (помнишь, я писала тебе о них) и то не провалили дела, хотя тут положение казалось мне совсем безнадежным. Из той же поездки Эйнес привез учебники на эскимосском языке, но только по одному экземпляру каждого учебника. Еле добился, пришлось действовать через окружком партии, а то бы и этого не получил. А эскимосских малышей у нас семеро!

А тут еще в октябре вернулась из тундры, с отдаленных пастбищ оленеводческая бригада. И с оленеводами пришли трое семиклассников, которые раньше учились в другой школе (это всё связано с укрупнением: раньше эти оленеводы составляли отдельный колхоз и жили в другом месте). В той школе знали, что эти ребята от них ушли, и не стали получать на их долю учебники, а нас никто не поставил в известность об этих новых ребятах, и учебниками для 7-го класса обеспечили в обрез, только по весенней заявке. Так что же, ты думаешь, сделали эти четырнадцатилетние оленеводы? Они переписали себе от руки все учебники! И одновременно с ними шестеро наших комсомольцев — два мальчика и четыре девочки — переписали от руки учебники для

эскимосских малышей. Специально оставались после занятий. И хоть бы один попытался увильнуть от этого кропотливого, утомительного дела! Думаю, что в наших больших городах многие школьники, привыкшие ко всему готовенькому, постарались бы увильнуть, — терпения не хватило бы. А у этих маленьких чукчей такая тяга к знаниям, такая дисциплина, такое упорство и трудолюбие, что я сразу прониклась к ним не только нежностью, но и самым серьезным уважением.

Танечка, почти всё, о чем я писала тебе в таких мрачных тонах, на самом деле выглядит совсем иначе. И прежде всего это относится к людям. Мой ближайший сосед — Степан Андреевич Кабицкий, школьный сторож. Я тогда услышала краем уха, что он был осужден за убийство, взглянула на его спутанную бороду — и готово, определила его в закоренелые преступники. Даже побаивалась такого соседства. А это, оказывается, добрейший старик. В школьниках, особенно в малышах, он души не чает, — малыши прямо льнут к нему. Своих детей у Кабицких нет, но в их комнате всегда стоит детский гомон.

Насчет убийства всё чистейшая правда. Было это в 1906 году. Кабицкий действительно был послан царским судом на каторгу за убийство, но убил он, оказывается, одного из «карателей», которые зверствовали в его родном городке. Этот «каратель» шашкой зарубил старшего брата Кабицкого — тогда Кабицкий и бросился на него с топором... А я-то считала его «темной личностью», уголовником!

Эйнес его очень ценит. Кабицкий, хоть и числится всего лишь сторожем, но на нем всё школьное хозяйство держится, Эйнес называет его своим «заместителем по хозяйственной части». Он и плотник прекрасный, и сапожник, и стекольщик, и печник. Ко мне и он и жена его очень внимательны, как родные.

Вначале, например, он каждое утро приносил мне два ведра воды. Я думала, что это «так и полагается», что это входит в его обязанности. Даже, точнее сказать, ничего не думала, а просто приняла это как должное. Еще и недовольна бывала, как последняя нахалка, если он приносил воду немного позже, чем обычно. И только месяца через полтора или два я случайно увидела в окно нашего директора с ведрами. На следующее утро установила наблюдение и, к своему большому смущению, обна-

ружила, что Степан Андреевич никому воду не носит — ни другим учительницам, ни директору. Только себе и мне. Я, конечно, воспротивилась, ношу с тех пор сама. Но если посплю утром подольше, не успею принести, то, придя с уроков, всегда нахожу ведра полными. Вот какие бывают на свете чудеса!

Мало того. Форточка у меня в комнате плохо закрывалась, перекосилась немного. Я еще только собиралась сказать об этом Степану Андреевичу, смотрю — форточка уже исправлена. Другой случай. В начале зимы я как-то положила свои валенки в печку, хотела лучше просушить. А там, под золой, был еще, видимо, непогасший уголек. Один валенок прогорел, пришлось утром туфли надевать. Днем-то не страшно: я ведь в самой школе живу, мне на улицу выходить не надо. Но вечером я собиралась в клуб пойти, а туда уж в туфельках не дойдешь, пожалуй. Возвращаюсь печальная с уроков, смотрю — стоят возле кровати мои валенки, и на одном из них красуется аккуратная латочка. Очень меня тогда растрогала эта забота.

Кстати, Танька, теперь я щеголяю не в туфлях и не в латаных валенках, а в самых настоящих чукотских торбасах, в чудесных торбасиках, расшитых лучшей из здешних мастериц. Обязательно привезу тебе отсюда такие торбасы! Ты знаешь, что это такое? Это мягкие сапожки из оленьей кожи. Шьются они шерстью наружу, а на них нашивается узор из маленьких кусочков кожи другой масти. Получается очень красиво: Они удобные, теплые и при этом нарядные.

Я отвлеклась. Возвращаюсь к характеристике моих новых друзей. О старом «Севалоте» — нашем завуче и учителе математики Всеволоде Ильиче — я тебе уже писала. И писала, надо сказать, дикую чушь. Я почему-то решила тогда, что Всеволод Ильич — это какое-то старорежимное ископаемое, укрывшееся здесь от революционных бурь. Почему мне взбрело это в голову? Не знаю! Мне всё представлялось тогда в самом худшем свете. Кажется, еще по дороге сюда тот самый уполномоченный (помнишь?) намекал мне на «темное прошлое» здешнего математика. А я и уши развесила. Он вообще, пока мы ехали вместе в вельботе, плел мне всякое про моих будущих сослуживцев, которых, оказывается, почти и не знает вовсе.

Когда я в первый раз увидела Всеволода Ильича, он был в таком обтрепанном, грязном костюме, что произвел на меня впечатление вконец опустившегося человека. В сочетании с этим обтрепанным, измазанным глиной костюмом, его манеры (какие мне приходилось видеть только на сцене, в пьесах из великосветской жизни), его старомодное пенсне, его изысканные выражения выглядели особенно жалкими.

Скажу тебе сразу, Таня, что сейчас это один из самых лучших моих друзей, хоть он мне чуть ли не в дедушки годится. Редко приходилось мне встречать людей такой душевной чистоты, такой преданности своему делу, такой цельности.

В те дни, перед началом учебного года, он помогал Кабицкому ремонтировать печи в школе. Потому он и был так одет, а вовсе не потому, что «опустился».

Это прекрасный педагог, простой, душевный человек. Для любого колхозника он просто старый сосед, «дядя Севалот», человек образованный, уважаемый, но такой же привычный, «свой», как дядя Мэмыль, Атык, Гэмалькот и другие старики нашего поселка. И держится он с ними совершенно обыкновенно, как все люди. А изысканные манеры и выражения, которыми он меня встретил, были, как я теперь понимаю, рассчитаны специально на меня: чудной старик решил, что здесь мне всё покажется слишком суровым и грубым, что со мной нужно особое «столичное обхождение», пока я не попривыкну к здешней обстановке.

И он действительно очень помог мне, помог справиться с отчаянием, охватившим меня в первые дни. Конечно, не расшаркивания его мне помогли, не старомодные любезности, а его пример. (Я даже хотела сейчас написать «героический пример», да почему-то постеснялась. А между тем здесь это слово не было бы слишком громким, потому что жизнь Всеволода Ильича — это действительно героический пример для всякого педагога). Его жизнь здесь даже легендой окружена.

Рассказал мне эту легенду Мэмыль. Впрочем, ты ведь еще не знаешь, кто такой этот Мэмыль.

Во время летних каникул здесь жила одна местная девушка — студентка Хабаровского пединститута. Она тоже на биологическом учится, очень славная девушка. Я с ней познакомилась перед самым ее отъездом. У нас

даже общие знакомые нашлись: она десятилетку кончала в Анадыре, была юннаткой у той самой Лесниковой, у которой я ночевала по дороге сюда. Так вот, эта девушка, уезжая, попросила меня позаниматься с ее отцом — он решил на старости лет овладеть грамотой. Ученик оказался на редкость способный, заниматься с ним было одно удовольствие. Из всех жителей Эргырона дядя Мэмыль был первым, к которому я почувствовала полное доверие. Успевал он отлично, но думаю, что мне эти занятия принесли еще больше пользы, чем ему. Он понял, видимо, что на душе у меня было тогда скверно, и старался развлечь меня, почти каждый вечер рассказывал какую-нибудь историю.

Иногда это были очень смешные истории, иногда — вполне серьезные. До сих пор не могу без улыбки вспомнить рассказ о том, как один здешний охотник — большой сластена — стрелял в белого медведя конфетой. У него в патронташе, вместе с патронами, лежали конфеты, вот он и спутал второпях, когда повстречался с «хозяином льдов». Попал, будто бы, в самую пасть, а Мишке это дело понравилось — медведи тоже ведь сластены. Мишка стал еще просить, а охотник решил, что это заколдованный зверь, которого никакая пуля не возьмет... Ты бы слышала, Танька, как Мэмыль рассказывает эту сказку, как он изображает и медведя, и незадачливого охотника! Не знаю, где тут кончается правда и начинается выдумка. Во всяком случае охотник, стрелявший в медведя конфетой, — это не вымышленное лицо, я с ним лично знакома (только всё не решаюсь порасспросить его о том, как он медведя угощал).

Однажды Мэмыль рассказал мне другую сказку — «О том, как на Чукотку свет пришел». Я в тот же вечер записала ее в свой дневник.

Незадолго до смерти позвал, будто бы, Ленин товарищей своих и спросил: «Сколько в Советской стране народов живет?» «Много, — отвечают. — Если с маленькими народами считать, так, пожалуй, и шестьдесят наберется». «Правильно, — говорит, — шестьдесят народов. А какой из них в самом темном краю живет?» «В самых, — отвечают, — темных краях живут ненцы да чукчи. У них всю зиму — одна сплошная ночь. А зима у них долгая, северная». «Тоже, — говорит, — правильно. Поллярная ночь — это дело нелегкое, невеселое. А скажите

еще, товарищи, какой из всех наших советских народов — из всех, значит, шестидесяти — дальше всех от Москвы проживает?»

Спросил, а сам на карту смотрит. По карте каждому сразу видно, что самый далекий край — Чукотка. Тогда Ленин говорит: «Мы из Москвы много хороших дел начинали, да бывало иной раз, что эти дела где-нибудь на полпути останавливались, не до всякого уголка доходили. А нам надо каждое дело до конца доводить. Вот и доложите мне, товарищи, как у нас обстоят дела на Чукотке. Что Советская власть чукотскому народу дала? Уж если что в самом дальнем краю нами сделано, так оно, значит, по всей нашей земле прошло, не застряло на полдороге».

Тогда товарищи отвечают Ленину. «Немало, — отвечают, — сделано всё-таки на Чукотке. Чукчей, эскимосов, юкагиров от окончательной смерти спасли. Эти народы совсем погибали, а Советская власть настоящую жизнь им дала. Немало всё-таки». «Хорошо, — Ленин им говорит. — Очень хорошо». И просит рассказать в подробностях — как и что. Докладывают ему и про то, и про другое, и про третье. И про хорошее, и про плохое. Ленин спрашивает: «А как там насчет света?» «На этот счет, — отвечают, — тоже стараемся. Еще в нашей республике керосинцу мало, а всё-таки отправляем туда, выделяем, сколько возможно, для чукотских людей. Электрификация туда еще не дошла, но в дальнейшем обязательно доведем и электрификацию. Чтобы в каждой яранге лампочка Ильича горела».

Прищурился Ильич, покачал головой. «Надо, — говорит, — дальше смотреть. Не только об том надо думать, как бы яранги осветить. Не вечно будут чукчи в грязных ярангах ютиться, скоро захотят в домах жить, как все люди. Надо думать, как им помочь в этом деле. И насчет света тоже больше заботы требуется. Надо об том свете побольше заботиться, от которого в мыслях яснее, в голове. Называется он «светом науки». Без него человеку плохо: видит много, а понять как следует не может. Позовите ко мне ученых людей».

Позвали. Пришли к Ленину ученые русские люди. И Севалот наш пришел. Он тогда совсем еще молодой был, а всё равно ученый. Ленин и говорит им: «Вот какое дело, товарищи. Должны мы чукотским людям помочь,

Плохо они жили, совсем плохо — не жили, а, просто сказать, помирали. Их четыре гнета давили: американский скупщик да царский чиновник, байдарный хозяин да еще шаман. Американские хищники хозяйничали на Чукотке свободней, чем у себя дома, царские чиновники им во всем потакали и тоже, конечно, наживались на горьком чукотском горюшке. И байдарный хозяин мало не брал, так что простому охотнику оставалось только кости глотать да лед сосать. А чтобы легче было охотников обманывать-обирать, — для этого шаманы их в темной дикости держали, в беспросветной слепоте. Хищники крепко за этот край цеплялись, нелегко нам было выволить чукотских людей. Первых наших ревкомовцев на Чукотке убивали — геройски погибли они за свободу, за Советскую власть. Но теперь Чукотка уже наша, советская. Американских скупщиков и царских чиновников там теперь нет. Байдарным хозяевам тоже спеси поубавили. Посылаем чукчам по возможности продукты, охотничий припас. Будем в охотничьих поселках ставить ветродвигатели и проводить электричество».

Налил себе Ленин воды из графина, отпил малость и спрашивает ученых людей: «Что теперь требуется, чтобы в полном смысле вывести чукчей к новой жизни?» И сам на эти слова отвечает: «Для этого должны мы рассеять вековую темноту и всякие дикие шаманские страхи. Одним словом — выволить чукотских людей из-под последнего гнета: одолеть шаманов, ликвидировать безграмотность, школы поставить. Дело это трудное. Грамотных среди чукчей ни одного нет. И даже самой грамоты чукотской еще нет — ни одной буковки. Надо для чукотских людей грамоту составить и вообще принести в этот далекий и темный край свет новой жизни. Должен вас, товарищи, предупредить, что условия там тяжелые, а отчасти даже опасные. Кому-нибудь, может, придется не легче, чем нашим героям-ревкомовцам. Но которые из вас захотят всё-таки поехать, — те пускай помнят, что Советская власть окажет им поддержку и ждет от них полной победы. Неволить никого не будем. У кого из вас, товарищи ученые люди, есть на это благородное дело сердечное желание, у кого хватит силы-смелости, те пускай сами скажут. Тех и пошлем».

Сидят ученые люди, думают. Одни робеют, другие с мыслями собираются. Первым наш Севалот поднялся.

«Есть, — говорит, — у меня такое сердечное желание. И силы-смелости тоже, пожалуй, хватит. Посылайте меня, товарищ Ленин». Ну, за Севалотом еще сколько-то человек поднялось. Которые посмелее да сердцем пошире...

Танечка, милая, вчера не успела дописать тебе письмо — ко мне вечером гости пришли. И с Полярной станции были ребята, и здешние. Дописываю 6-го. Хорошо, что каникулы, — можно писать письмо хоть три дня подряд. Ты не сердись, Танечка, что оно такое длинное получается. Если находишься так далеко от самой близкой своей подруги и пишешь ей после четырехмесячного перерыва, то уж хочется наговориться как следует, за всё время.

Остановилась я вчера на сказке. Она большая, в ней потом рассказывается, как «Севалот» организовал здесь школу, как шаман насылал на него злых духов — «кэле»; как учитель не испугался злых кэле, одолел и их, и самого шамана.

За этой сказкой — сушая правда. Я теперь знаю, как создавалась наша школа, каких трудов, какого мужества это требовало. Помещения не было, небольшая группа учеников (среди которых был и наш теперешний директор Эйнес) занималась в яранге, при свете жирника. Всеволод Ильич жил в этой же яранге — темной, душной, грязной, обгоревшей и кое-как, по-бедняцки, залатанной после пожара (шаман дважды поджигал ее в отместку за то, что хозяйева пустили к себе учителя). Влияние шамана было тогда очень сильным. Он запрещал охотникам посылать детей в школу. Один школьник погиб при каких-то подозрительных обстоятельствах, а шаман объявил, что разгневанные кэле забрали мальчика и заберут всех, кто ходит учиться у «чужака». Гибель мальчика была, скорее всего, подстроена самим шаманом.

Один раз учителя избили до полусмерти. В другой раз камнем угодили ему в колено, так что началось какое-то заболевание и чуть не пришлось ампутировать ногу. Он до сих пор немного прихрамывает. Но, подружившись с простыми охотниками, действуя вместе с маленьким, тогда еще только формировавшимся колхозным активом, Всеволод Ильич выдержал всё это. Выдержал, одолел все препятствия, отстоял школу.

Вот как создавалась школа в Эргыроне. Вот какой человек наш старый «Севалот»!

Я его как-то спросила: «Всеволод Ильич, вы действительно слышали Ленина?» — «Нет, — говорит, — не пришло, к сожалению. Это всё здешние старики выдумали. Атык или Мэмыль — теперь даже трудно установить, от кого это пошло. Пробовал разубедить — ничего не выходит. Больше того: заявляют даже, будто бы я сам им рассказывал об этом. И — что самое смешное — это, собственно, так и было».

Конечно, я очень удивилась, Всеволод Ильич засмеялся и объясняет: «Видите ли, Валя, в первое время мне часто приходилось убеждать охотников в том, что каждый из них может овладеть грамотой, в том, что наука станет достоянием всех народов. Как-то я добавил: «Этому нас еще товарищ Ленин учил». Наверно, я даже не раз это повторял. Вполне возможно, что когда-нибудь и так сказал: «Нам это сам товарищ Ленин говорил». Формула, как вы знаете, обычная, общепринятая; мне, разумеется, в голову не приходило, что она может быть неточно истолкована. А они, видите ли, поняли это выражение слишком буквально, в прямом смысле слова».

Он помолчал немного, а потом очень сердито спрашивает: «Вам, наверно, рассказывали и про то, как я сражался с кэле? Вы понимаете, — какая нелепица получается? Рассказывают о том, как я одолел шамана. Хорошо. Я ведь действительно долгие годы трудился над тем, чтобы очистить их головы от шаманизма, от суеверий. Результаты, казалось бы, налицо, не зря трудился. Но вот, рассказывая о моей борьбе, они вдруг начинают приписывать мне рукопашные схватки с мифическими существами, с этими самыми кэле. Словом, воскрешается старая шаманская чушь — столь же дикая, сколь и живучая, к сожалению. Как же это так? Выходит, что кэле оказались, по существу, сильнее меня, хоть в сказке и говорится о моей победе над ними. Так, что ли? Выходит, что моя победа над шаманом носит, так сказать, только формальный характер? Дичь какая-то, явная дичь».

Так и не удалось мне тогда убедить старика, что в устах Мэмыля кэле являются уже не «шаманской чушью», а сказочными персонажами, поэтическими образами. Он печально ответил мне, что «подобные утешения

да еще и молодой. Как я теперь понимаю, это было одной из причин, по которым Эйнес так редко бывал в школе в первые дни моего пребывания здесь. Он явно избегал меня тогда, а если уж должен был что-нибудь мне сказать, то делал это с неохотой, стараясь как можно скорее закончить разговор. Но то, что казалось мне угрюмостью, невежливостью, даже признаком некультурности, было в действительности результатом мучительной, непреодолимой застенчивости.

Это такой знающий, такой способный парень, что я не перестаю поражаться. В любой области, не говоря уж, конечно, об истории, он знает по крайней мере вдесятеро больше меня. Может быть, только в биологии я посильнее (и то подозреваю, что он просто по скромности не касается при мне вопросов, связанных с моим предметом).

Лет пять назад он кончил пединститут, получил диплом с отличием. Оставляли в аспирантуре — не остался, сказал, что хочет сначала немного поработать. Добился назначения в родной поселок. Здесь тогда была только начальная школа, четырехлетка — та самая, в которой Эйнес когда-то учился. Под его руководством она выросла в семилетку и стала одной из лучших школ округа. В Анадыре говорят, что по истории, математике и литературе «эргыронская четверка стоит подороже иной пятерки» (надеюсь, что с будущего года к этому перечислению будут добавлять и биологию).

На все предложения (а ему уже несколько раз предлагали разные высокие должности и в районном центре, и в окружном) Эйнес отвечает, что уедет отсюда только тогда, когда здесь будет создана десятилетка. И добьется, уверена, что добьется! Но в конце концов ему придется, конечно, поехать в аспирантуру — либо в Хабаровск, либо в Ленинград. Ему и самому-то охота поступить в аспирантуру, и в окружке ему советуют. Да и грешно в самом деле с такой светлой головой не взяться за научную работу.

Ты помнишь, Танька, историю с тем типчиком — уполномоченным из района? Я тогда думала, что он куражился под окном до тех пор, пока хмель не свалил его с ног. А на самом деле всё произошло совсем не так. Кабицкий проснулся от его криков, вышел, чтобы прогнать хулигана, но, увидев, что это приезжий, постеснялся, решил

разбудить Эйнеса. Тот вышел из яранги, не стал осведомляться о чинах приезжего, а, не говоря ни слова, хорошенько потрянул его, заткнул ему рот своей кожаной рукавицей и в одну минуту связал ему ремешком руки. Затем вместе с Кабицким они отнесли этого сразу присмившего типчика к правлению, развязали. Эйнес вынул у него изо рта рукавицу, обтер ее полкой его пиджака и молча ушел. Кабицкий так же молча поднял свой кулачище, многозначительно повертел им перед носом уполномоченного и последовал за Эйнесом.

Они проделали всё это в такой полной тишине для того, чтобы никто ничего не услышал, чтобы не было никаких разговоров на эту тему, чтобы не трепали мое имя. И в то же время они старались, чтоб я не узнала об их вмешательстве, а думала, будто и они ничего не слышали. Только недавно, справедливо считая, что теперь меня это уже не встревожит, Кабицкий рассказал мне, как было дело. Да и то под большим секретом от Эйнеса.

Рассказ Кабицкого позабавил меня и обрадовал: значит, уже и тогда я была здесь совсем не такой одинокой и незащищенной, как мне казалось! Но некоторое время назад я узнала о другом поступке Эйнеса, и эта новость признаюсь, не только обрадовала меня, но и поразодала.

Иду я как-то на лыжах с Полярной станции, догнал меня один семиклассник. Через плечо у него висит рукавица, а у пояса болтается несколько белых куропаток. Смотрю — среди куропаток темнеет какая-то другая птица. Головка, спина и хвост — черные, блестящие, животик — белый, клюв — прямой, довольно длинный, красный. Трехпалые ноги тоже красного цвета. Словом, типичный *Haematopus ostralegus*, славная такая пичуга из отряда куликов. А по орнитологическому справочнику северная граница распространения этих птиц находится на Камчатке, зимой же им вообще полагается улетать далеко на юг. Меня это очень заинтересовало. Почему эта пичуга залетела так далеко на север? Почему она осталась тут на зиму? Я договорилась со школьником, что вечером он занесет мне эту птицу и мы сделаем чучело для нашего биологического кабинета. На всякий случай спрашиваю: «Ты знаешь, где я живу?» — «Да, — говорит, — конечно. В той комнате, где раньше директор жил».

Вот так, совершенно случайно я узнала, что

жил в школьном доме, в комнате, которую занимаю теперь я. Вернувшись, зашла к Кабицким; его, к счастью, не оказалось дома. Пристала к его жене и убедилась в том, что школьник сказал правду.

Эйнес жил в этой комнатке до самого моего приезда. Если бы его мать согласилась расстаться с ярангой, он давно уже мог бы переехать в большую комнату, в один из жилых домов. Но для одного ему было вполне достаточно и этой, а старая Рультынэ категорически отказывалась оставить ярангу, говорила, что в доме ей неприятно, неуютно.

В августе прошлого года в школе уже и не надеялись получить биолога, когда вдруг из Анадыря радировали, что биолог едет. Да не какой-нибудь, а «выпускница Московского университета»! Я сама потом видела эту радиogramму из окроно: «Согласно вашей заявке направляем вам биолога. Фамилия направляемой — Крамаренкова, Валентина Алексеевна. Выпускница Московского университета, комсомолка. Обеспечьте комнату и прочие бытовые условия».

Свободной комнаты, конечно, не было. Правда, можно было поселить меня с преподавательницей литературы (остальные учительницы живут по двое, а она — одна). Но, во-первых, Эйнесу не хотелось стеснять ее, а во-вторых, они с Севалотом почему-то решили, что мне обязательно требуется отдельная комната. И Эйнес освободил для меня свою, накануне моего приезда перебрался в ярангу матери. Рультынэ была очень рада: пять лет сын уговаривал ее переехать в дом, а кончилось тем, что сам к ней в ярангу вернулся.

Вернулся он, правда, не насовсем. В навигацию сюда привезут еще несколько домишек, в том числе один для школы, для учителей. Но пусть это будет один только год, всё равно. На целый год поселиться в яранге, уступив свою комнату приезжей девушке, — это, знаешь ли, больше, чем простая любезность. Что же это? Гостеприимство? Настоящая забота о подчиненных? Исключительное, прямо-таки рыцарское благородство? Не знаю. Но уверена, что не всякий сумел бы так поступить, далеко не всякий!

А я-то какова! Сперва я считала Эйнеса человеком некультурным, отсталым, и в «привязанности к яранге» видела одно из доказательств этой самой отсталости.

Вскоре я убедилась, что Эйнес — культурный, очень начитанный, передовой человек, настоящий представитель молодой чукотской интеллигенции, а «привязанность к яранге» я стала рассматривать как психологическую загадку, как признак удивительной живучести традиций.

Мало того, что я сама предавалась этим глубокомысленным рассуждениям, так я ведь и вслух их высказывала! Стыдно вспомнить! Всего лишь дня за три или за четыре до того, как я узнала, в чьей комнате живу, я говорила Севалоту, что меня удивляет пристрастие Эйнеса к некоторым отжившим традициям. «Не понимаю, — говорю, — почему такой культурный человек, как Эйнес, цепляется за жилье, оставшееся в наследство от старого, нищего быта, чуть ли не от самой первобытной дикости!» А Севалот только улыбнулся в ответ, поиграл своим пенсне и перевел разговор на другую тему. Да, здесь умеют молчать! Представляю себе, как старик в душе смеялся тогда надо мной.

Как мне теперь быть? Посоветуй, Танечка, ты ведь умница, ты всё понимаешь. Делать вид, что я попрежнему не знаю, кто жил до меня в этой комнате? Просто, дескать, не задумываюсь над тем, каким образом она вдруг оказалась свободной? Вообще-то говоря, так оно и было... И всё-таки теперь, когда я уже знаю, что свободная комната не с неба свалилась, я не смогу притворяться. Да и свинством это было бы с моей стороны, самой элементарной неблагодарностью.

Или поблагодарить, сказать Эйнесу, как я тронута его поступком, и... принять эту жертву? Но ведь это никуда не годится! Почему он должен жить из-за меня в яранге? Он ничуть не хуже меня ощущает преимущества комнаты! Он больше пятнадцати лет назад распрощался с ярангой: когда учился в старших классах, жил в интернате анадырской десятилетки, потом жил в Хабаровске, в студенческом общежитии, а последние годы — здесь, в этой комнатке. Больше пятнадцати лет! Он был, конечно, совершенно уверен, что никогда уже не придется ему возвращаться к прежнему образу жизни. Почему же он должен жертвовать из-за меня всеми удобствами, лишать себя минимум на год таких вещей, как стол, кровать, печка, окно... Ведь ничего этого в яранге нет!

Не могу я допустить, чтобы из-за меня человек должен был целый год терпеть такие неудобства, жить, работать, готовиться к урокам в таких условиях. Скорее уж я должна бы уступить ему, а не он мне: он старше и по возрасту, и по своему положению. У него уже пятилетний педагогический стаж, он директор школы, а я девчонка, только что с вузовской скамьи. Словом, со всех точек зрения пользоваться такой жертвой мне просто-напросто неудобно.

С другой стороны, жить в яранге мне, конечно, тоже не хотелось бы. Лучше всего, если б удалось снять угол у кого-нибудь из колхозников, живущих в домах (здесь уже десятка полтора таких домов, не считая школы, клуба, правления колхоза и других поселковых учреждений). Скорее всего, я так и попытаюсь сделать. Думаю, что мне сдадут. Буду платить рублей пятьдесят в месяц. А Эйнеса постараюсь убедить, что в семье мне даже удобнее: во-первых, печку не надо топить, во-вторых — быстрее пойдет изучение чукотского языка. Правильно?

Наверно, Танечка, и ты мне так посоветовала бы. Во всяком случае, ничего лучшего я не смогла придумать. Поживу немного в чукотской семье (теперь уж месяцев семь осталось — в августе можно будет, наверно, перебраться в новый домик). По крайней мере поближе узнаю обстановку, в которой живут мои ученики.

Ну всё, Танечка, пора кончать. Весь день сегодня писала это письмо. Собиралась пойти в магазин и то не пошла. Пойду завтра с утра. Решила купить себе на платье, там есть голубой шелк, очень приятного тона. Одна наша учительница взяла себе и уверяет, что мне к лицу этот цвет.

До свидания, Татьянка! Крепко обнимаю и целую тебя, подруженька! Жду от тебя писем, не менее подробных, чем мои.

Твоя Валька.

* * *

(Мой дорогой читатель! Пришло время хотя бы вкратце сообщить тебе, как эти письма оказались у меня в руках. Это произошло совершенно случайно. Далеко от родного поселка, за тысячи километров от Чукотки я по-

знакомился однажды с девушкой, с сестрой моего товарища по студенческому общежитию. Да, да, это была Таня! Узнав о том, что я родом с Чукотки, Таня рассказала мне, что там работает ее лучшая подруга — Валя Крамаренкова. Потом Таня прочла мне как-то несколько отрывков из присланного подругой письма. Она сделала это потому, что хорошо понимала, как интересна мне каждая весточка из родных краев. При этом она выбирала для прочтения только такие места, в которых не было ничего сугубо личного, ничего такого, что предназначалось Валею лишь для глаз близкой подруги. Я слушал эти отрывки, радовался упоминанию дорогих мне имен, и хотя во впечатлениях Вали многое было неточным, меня трогала непосредственность ее впечатлений, ее искренность и горячность. И я подумал тогда, что и тебе, читатель, было бы, наверно, интересно увидеть колхоз «Утро» не только таким, каким описываю его я, но и таким, каким он представляется приезжему человеку. По моей просьбе Таня написала об этом своей подруге, и впоследствии я получил в свое полное распоряжение четыре письма. Ты уже прочел их, мой дорогой читатель. Что же касается пятого письма... Дело в том, что из всего пятого письма мне были переданы только два последних листочка, четыре странички: на предыдущих было написано, видимо, то, чего не надлежит знать никому, кроме Тани. Может быть, самое интересное, самое важное содержится именно в тех листках, которых я так и не увидел? Возможно. Но тут уж ничего не поделаешь. Я могу привести здесь только конец пятого письма, четыре странички, начинающиеся с середины фразы, с полуслова. Как и первые письма, я привожу их полностью, без всяких изменений, в том виде, в каком они были мне переданы).

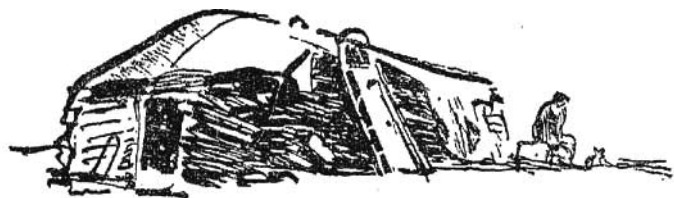
* * *

...чилось опять, что я посвятила почти всё письмо своим переживаниям и всяким делам, связанным с моей собственной персоной. А я хотела написать тебе, Татьяна, о здешней жизни, о необыкновенной заполярной весне... Но я не писала тебе с января — около пяти месяцев, — и поэтому мне прежде всего хотелось поделиться с тобой тем, что так волновало меня всё это время.

Между тем в нашем поселке происходят десятки событий, каждое из которых заслуживало бы целого

Р. S. Т а н е ч к а, хочу внести небольшое уточнение в свой адрес. Речь, собственно, идет не столько об адресе (который остается прежним), сколько об адресате. Пиши теперь не «Валентине Алексеевне Крамаренковой», а «Валентине Алексеевне Эйнес». В первый же день после окончания учебного года мы регистрируемся. Так что к приходу твоего следующего письма у меня уже будет новая фамилия.





IX

ПОСЛЕДНЯЯ ЯРАНГА

Одни люди сначала подумают как следует, обмозгуют каждое слово и только после этого говорят. Другие умеют и думать и говорить почти одновременно. У третьих мысли как бы не поспевают за словами; такие люди наболтают вам полные уши всякой всячины — и про то, что было, и про то, чего не было, а потом сами удивляются, размышляют: «Откуда оно взялось? Кажется, и пьяным не был, а столько наплел, что даже вспомнить стыдно!»

Кэнири нельзя отнести ни к одной из этих трех категорий: он вообще никогда не думает о том, что говорит, — ни до разговора, ни во время него, ни после.

Разве кто-нибудь, кроме Кэнири, мог назвать Рультыне «отсталой женщиной»? Никогда! Во всем колхозе «Утро» ни у кого, кроме Кэнири, и язык не повернулся бы произнести такие несправедливые слова.

Разве отсталая женщина могла бы воспитать такого сына, как Эйнес? Теперь-то, конечно, человек с образованием не редкость в нашем поселке. Есть и приезжие образованные люди, есть и местные. Вамче и Рочгына закончили школу руководящих колхозных кадров. Аймына — курсы заведующих красными ярангами, Кэлевги — электромеханический техникум. У Мэмыля, у Атыка дети в институтах учатся. Но законченного высшего образования, кроме Эйнеса, никто из наших коренных односельчан еще и до сих пор не имеет. А тогда, когда Эйнес окончил Хабаровский пединститут и получил назначение

в родной поселок директором школы, — тогда, пожалуй, не только у нас, а и на всей Чукотке таких случаев не много насчиталось бы. Может рядовая колхозница Рультынэ гордиться таким сыном? Ведь недаром говорят, что слава солнца — это свет, слава охотника — его добыча, а слава матери — ее дети.

Впрочем, иногда говорят и по-другому: «Всякая моржatina вкусна, но вкуснее всего охотнику мясо того моржа, которого он добыл сам». Да, я думаю, что даже фитиль жирника, горящий маленьким, неярким огоньком, не согласился бы поменяться с луной, сияющей лишь отраженным светом — сильным, но не своим... Что ж, Рультынэ может гордиться не только делами сына, за себя ей тоже краснеть не приходится. Ее байдара, как говорится, тоже не посуху тащится.

Когда наш колхоз еще только создавался, чьи имена значились первыми в списке его членов? Вслед за Мэмылем, за Вамче, Кымыном и Гэмауге записалась вдова Рультынэ. Иные еще по два-три года после того раздумывали, присматривались, а Рультынэ сразу записалась, на первом же собрании. Уж очень тяжело ей жилось, сразу раскрылось ее сердце навстречу новой жизни.

А в чьей яранге помещалась школа, когда Всеволод Ильич приехал в наш поселок, чтобы учить чукотских ребят грамоте? Тогда деревянных домов и в районном центре еще не было, о домах знали только по рассказам охотников, которым довелось побывать в Анадыре или в Анюйске, на ярмарке. На следующий год пароход привез бревенчатый сруб и в наш поселок, но первую зиму Всеволод Ильич занимался с ребятами в яранге. Ты уже знаешь об этом, мой дорогой читатель: Валя Крамаренкова упоминала об этом в одном из своих писем. Но она не писала о том, что это была яранга вдовы Рультынэ! Об истории нашей школы Вале рассказывал, видимо, Эйнес, а он по скромности, конечно, умолчал о роли, которую сыграла в этом деле его мать. Между тем она уже тогда показала себя передовым человеком. Шаман грозился, что тот, кто пустит в свою ярангу школу, будет сурово наказан злыми духами. Силен еще был тогда шаман, многие охотники верили ему, боялись прогневить злых духов. Может, и Рультынэ в душе немного побаивалась, но всё-таки не послушалась шамана.

Не послушалась и тогда, когда он подговорил охот-

ников забрать из школы детей, выдумал, будто всех школьников навсегда отберут у родителей. В другой раз я еще расскажу об этой истории немного подробней, а сейчас хочу только сообщить, что Рультынэ не поверила шаману, поверила русскому учителю, не забрала Эйнеса из школы. Гэмалькот и Атык тоже не забрали своих детей, а вслед за ними и другие охотники осмелели, — так что не удалось шаману сорвать организацию школы в нашем поселке.

Ну хорошо, предположим, что всего этого Кэнири не помнит, — он тогда еще мальчишкой был. Но о том, как Рультынэ работает сейчас, — об этом-то он знает, конечно. Знает, что она руководит женской пошивочной бригадой, которая приносит колхозу не меньше дохода, чем лучшие охотничьи бригады. Знает, что таких мастериц, как она, по всему побережью, наверно, и десяти не наберется. Известно ему, разумеется, и то, что Рультынэ, как человек уважаемый, как передовик колхозного производства, избрана депутатом сельсовета.

Когда в Анадыре была устроена окружная выставка произведений народного творчества, колхозники артели «Утро» получили две почетные грамоты: за работу по кости и за художественное шитье. Одну прислали косторезу Гэмауге, а другую — Рультынэ. На выставке демонстрировался изготовленный ею праздничный чукотский костюм, расшитый национальным узором. Говорят, какой-то ленинградский художник, приезжавший на Чукотку с этнографической экспедицией Академии наук, целый час просидел на выставке перед этим костюмом — все узоры срисовывал.

А чем Кэнири прославил свой колхоз? Болтовней своей? Тем, что вечно с ним случаются какие-нибудь истории? Разве что этим! Правда, писали о нем в газетах, не раз писали. И в районной и даже в окружной. О нашей колхозной стенной газете я уж и не говорю. Но какие это были заметки? О чем там шла речь? Писали, например, о том, как его унесло на льдине в открытое море. Речь-то больше шла о спасательных работах, о летчике, который его отыскал, но и о нем упоминалось в той заметке. Писали о нем еще и раньше — тогда, когда жена его, Тэюнэ, родила вторую пару двойняшек. Но больше, конечно, говорилось там о Тэюнэ, о новорожденных, а о Кэнири упоминалось только в первой фразе, так

сказать, для разбега. Дескать, «в семье охотника Кэнири из морзверобойного колхоза «Утро» произошло радостное событие», — и так далее.

А как он себя показал на окружных турнирах колхозных шахматистов? Ведь его два раза посылали на эти турниры, два года подряд. Но почетной грамоты он оттуда не привез, — какое там! Оказался — стыдно сказать! — на предпоследнем месте. И в первый раз на предпоследнем, и на следующий год — опять то же самое. Завоевал, как говорится, второе место с конца. Мало того, что сам оконфузился, так он и артель нашу оконфузил. Ведь в газете, когда сообщались итоги, так после фамилии каждого участника указано было, откуда он, из какого колхоза. . .

Впрочем, ничего постыдного в этом, конечно, нет: чтобы кто-нибудь выиграл, обязательно требуется, чтобы кто-нибудь и проиграл. В шахматах Кэнири кое-что смыслит, иначе его и не допустили бы к окружному турниру. Оба раза, перед тем как в Анадырь поехать, Кэнири в районном турнире участвовал и оба раза выходил на хорошие места, призы привозил. А в нашем колхозном клубе ему по-настоящему даже сыграть не с кем. Разве что фельдшер с Полярной станции придет, а то так и вовсе нет партнера по силам. В Анадырь лучшие игроки со всего округа съезжаются, а округ у нас большой, вот и нашлись Ботвинники посильнее, чем Кэнири.

Так что в этом отношении я его, допустим, зря выругал. Это уж просто так получилось, в сердцах, за несправедливые его слова насчет Рультынэ. Тем более, что наговорил он про нее именно тогда, во время окружного турнира, когда во второй раз в Анадырь ездил.

Мало того, что он несправедливо обидел старую женщину, — он своей болтовней вообще чуть не расстроил нам одно дело. Вернее, даже расстроил на время. Теперь то в поселке колхоза «Утро» все люди уже в домах живут. А если бы Кэнири умел думать о том, что он говорит, так мы по крайней мере на год раньше распрощались бы с ярангами. Но об этом я расскажу немного позже.

* * *

Мне приходит в голову, что ты, дорогой мой товарищ читатель, находишься, может быть, в некотором недоумении. Может быть, ты даже немного обижен за Кэнири.

Ведь он совсем уж как будто исправился. Недаром же старый Мэмыль говорил, что морские кэле ошиблись: плохого себе забрали, а отдали вместо него хорошего. Стоит ли после этого снова ругать человека?

Уверяю тебя, товарищ читатель, что я не стал бы ругать Кэнири, если бы он не заслуживал этого. Не знаю, полюбился ли он хоть чуточку тебе, а я его, несмотря на все его недостатки... Впрочем, нет, своего отношения к нему я тоже толком не знаю. Но во всяком случае я не стал бы придирааться к нему, упрекать его в чем-нибудь зря.

Да, Кэнири, конечно, изменился за последние два-три года, изменился к лучшему. Особенно это стало заметно после тех нескольких дней, которые он провел на льдине. Видимо, это было для него полезной встряской. Но не следует придавать этой истории особое значение. Одни считали, что неплохим лекарством было само плавание на льдине; другие объясняли исцеление Кэнири благодарностью за то, что сняли его с этой льдины, спасли. Я думаю, что доля правды есть и в одном предположении и в другом, но даже в обоих этих предположениях нет всей правды. По-моему, изменения, происшедшие в Кэнири, подготавливались уже давно. Сама наша колхозная жизнь постепенно подготовила их, обычные дела колхоза «Утро». Кто помог лежебоке подняться на ноги? Кымын и Мэмыль считают, что этим врачом был весенний ветер, оторвавший льдину от берегового припая; Вамче и Унпэнэр полагают, что это скорее заслуга летчика Бакшеева и других участников спасательных работ. А на самом деле этими чудесными врачами были в такой же мере и сами они — и Кымын, и Мэмыль, и Вамче, и Унпэнэр. Если бы не подготовка, проведенная ими, так ни ветер, ни летчик не могли бы исправить такого законченного лодыря; Кэнири привезли бы в поселок таким же, каким его унесло в море...

Кроме того, я вовсе не считаю, что перемена произошла такая уж необыкновенная. Что же касается утверждений старого Мэмыля о замене, которую будто бы произвели по ошибке морские кэле, так ведь это же всё-таки Мэмыль утверждал, а не я! Конечно, он очень умный старик, я люблю его слушать и всегда считаюсь с его мнением, но всё-таки натура у него слишком увлекающаяся. Он теперь готов расхваливать Кэнири до

небес. Как начал во время ужина на корабле, так до сих пор не может остановиться.

Да, трудней у Кэнири на счету теперь порядочно. Ему теперь хватает не только на самое необходимое, вроде мягкой шляпы и модного галстука, но и на такие предметы роскоши, как штаны без дыр и целые, добротные торбазы. И для Тэюнэ он привез из Анадыря всяких подарков, и детей они приодели, и кое-что из мебели приобрели. Правда, не скопив еще денег на кровать, Кэнири купил патефон с набором пластинок; правда, старшим сыновьям — Эйгели и Омрылькоту — он привез форменные школьные фуражки, хотя в школу им идти еще только через четыре года, да и вообще фуражечки не для наших зим придуманы. Но всё это, конечно, его личное дело. Важно то, что он теперь от работы не отлынивает. Ни Унпэнэру, ни Ринтувги не приходится теперь по дороге в бригаду заходить за Кэнири, — он сам является на работу одним из первых.

Это радует меня не меньше, чем старого Мэмыля. Я только хочу подчеркнуть другое. То, что Кэнири и раньше состоял не из одних пороков, были в его характере и хорошие черты. И то, что далеко не от всех своих недостатков он излечился. Есть в нем и сейчас такие нелепые черты, что иногда смех разбирает, а иногда зло берет.

Может быть, не следует слишком буквально понимать слова Мэмыля? В морских кэлях, как и во всяких прочих кэлях, старик не верит — это я знаю совершенно определенно. Верит ли он в то, что характер человека может полностью перемениться? Не думаю. Лично я в такие перемены не очень-то верю.

Кэнири бережно хранит в своей записной книжке несколько газетных вырезок (в эту книжку он никогда ничего не записывает, но всегда носит ее в кармане и вынимает довольно часто, потому что в ее обложку вделано зеркальце). Есть там и те две заметки, о которых я уже упоминал: о рождении второй пары близнецов и о том, как сняли Кэнири с льдины; есть и вырезки, в которых сообщается об итогах районных турниров. В первый раз Кэнири вышел в районном турнире на 3-е место, а на следующий год, как сказано было в газете, «1-е и 2-е места поделили тт. Кэнири (охотник из колхоза «Утро») и Никифоров (счетовод колхоза им. Сергея Лазо)». Но

вот заметок об итогах окружного турнира нет у Кэнири. Не стал он вырезать их из газеты, не захотел хранить в своей записной книжке и показывать каждому.

Что ж, не будем судить его за это слишком строго: не много найдется людей, которые любят похвалиться своими поражениями. Но вряд ли, мой дорогой читатель, ты захотел бы, чтоб моя книга была похожа на записную книжку Кэнири, где хранятся заметки об одних лишь приятных событиях. Нет уж! И о нем, и обо всех остальных я взялся рассказать правду, неприкрашенную правду. А она, как известно, соткана не из одних приятностей! Так что иногда мне приходится отозваться о ком-нибудь из своих героев и не очень уважительно.

Ну как, например, можно относиться с уважением к человеку, который не может сказать и десятка слов, не приврав чего-нибудь?! О любом из своих односельчан он без всякого зазрения совести наплетет за полчаса столько чуши, что на трех собачьих упряжках за три дня не вывезешь. А спроси его, зачем он это сделал, — он и сам не сможет объяснить.

* * *

Самое досадное заключается, пожалуй, в том, что нашелся человек, который поверил Кэнири.

Человек этот был приезжий, в Анадыре работал недавно. Да и вообще, говорят, впервые был назначен на такую ответственную работу — заместителем начальника отдела.

Время было летнее, отпускное, начальник отдела находился не то в Алушке, не то в Алуште. Или, может быть, в Анапе. А заместитель — человек молодой, горячий — решил в два счета покончить на Чукотке со всеми остатками старого быта. Особенно ему хотелось, наверно, поскорее написать в отчете, что в таких-то поселках и стойбищах не осталось больше ни одной яранги, все жители переехали в новые, благоустроенные дома.

Может, он и погорячился по молодости, — в два счета такое дело не сделаешь, но вообще-то я его вполне понимаю. Разве яранга — это жилье для культурного человека? Везде люди в домах живут: одни в больших домах, другие в маленьких; у одних жилье высотным зданием называется, у других — избой, у третьих — мазанкой или хатой; но у всех оно с окнами, с дверями, с печью или

даже, скажем, с центральным отоплением. Почему же чукчи должны в ярангах жить, будто какие-нибудь доисторические, дикие люди? Ни окон, ни дверей; вместо двери — низенький вход, шкурой завешенный; вместо печи — очаг без трубы, а проще сказать — обыкновенный костерок. Наверно, в те времена, когда не перевелись еще на земле мамонты, огромные бивни которых попадаются иногда в наших местах, наверно, и тогда охотники жили в таких ярангах. И так до советской власти, до колхозного строя дотянули. А теперь другие времена; чукчи хотят по-человечески жить, как и все. Отжила яранга свой долгий век! Недаром, что ни год, — всё больше чукотских охотников и оленеводов обзаводится настоящими бревенчатыми домами.

Но у нас, на Чукотском побережье, леса не растут, у нас каждое бревнышко — на вес золота. Срубы нам пароходами привозят, из-за трех морей, так что в некоторых поселках старые яранги должны еще немного послужить. Кое-где приходится пока что даже и новые ставить.

Так вот, значит, сидит этот молодой заместитель начальника отдела в своем кабинете, просматривает всякие папки со сводками и отчетами. По одним бумагам выходит у него, что в нашем поселке все уже в домах живут, а по другим — будто и яранги еще имеются. Спрашивает он у секретаря отдела. Секретарь тоже не знает. «В этом, говорит, районе мне бывать не приходилось. Ближними районами начальник сам занимается».

— Ближними? А сколько отсюда до колхоза «Утро»?

— Туда километров, пожалуй, семьсот или немного больше. По чукотским масштабам это не так уж далеко.

— Надо бы запросить, а то путаница получается. С одной стороны, все их заявки на дома удовлетворены, больше им, видимо, не нужно. Все просят, а от них больше ни одной заявки нет. А с другой стороны, рапорта о полной ликвидации яранг тоже от них не поступало. Составьте-ка радиogramму председателю сельсовета.

— Составить, конечно, можно. Только, сами знаете, за запросы сейчас тоже могут против шерстки погладить. Излишняя, скажут, переписка, бумажное руководство. У нас и так в этом месяце с перепиской перебор получился... Тут, по-моему, нужно сделать иначе. Сейчас в Доме культуры проводится окружной турнир колхоз-

ных шахматистов. Один из участников как раз из колхоза «Утро». Охотник Кэнири. Вот бы позвать его да и расспросить.

— Отлично, так и сделаем. Пригласите его на завтра.

На следующий день, в свободное от игры время, Кэнири пришел к ним. Заместитель начальника усадил его в кресло, поговорил с ним немного о шахматах, потом спрашивает:

— У вас, товарищ Кэнири, все охотники в домах живут? Мне бы надо кое-какие данные уточнить. Как у вас в колхозе с благоустройством, с переселением из яранг в дома?

— Спасибо, с этим делом у нас хорошо. Еще три года назад все в ярангах жили, в домах только школа была, сельсовет, правление, магазин. А потом стали привозить срубы и для колхозников, для жилья. Очень смешно тогда получилось. Раньше какой у нас был стройматериал? Одни моржовые шкуры, больше никакого!

И Кэнири рассказал забавную историю о том, как охотник Гэмалькот, получивший дом одним из первых и не очень доверявший толевой крыше, пытался обшить ее по толю моржовыми шкурами.

— Значит, вашему колхозу больше домов не требуется?

— Нет, не требуется. В первый раз мы только пять срубов получили, а в следующую навигацию — сразу одиннадцать. Десять — по заявке правления, а одиннадцатый — лично для меня. Не слышали?

И Кэнири рассказал другую историю — о том, как правление колхоза (которое будто бы не умеет ценить талантливых людей) не включило его в заявку, а окрисполком (который разбирается в людях!) исправил эту ошибку, прислал один дом сверх заявки — специально для охотника Кэнири и его семьи.

— А в этом году и все остальные получили? — спросил заместитель начальника, выслушав вторую историю.

— Да, остальные охотники получили в третью очередь. Это было весной, в самом начале навигации. Гэмауге и Мэмыль получили один сруб на двоих — они сами об этом попросили. Они ведь оба малосемейные: у Гэмауге — только Инрын, у Мэмыля — только Тэгрынэ...

Кэнири хотел было рассказать еще какую-то историю, но заместитель начальника прервал его:

— Так, значит, и запишем: в поселке колхоза «Утро» нет больше ни одной яранги.

— Почему же нет? Есть.

— Есть? — огорченно переспросил заместитель начальника.

— А как же! Когда мне предоставили дом, я своей яранги разбирать не стал, а пошел в правление и сказал председателю: «В русских колхозах на лошадях ездят. Так? И для лошадей имеются там специальные конюшни. А если, скажем, автомобиль купят, то строят для него гараж. Так? Почему же мы своих ездовых собак мало бережем?»

И Кэнири рассказал историю о том, как в яранге, подаренной им колхозу «Утро», был создан колхозный собачник.

— Прекрасная инициатива! — с облегчением рассмеялся заместитель начальника. — Вроде, значит, колхозной псарни... Или, точнее сказать, собачья конюшня. Одним словом — собачник! Очень ценная инициатива! А жилых яранг нет, значит, ни одной?

— Есть и жилая. Одна всё-таки есть, — печально произнес Кэнири, понимая, что собеседнику был бы приятнее противоположный ответ. — Рультынэ до сих пор в яранге живет.

— Как же это? — рассердился заместитель начальника. — Ведь вы же мне сами сказали, что все уже переселились в дома!

— Так то вы про охотников спрашивали. Охотники все переселились. А Рультынэ не охотник. Она в пошивочной бригаде.

— Ничего не понимаю! Ну не всё ли мне равно, в какой она бригаде? Ведь я вас только что спрашивал, требуются ли еще дома вашему колхозу! И вы мне ответили, что не требуются.

— Правильно, — подтвердил Кэнири, — потребности больше нет. Рультынэ сама не хочет переселяться. У нее родной сын в новом доме живет, Эйнес. Не знаете его? Он недавно на русской учительнице женился. Они звали к себе Рультынэ. А она не хочет.

— Вот оно что! Теперь мне всё ясно, спасибо. Такой вариант мне, знаете ли, просто в голову не приходил. Как же это можно предпочитать ярангу? Или, может, у нее с сыном нелады? Или с невесткой? Знаете, всякое

бывает. Нет? Или, действительно, она уж так безнадежно завязла в старом быте?

— Может, и нелады. Только нет, вернее, что завязла. Она на самом деле не хочет ярангу бросать. Знаете, женщина старая, отсталая. Привыкла на шкурах спать.

И Кэнири рассказал еще одну историю — о том, как, увидев в какой-то кинокартине кошку, Рультынэ заявила, что «этих маленьких собак на каждую упряжку нужно, наверно, штук по сорок».

* * *

А теперь я постараюсь рассказать о том, что было правдой в словах Кэнири, а что он присочинил. Впрочем, правда в его словах так тесно переплетается с ложью, что не всегда их удастся расплести.

Во-первых, относительно сруба, присланного для него по решению окрисполкома. Действительно, было такое дело. Правление в тот год не включило Кэнири в заявку: домов и для лучших колхозников не хватало, а он тогда далеко не принадлежал к числу лучших. Но заявку послали еще в самом начале зимы, в ноябре, кажется. А в феврале жена Кэнири родила вторую двойню. Тогда Рультынэ, в бригаде которой работает жена Кэнири, снова подняла на правлении вопрос о доме. «Кэнири лентяй, это верно, — сказала она. — А Тэюнэ? Тэюнэ в моей бригаде — лучшая мастерица. Вы посмотрите, сколько у нее трудодней! Почему вы всё по мужьям считаете? Привыкли так? Вы по ней самой посчитайте, по ее трудодням! А к тому же, четверо ребят у нее теперь. Она их должна растить в чистоте, как полагается. Нельзя их в яранге оставлять!» Правление согласилось, послали дополнительную заявку. Но к этому времени заявки уже были рассмотрены в округе, решение о распределении срубов уже было принято. Вот почему понадобилось особое решение окрисполкома. А вовсе не потому, что в окрисполкоме и в правлении колхоза по-разному будто бы расценивали работу Кэнири.

Во-вторых, относительно организации колхозного собачника. И тут есть зернышко правды: он, действительно, помешается в старой яранге Кэнири. Эту историю, дорогой мой читатель, ты и сам, наверно, помнишь. Каждый бережливый охотник, поставив себе дом, переделывал ярангу для хозяйственных нужд или разбирал ее: и

жерди, и моржовые шкуры в хорошем хозяйстве всегда пригодятся. Только один ленивый и беспечный Кэнири, перебравшись в дом, сразу же позабыл о своей яранге. Ты помнишь, надеюсь, что вовсе не ему, а председателю колхоза пришла в голову мысль устроить в этой яранге собачник. Она ведь порядочное время стояла совсем заброшенной, а потом председатель, с разрешения нерадивого, но и не жадного владельца, нашел ей новое применение.

И так — во всем. Нелегко выловить маленькую рыбку правды из целого озера выдумок Кэнири.

Но относительно того, что Рультынэ не хотела переселиться в дом, — это, к сожалению, вовсе не было выдумкой Кэнири. Не в отсталости, конечно, дело, но факт остается фактом: не желала — и всё тут.

Сколько раз Эйнес пытался уговорить Рультынэ переехать к нему! Однажды, когда Эйнес еще холостым был, он такую штуку проделал: перенес к себе ее вещи, пока она в сельсовете заседала, поставил в своей комнате вторую койку, постель постелил, а сам лег — сделал вид, будто спит. Он тогда ведь еще в школьном доме жил, в тридцати шагах от яранги, в которой родился и вырос. Рультынэ вернулась после заседания, увидела, что в яранге пусто, зашла к сыну, легла на койку. Утром встали они оба веселые, поговорили о чем-то постороннем, чайку попили; она в бригаду ушла, он — на уроки. Вернулся — всё в прежнем виде: мать все свои пожитки обратно перенесла, велела школьному сторожу убрать вторую койку.

Когда Эйнес женился, он уж вместе с женой повел наступление. Бывало скажет матери:

— Ну что ты так за эту ярангу держишься? Смотри — на весь поселок ты одна такая осталась.

Валя поддерживает мужа:

— Смотрите, за одну неделю три новоселья справили. Все в дома перебираются!

А Рультынэ им отвечает:

— Вот и хорошо, что перебираются. Народ по-новому хочет жить, культурно, чисто.

— А чем же ты хуже других? — спрашивает Эйнес.

— Может, хуже, а может и нет — не мне судить. Человека надо ценить по работе. А в работе я пока что не отстаю.

— Правильно. Почему же и тебе не жить в доме, культурно, чисто?

— Что ты, Эйнес, разве у меня в яранге грязно? Погляди-ка. Почище, чем в некоторых домах. А с тех пор, как ты сюда электричество провел, совсем хорошо стало.

— Так ведь в доме, — Валя говорит, — еще лучше было бы!

— Нет, дети, нет. Мне в доме не лучше. Неуютно там, холодно как-то.

— Совсем не холодно! Ведь я тебе с градусником в руках доказал, что там теплее, чем здесь. А можно еще теплей натопить.

— Кто не хочет понять, тот никогда не поймет. Может быть, в комнате и теплей, но тепло там совсем не такое. Потому, может быть, что слишком просторно. Будто не в своем жилье сидишь, а посреди тундры.

— Ну, это дело поправимое, — улыбается Валя. — Переезжайте к нам, Рультынэ! Можно отгородить в комнате угол, шкуры по стенам развесить и на полу разостлать. Будет совсем как в яранге!

— Совсем как в яранге? Для чего же тогда перебираться?

Смеется Эйнес, что мать вроде бы перехитрила их обоих, переспорила. А она продолжает:

— Ты думаешь, Эйнес, я тогда, в комнате у тебя, хоть минутку спала? До утра всё ворочалась с боку на бок! Всё жалела тебя, что тебе приходится на койке спать.

— Это дело привычки, уверяю тебя. В Хабаровске, в общежитии, мне тоже сначала неудобно было. Казалось, что койка пошатывается, поскрипывает, будто на нарте едешь. А потом — недели не прошло — привык.

— Вот и я, дети, говорю, что всё дело в привычке. Непривычно мне в доме, неуютно. А в мои годы трудно уже привычки менять. В яранге я росла, в яранге тебя, Эйнес, вырастила, здесь, наверно, и помру.

Всё-таки Эйнес и Валя не отступались. Да и другие говорили с Рультынэ. И чувствовалось, что возражает она уже не так решительно, как раньше. Ей уже и самой, конечно, хотелось переехать в дом. Ведь не всё человек по привычке делает, — иначе и жизнь наша вперед не двигалась бы.

Но тут как раз пришла в сельсовет такая радиограмма: «Имеем возможность доставить вам еще в течение нынешней навигации один сруб с полным комплектом остальных материалов и деталей. В случае отказа колхозницы Рультынэ, проживающей в яранге, переселиться в дом, будем рассматривать это как пробел в просветительной работе сельсовета, как свидетельство недостаточной борьбы с пережитками прошлого, с проявлениями отсталости и бескультуры».

Ох и обиделась же Рультынэ! Ведь надо же такому случиться: в тот день, когда пришла эта радиограмма, в сельсовете как раз Рультынэ дежурила. После этого лучше было и не заговаривать с нею про дом.

Вамче иногда пытался, но она сразу переходила в наступление:

— Ты, Вамче, объясни мне лучше, почему в колхоз имени Лазо срубы не шлют. От лазовцев заявка давно послана! Там больше половины народу еще в ярангах живет. Есть семьи по десять человек.

— Как же по-твоему, почему не шлют?

— А потому, что легкую дорожку ищут. Там одним срубом не обойдешься, там комплектов пятнадцать надо. Понятно? С одним-то срубом меньше возни, чем с пятнадцатью! В «Утро» один сруб пошлешь, и уже можно пошуметь, написать, что на целый поселок ни одной яранги не осталось. Я хоть и отсталая, а хитрости эти насквозь вижу. Нет уж, пусть посылают туда, где и вправду дома нужны.

— А ты-то почему не хочешь переехать? Ведь сама, помнится, еще в прошлом году за Тэюнэ выступала...

— У Тэюнэ ребята маленькие. Пусть с первых лет к хорошему приучаются. А я уж стара, поздно мне переучиваться.

— Мэмыль постарше тебя — и тот ведь переехал.

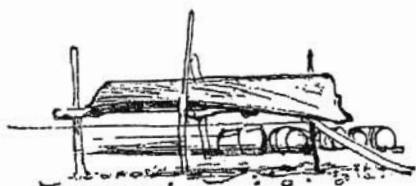
— Мэмыль до ста лет не состарившись проживет. С ним никакие годы не справятся. Да и бескультурным его никто не называет. А я бескультурная, со мной бороться надо.

Особенно возмущалась Рультынэ тем, что пришла эта радиограмма меньше чем через месяц после почетной грамоты за художественное шитье. Объясняли ей, что в окружном центре учреждений разных много, в учреждениях много разных отделов, в отделах — сотрудников; на-

родным творчеством занимаются одни, жильем — совсем другие. Не объясняли ей только того, что такая радиогамма возникла по вине Кэнири. Что именно его болтовня привела к такой неприятной ошибке. Этому ей не говорили, потому что и сами тогда не знали об этом.

Но Рультынэ всё равно никаких объяснений даже слушать не хотела, — уж очень ее обидели несправедливые слова.

Так и не удалось в то лето распрощаться нашему поселку с последней ярангой.





Х

ИЗ РАССКАЗОВ СТАРОГО МЭМЫЛЯ

НА ШХУНЕ „МЭРИ САЙМ“

— Снялись мы с якоря только в конце июля. До этого капитан Сайм никак не мог подобрать команду по своему вкусу. Ему нужны были такие парни, каких даже на Алашке не сразу найдешь. Он сам это говорил. «Мне, — говорил, — нужны такие ребята, которым море по колено». В трезвом-то виде он был неразговорчив, а когда выпивал, язык у него сразу развязывался. «Я, — говорил он, — капитан торговой шхуны, а не женской волейбольной команды. Мне такие ребята нужны, которые за сотню долларов продадут родного брата...» А на самом деле он подыскивал таких, которые не то что за сотню долларов, а и за бутылку виски кого угодно продадут. Представляете себе, какая компания подобралась на нашей шхуне? .. Ну, снялись мы с якоря, прошли Шелеховским проливом. Потом обогнули полуостров, прошли проливом Акутан между Лисьими островами. Вышли в Берингово море и взяли курс на Чукотку... Только погодите, сначала я расскажу вам, каким ветром меня занесло на

шхуну «Мэри Сайм». А то вы еще подумаете, что и старый Мэмыль тоже когда-то разбоем жил.

Мэмыль замолкает, неторопливо достает из кармана кiset, развязывает его и начинает набивать табаком свою трубочку. Резчик Гэмауге, школьный сторож Кабицкий, старые охотники Атык и Гэмалькот следуют его примеру. У меня нет трубки, я закуриваю папиросу. Когда шесть дымков поднимаются над нашими головами, на крыльчке становится уютнее и даже как будто теплее. И это весьма кстати, — в воздухе уже довольно прохладно.

Дыхание приближающейся зимы чувствуется во всем. Правда, настоящих холодов еще не было, но и теплые дни, видимо, уже не вернутся до будущего лета. Дальние вершины гор прошлой ночью покрылись снегом. Сегодня ясный день, вершины хорошо видны. Легкие облака неподвижно висят над ними.

Тихо сегодня, безветренно. Вот старики и собрались на крыльце правления. Правда, мне еще рано записываться в старики, но я люблю иногда посидеть с ними, послушать. Сидим, беседуем на солнышке. Хоть оно уже и не греет, а всё-таки приятно. Скоро наступит долгая чукотская зима, — тогда уж так-то вот не посидишь.

Из всех этих стариков Мэмыль — самый старший. Он сам чем-то похож на этот ясный день поздней осени. Волосы на его голове такие же белые, как снег на горных вершинах. Дымок от его трубки, как висящее над вершинами облачко. И голос у него такой же спокойный, ясный, как этот осенний день.

Аляску он называет Алашкой, как называли ее когда-то русские мореходы. Знает он ее не по географическим картам, а по собственным скитаниям. В те годы, когда он был на Аляске, ее горы и реки, ее гавани и города носили еще не американские, а русские и эскимосские имена. Давно это было.

— Так неужели ж я вам не рассказывал, как я плавал на шхуне «Мэри Сайм»? — спрашивает Мэмыль. — Никогда не рассказывал? Нет? Ну, значит, к слову не приходилось. Слушайте тогда дальше.

Я к тому времени уже четвертый год на Алашке мытарился. Матросом по Квихпаку плавал, на Юконе золото мыл, за Кадьяком китов гарпунил. Всё старался денег скопить, чтобы домой добраться. Один раз удалось на билет накопить, да не повезло, — ногу сломал, пришлось

в больницу лечь. Больница все деньги съела. Опять ни с чем остался. Это в Ново-Архангельске было, — как его еще по-другому называют? Ситхой, что ли? Ну вот, в Ситхе я, значит, и лежал. Потом месяца четыре без работы маялся. Наконец один знакомый матрос устроил меня в такое заведение — ресторан называется. Попросту говоря, в портовый кабак. Полы мыть, дрова колоть, драки разнимать. Там и нашел меня капитан Сайм.

Не то, чтобы я ему по вкусу пришелся или ему характер мой понравился. Ему понравилось, что я сильный. А силы у меня тогда много было. И главное — капитану Сайму нужен был хоть один чукча в команде. Чтобы он Чукотский берег знал и чтобы, в случае нужды, переводчиком мог служить.

Кроме того, он любил, чтобы в команде никто друг другу не верил. Всех друг на друга натравливал. С таким расчетом и подбирал людей, чтобы трудно было им между собой сговориться. Двое было ирландцев, двое эскимосов, один индеец, один мексиканец, один украинец из Канады, один чукча. Остальные семеро — американцы. Разный, словом, народ. Это уж я потом понял, зачем капитан Сайм так делает. Тогда я не понимал этого.

Тогда я еще многого не понимал.

Вот, например, у Сайма во рту один зуб золотой блесст. Так я думал, что это от рождения бывает. Мне какой-то шутник сказал, что у американцев золотые зубы сами растут. Я и поверил. Что я тогда знал? Ничего не знал. Кто хотел, тот меня и обманывал.

Когда человек мало знает, его всякий негодяй может обмануть. И не только насчет зубов. Не так-то легко настоящую правду от фальшивой отличить. Это теперь мы немного разбираться стали, а раньше в темноте жили. Часто друга за врага принимали, врага — за друга.

Сайма-то я за друга не принимал, однако не сразу раскусил, какая это скотина. А если бы и раскусил, так, правду сказать, всё равно пошел бы к нему на шхуну. Для меня тогда самое главное было — домой вернуться, на Чукотку. Он сразу догадался, чем меня можно взять. Пообещал отпустить, как только торговлю закончим. «Ты мне, — говорит, — на обратном пути не нужен. Перед тем, как возвращаться, высажу тебя на Чукотке, и отправляйся с богом домой. А если, — говорит, — хорошо служить будешь, так перед самым стойбищем тебя высажу, да еще

и подарками награжу. Не с пустыми руками домой вернешься». После этого я взял расчет в ресторане, связал свои вещи в узелок и пошел на шхуну.

Шхуна у Сайма была двухмачтовая, порядочная. Правда, не новая уже. Ну, пересекли мы Берингово море, пришли на Чукотку. Что там долго рассказывать, — сами знаете, как тогда скупщики на Чукотке торговали.

В трюме у нас стояли бочки с дурной водой, — американцы ее называют «виски». Только это было самое дешевое виски, самое паршивое. Такая отрава, что в Ситхе даже пьяные матросы ее не покупали. Это поганое виски — главный был товар у капитана Сайма.

Останавливались мы перед каким-нибудь поселком, капитан Сайм приказывал спустить шлюпку, погрузить на нее бочонок виски. Сначала торговал, как другие: всего раза в два брал дороже, чем сам за эту отраву платил. И волчьими шкурами соглашался брать, и оленьими. Со всем как будто добрый был. Если у кого шкур не хватало, так он и за мясо немного виски давал. Вот как спаивал! А байдарного хозяина и шамана к себе на шхуну приглашал. Сам с ними пил, табаком угощал.

Морда у него нехорошая была, злая. На правой щеке — шрам. Большой шрам, даже верхнюю губу оттягивал. Во рту золотой зуб блестит, на поясе висит револьвер. Глаза маленькие, бесцветные какие-то.

В море мы никогда не видели, чтобы он улыбался. А когда начинал на берегу свою торговлю, так можно было подумать, что на свете нет человека добрее и веселее, чем капитан Сайм.

Только ненадолго хватало этой доброты. На час, не больше. Когда первый бочонок кончался, когда охотники уже не в себе были, капитан Сайм говорил: «Всё. Нет у меня больше виски. Есть еще бочонок рома, только ром втрое дороже».

Тогда грузили на шлюпку второй бочонок. В нем была такая же дрянь, то же самое третьесортное виски, только подкрашенное. Это у капитана Сайма называлось «ромом». Тут уже и всякие другие товары грузили: винчестеры, дробовики, всякий охотничий припас, муку, сахар.

У охотников глаза разгорались. Но теперь Сайм неговорчивый становился. Дешевых шкур не брал, мяса не брал. Только на китовый ус менял, на моржовую кость.

Из шкур — только на песца да на медведя. За кружку такого «рома» песцовую шкуру требовал, за подержанный винчестер — десять связок китового уса. Одним словом, обманывал охотников. От шхуны к берегу шлюпка последнюю дрянь везла, а с берега на шхуну возвращалась с дорогим товаром, с таким товаром, который в Америке на вес золота ценился.

Однако не очень удачная была всё-таки для Сайма эта поездка. Только в двух или трех поселках удалось ему подпоить людей, обмануть, набрать полную шлюпку ценного товара. Во всех других поселках ничего у него не шло, никакая хитрость не помогала. Во-первых, народ уже немного разбирался в ценах, кое-кто из охотников на Сухом Аное бывал, на русской ярмарке. Во-вторых, незадолго до «Мэри Сайм» другие шхуны побывали в этих местах. Пообчистили охотников, обобрали. Видно, капитан Сайм слишком долго на Алашке канителился, слишком долго команду себе подбирал. Вот и упустил время.

Ну, правду сказать, я, когда мог, тоже мешал ему людей обманывать. Он, например, говорит: «Скажи этой обезьяне, что лучшего винчестера и в Америке не найти. Скажи, что этот винчестер самым великим американским шаманом заколдован: по любому зверю без промаха бьет, надо только заклинание знать. Пусть несет десять связок, я ему и винчестер дам и заклинанию научу». А я так переводил: «Гляди, охотник, ружьишко больше пяти связок никак не стоит. Больше пяти связок никак не давай. Он тебе впридачу заклинание сулит, пустыми словами хочет тебя одурачить. Ты не поддавайся, гляди, требуй впридачу не пустые слова, а сотню патронов».

Не всегда мне, конечно, удавалось это. В команде несколько матросов немножко понимали по-чукотски. Так что действовать приходилось осторожно. А то и кто-нибудь из чукчей мог выдать — шаман или байдарный хозяин, или просто какой-нибудь злой человек. Но всё-таки я иногда рисковал. Немножко всё-таки подпортил Сайму его торговлю.

Сайм и раньше матроса не жалел, а тут совсем бешеный стал. С тех пор, как увидел, что не везде удастся народ одурачить, совсем на человека не стал похож. Команде от него житья не было. К каждой мелочи придирался. А если не к чему было придраться, так просто бывало по-

дойдет и ударит. Просто, чтобы злость свою сорвать. Свалит матроса с ног, подождет, пока тот встанет, и опять ударит.

И такой подлый народ был в команде — одного бьют, а другие смеются. Радуются, что на этот раз не им достается, а другому. А то и сами дрались. Втроем, вчетвером на одного нападали — это на «Мэри Сайм» обычное было дело. Только раз, помню, заступились за товарища. Это еще в самом начале плавания.

Капитан Сайм придрался за что-то к мексиканцу. Бить его стал. Тот уже подняться не может, кровью обливается, а капитан всё бьет. Ногами. Один матрос — Томом его звали — говорит: «Хватит, хозяин». И я тоже сказал: «Хватит, хозяин». И шагнул вперед, заслонил мексиканца. Тогда Сайм начал нас бить — меня и Тома. У капитана два помощника было, вот они втроем и взялись за нас. И не то, чтобы просто кулаками били, а револьверами, рукоятками револьверов. Сильно избили. А хуже всего мне было то, что матрос этот еще смеялся над нами. Тот самый, за которого заступились. Такой подлый человекишко оказался.

Во всей команде я только с одним человеком подружился. С этим самым Томом, который мексиканца пожалел. Хороший был парень; нужда его к Сайму на шхуну загнала.

Доставалось Тому от Сайма больше, чем всем. До того парня довели, что он бежать хотел со шхуны, хотел со мной на Чукотке остаться. «Не боишься? — спрашиваю. — Обижаться не будешь? Ты ведь разговаривать по-нашему не можешь, в яранге жить не привык. Чукотская жизнь — тяжелая, а тебе с непривычки совсем нелегко будет». — «Ничего, — говорит, — выдержу. Лучше в яранге жить, чем у Сайма на шхуне».

Мы с Томом так сговорились: как только подойдем к нашему поселку, как только Сайм начнет свою торговлю, — мы незаметно в горы уйдем. Оттуда, с гор, будем за шхуной следить, будем ждать, пока она в море скроется. Только тогда в поселок спустимся.

Но ничего из этого плана не вышло. Совсем уж недалеко от нашего поселка были, я уж и узелок своей связал. Смотрю, — шхуна всё дальше от берега забирает, всё дальше. Подбежал к рулевому. «В чем, — спрашиваю, — дело?» — «Так, — говорит, — капитан приказал. Решил на

Алашку возвращаться. Поздно уже, боится, что шхуну льдами затрет».

Я осмелел от обиды, пошел к Сайму. Сайм на этот раз драться не стал. «Еще, — говорит, — ноги мне будешь целовать, чтобы я тебя обратно в Америку доvez. А то могу и за борт выбросить».

Помощники его — он в это время выпивал со своими помощниками — хохочут. Они видели, что я от горя даже сказать ничего не могу. Стою, за дверь схватился, чтобы не упасть. Возвращаться на Алашку, когда родной берег — вот он, совсем уж близко проплыл, — это для меня было хуже всяких побоев. Сайм это понимал, потому он и не стал драться. Ему, пьяному чорту, нравилось, что я от одних его слов, как от ударов, шатаюсь. «Что, — спрашивает, — может, ты у меня билет купил, чтобы я тебя из Ситхи на Чукотку доставил? А? Покажи-ка, где у тебя такой билет? Нет, чукча, — он меня не по имени называл, а чукчей, — нет, у меня не пассажирский пароход, а торговая шхуна, и брал я тебя не пассажиром, а матросом. Понятно? Заходить в твой поселок мне не к чему. Там не поторгуешь, там мистер Карпендер постоянную лавку держит. А что касается встречи с твоими родителями, так от этого удовольствия я могу отказаться. Хватит с меня одной чукотской морды. И марш теперь отсюда! Слышишь? Пошел вон!»

И пустой бутылкой в меня швырнул.

Через несколько часов подошла моя вахта. Стал я у штурвала, повел шхуну. Стою, а из глаз слезы текут. То ли от ветра морского, то ли от обиды.

Сайм вокруг похаживает, револьвером играет. Чукотку ругает, Чукотское море, льды. А сам на меня поглядывает. Как будто я виноват, что льды появились. Осень ведь. Другие торговцы и китоловы еще раньше домой повернули.

У меня на душе так скверно тогда было — даже рассказать не могу. Хотелось бросить штурвал, схватить Сайма и в море кинуть. А за ним и самому туда же. «Всё равно, — думал, — мне уже теперь домой не вернуться. Четыре года дома не был, — только издали на родной берег поглядел и опять в чужой край плыву. Может, дома никого уже и в живых нет? Кому я теперь нужен?»

Вот с такими мыслями и стоял за штурвалом. Еще мне тогда хотелось повернуть с полного хода на скалу, чтобы

разлетелась «Мэри Сайм» на мелкие щепки. Как проходил мимо какой-нибудь скалы — а там, сами знаете, много всяких островков каменных, — так и тянет меня повернуть шхуну. Будто под руку кто-то подталкивает.

Вечер уже наступил. Море тихое было, спокойное. Скоро конец моей вахте. Вдруг, вижу, впереди корабль идет. Небольшая шхуна, раза в два меньше, чем «Мэри Сайм». Одномачтовая. Сайм опять на палубу вышел, тоже увидел эту шхуну. Приказал поближе подойти. «Это, — говорит, — «Королева Виктория». Это капитан Арчи с добычей домой возвращается».

С «Королевы Виктории» тоже нас увидели. Подошли мы вплотную, рядом стали. У них по всей палубе шкуры проветривались. Даже на реях висели. Медвежьи, песцовые, нерпичьи. Капитан Сайм вместе со старшим помощником перешли на «Королеву Викторию»; капитан Арчи стал им добычу свою показывать. У него, видать, этот рейс удачнее был, чем у Сайма. Потом они в каюту к Арчи пошли, пили там до полуночи. На рассвете разбудил меня старший помощник, велит опять за штурвал стать. «Так ведь вахта, — говорю, — не моя». — «Становись, — отвечает, — не рассуждай. Всех остальных капитан к себе вызывает».

Ну, стал я опять. Ветерок небольшой, попутный. «Королева Виктория» сзади идет — четверть мили до нее, не больше. Там матросы палубу скребут, каждый своим делом занят. А у нас один я наверху, все остальные внизу, у капитана.

Я всё время раздумывал, — о чем это у них разговор идет? Не против меня ли что-нибудь замышляют? Нет, не стал бы Сайм всю команду из-за меня собирать, слишком я для него мелкая птица.

Сначала ни звука до меня не доносилось, а потом слышу, — крики какие-то, шум. Через несколько минут вынесли на палубу Тома. Я уж подумал, что совсем его убили. Окатили его холодной водой. Он, вижу, глаза приоткрыл. Потом стащили его в кубрик, смыли с палубы кровь, и пошла обычная корабельная жизнь. Будто ничего и не случилось.

Спрашивать я никого не стал, а прислушивался к тому, о чем матросы меж собой говорили. Понял только, что Том в каком-то важном деле против капитана пошел. И даже так выходило, будто он пошел против всей

команды. В саймовской шайке его никто не любил. «Эта трёпка, — говорили, — прочистит ему мозги. Он теперь будет знать, что надо держать язык за зубами». Один матрос сказал: «Том теперь целую неделю проваляется. Да оно и лучше. В таких делах совестливые не нужны».

Понял я, что какие-то нехорошие дела затеваются. Особенно мне это ясно стало, когда старший помощник подошел, сам за штурвал взялся, а меня к капитану послал. Сайм спрашивает: «Замерз?» — «Да, — говорю, — утро холодное. Ветер со льдов дует».

Он тогда наливает мне полный стакан своего знаменитого виски и говорит: «Пей, чукча, грейся. А потом возвращайся к штурвалу и не оглядывайся. Что бы ни случилось, штурвальный должен вперед смотреть. Понятно? Если и оглянешься, так помни, что ничего не должен видеть. И слышать ничего не должен, кроме моей команды. А если что-нибудь лишнее увидишь или услышишь, так мы с тобой разделаемся покрепче, чем с Томом».

Вышел он со мной вместе. Я к штурвалу пошел, на мостик, а он — на корму. Приказал убрать паруса, подождать «Королеву Викторию» и пригласил капитана Арчи с помощником к себе на завтрак.

Те пришли. Арчи уже пьяный был, с утра напился. Чуть не упал, когда по доске переходил. Закрылись они в каюте у Сайма впятером — гости и наш капитан с помощниками. А меньше чем через час хозяева оттуда одни вышли. Я заметил, как младший помощник одному из матросов подмигнул и пальцем прочертил в воздухе вроде бы крестик. Дескать, всё, — этих уже прикончили.

Потом часть наших матросов столпилась у борта, а другие попрятались кто куда, — кто за бухты канатные, кто за ящик с песком, кто в шлюпку, под брезент. И тогда капитан Сайм заорал во всю глотку: «Человек за бортом!»

Тут, конечно, все матросы с «Королевы Виктории» тоже столпились у борта, смотрят в море, в то место, куда Сайм рукой показывает. А он только метнул в их сторону глазом, повернулся опять к морю и крикнул: «Вот он! Вот!»

Эти слова условным сигналом были. Сразу несколько выстрелов раздалось — это саймовские бандиты из укрытий своих стрелять начали. Матросы «Королевы Виктории» повалились друг на друга, смертным криком закри-



чали. Двое или трое успели несколько шагов по палубе пробежать, но тоже упали.

Вдруг я увидел, что Сайм на меня смотрит. Как тундровый волк смотрит. Но, наверно, и у меня тогда злые глаза были. Сайм подлетел ко мне. «Ты почему, — орет, — штурвал выпустил?» И рукояткой револьвера по голове меня стукнул. Свалился я.

Не знаю, долго ли без памяти лежал. Потом очнулся. Тихонько голову повернул, осматриваться стал. Вижу, за штурвалом стоит младший помощник, все остальные перетаскивают на нашу шхуну разное добро с «Королевы Виктории». Двое тащат ящик с моржовыми бивнями, третий — медвежью шкуру, четвертый — несколько связок китового уса, пятый — целый мешок с торбазами. Сайм наблюдает, распоряжается, поторапливает. Младший помощник увидел, что я пошевелился, и говорит: «Ну, мистер Мэмыль, долго я за тебя работать буду?» Поднялся я, а он в три прыжка очутился на «Королеве Виктории» и тоже стал оттуда всякое добро таскать.

Когда они кончили перетаскивать, Сайм тоже ушел на ту шхуну, весь трюм облазал, и кубрик, и камбуз, и каюту капитана Арчи. Потом приказал перенести туда из своей каюты трупы — Арчи и помощника его. Бросили их на палубу, облили всю палубу керосином и вернулись на «Мэри Сайм». После этого капитан Сайм велел поднять все паруса на своей шхуне, а на «Королеву Викторию» бросил кусок подожженной пакли. Там сразу пожар вспыхнул. А матросы стали рубить швартовы — канаты, которыми «Королева Виктория» привязана к нам была.

Ветер к этому времени усилился, нас быстро вперед понесло. И долго еще позади горящая шхуна была видна. Меня, помню, всё тянуло назад поглядеть. «Ну, — думаю, — теперь уже не видна, наверно. Уже, наверно, догорела». Оглянусь, — нет, вот она, горит посреди моря. До сих пор, как вспомню, так вся эта картина перед глазами встает.

* * *

Старый Мэмыль замолкает, выбивает о перила крылечка свою трубку и поднимается. Странно смотреть на этого высокого, крепкого старика и думать, что когда-то он должен был сносить побои и оскорбления любого негодяя. Наш-то Мэмыль! Ясная голова, доброе, горячее, не по годам молодое сердце, один из самых уважаемых лю-

дей во всем колхозе! Да этот мерзавец Сайм и в подметки ему не годится!

Гэмалькот спрашивает:

— А что, приятель-то твой... Которого Томом звали... Выжил он?

— Выжил. Молодой был, здоровый, через два дня на ноги встал. Только мы с ним недолго на шхуне оставались, до Ситхи не доехали. В Нушагаке сбежали. «Мэри Сайм» в Нушагак за пресной водой заходила, вот мы и сбежали. Даже пожитков своих не стали собирать, чтобы Сайм не догадался. Пожитки-то были матросские, небогатые, а вот жалованье нам полагалось за весь рейс. Но мы и на жалованье наплевали. Из Нушагака сразу в Диллингем перебрались, там взяли Тома на какой-то корабль, а я подался оттуда на реку Кусокуим. Так и затерялся на Алашке. Только через три года сумел, наконец, на Чукотку вернуться. Добрые люди, спасибо им, помогли. Там ведь и добрые люди живут. Не только такие, как Сайм... Ну, пошли, старики, пора. Холодно стало.

Он сходит с крылечка, потом оборачивается к резчику Гэмауге и говорит, вспомнив начатый раньше разговор:

— Ты вот удивлялся, до чего иногда люди доходят, какие зверства творят. А я не удивляюсь, Гэмауге, — я на всяких людей посмотрелся. Такие, как этот Сайм, — у них совести нет. Они человека ни во что не ставят, только о долларах думают. У них, Гэмауге, жадность в самое сердце вошла и всю совесть выела. Всю дочиста...



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Такой новогодней елки у нас никогда еще не было! Собственно говоря, у нас раньше никаких елок не бывало. Просто устраивали в школе новогодний вечер, вот и всё. С позапрошлого года, с тех пор, как на месте красной

яранги построили в нашем поселке клуб, стали устраивать этот вечер в клубе. И неплохо он проходил, весело, с играми, с танцами. Но, конечно, без елки. Где ее возьмешь на берегу Чукотского моря?

На юге Чукотки — там, разумеется, Новый год всегда с елкой встречают. Где-нибудь в Марковском районе или на реке Омолон. Там старшеклассники сбегают на лыжах в ближайший лесок, выберут деревцо постройней да погуще. . . А от нас до «ближайшего» леска — знаете сколько? Тысяча километров, наверно, а то, может, и еще больше! С одной стороны поселка — море, с другой — бескрайняя тундра.

И всё-таки в этом году решили и у нас устроить для ребят елку. Это Валентина Алексеевна затеяла.

— Почему, — говорит, — такая несправедливость? Во всем Советском Союзе дети под Новый год вокруг елки пляшут, хоромы ведут, радуются. . . Это такая хорошая традиция! А чем наши ребята хуже других?

— Нет, Валя, — смеется Эйнес. — Наши ребята, конечно, нисколько не хуже других. Мы всегда устраиваем для них праздник в зимние каникулы. И в этом году устроим. И насчет подарков позаботимся. Но. . .

— Вот в том-то и дело, что «но». А я говорю не вообще насчет праздника, а именно насчет елки. Знаешь, Эйнес, ведь эти детские радости на всю жизнь сердце согревают. Я вот, например, помню одного плюшевого мишку. Его так пристроили, будто он карабкается по стволу. Он мне больше всех кукол, больше всех других игрушек понравился. И именно его мне Дед Мороз подарил. Наверно, он просто заметил, что я с этого мишки глаз не свожу. А я с тех пор поверила, что все мои мечты должны сбыться. . . Ты не смейся!

— Ты забываешь, Валя, что это не Горьковская ваша область, а Чукотский полуостров. Сюда и летом-то елку не довезешь: засохнет в пути, осыпется. А сейчас навигации нет. Да никто и летом, конечно, не станет этого делать. Надо же всё-таки учитывать местные условия.

— Местными условиями ты меня теперь не испугаешь. Это я вначале, прошлой осенью, чуточку оробела от непривычной обстановки. А теперь я храбрая стала. . . Словом, у меня, Эйнес, есть один план.

— Ох, боюсь я несбыточных планов. На самолете, что ли, ты собираешься сюда елку доставить?

— За такое неверие я тебе ничего заранее рассказывать не буду. Мне только ваше принципиальное согласие требуется, товарищ директор. В принципе директор против елки не возражает?

— Не только не возражает, но даже всячески приветствует.

— Вот и отлично!

И действительно, получилось отлично. Под руководством молодой учительницы школьный сторож Кабицкий и комсомолец Чэйвытэгин несколько вечеров подряд пилили, строгали, сверлили. Делали они это после занятий, запершись в одном из классов. Сначала смастерили ствол, просверлили в нем десятка три сквозных отверстий, установили ствол посреди класса, на крестовине. В отверстия просунули палки разной длины: наверху коротенькие, внизу — подлиннее. Всё это еще очень мало походило на дерево, и школьный сторож с явным огорчением поглядывал на плоды своих трудов. Но когда ствол выкрасили коричневой краской, а на палки наклеили искусно вырезанную зеленую бумагу, сразу превратившую их в еловые ветви, — тут стало ясно, что затея удалась.

Это было тридцатого декабря. Поздно вечером, тайком от малышей, сооружение было перенесено из школы в клуб. Тут уж пришлось поработать Кэлевги — механику колхозной электростанции и комсомолкам Туар и Кэйнынэ, готовившим елочные украшения. Им помогал старый охотник Мэмыль, приглашенный Валентиной Алексеевой на роль Деда Мороза.

Правда, на эту роль охотно соглашался Кабицкий — единственный во всем поселке обладатель бороды. Но Валентина Алексеевна сказала, что Мэмылю легче будет приклеить белую бороду, чем Кабицкому скрыть свою рыжую. Кроме того, школьного сторожа ребята сразу узнали бы: им был хорошо знаком его громкий, раскатыстый голос.

Старый Мэмыль вешал разноцветные лампочки и бумажные гирлянды на самые верхние ветки, до которых остальные могли дотянуться только с табурета. Валентина Алексеевна, Туар и Кэйнынэ украшали нижние ветки, набрасывали на них «снег» из ваты, густо присыпанной крупной солью, раскладывали игрушки на ватном снегу под ветвями. Кэлевги, Кабицкий и Чэйвытэгин возились с электропроводкой. Время от времени Чэйвытэгин выбе-

гал проверить, не подглядывает ли снаружи какой-нибудь лазутчик из младших классов. Но малыши крепко спали: шел уже второй час ночи.

Наконец, приготовления были завершены. Кэлевги включил верхний свет и включил разноцветные лампочки. Засветилась красная звезда на верхушке елки, засверкали зелеными, желтыми, синими искрами соляные снежинки. А сама елка ожила, показалась совсем настоящей, будто лишь вчера привезли ее из лесу. Она показалась живой и свежей даже тем, чьими руками была сделана, даже Мэмылю, который сам пожертвовал для нее несколько сухих жердин. Эти жерди оставались у него от старой яранги, разобранной летом, после переселения в новый дом; Мэмыль предназначал их на ремонт сушила для сетей, но вот им нашлось другое прекрасное применение. Они зазеленели, как будто очнулись от сна, длившегося десятки лет... А Кабицкому и Валентине Алексеевне, не раз бывавшим в лесу, на секунду даже причудилось лесное дыхание, послышались знакомые с детства запахи смолы и еловой хвои.

— Руку, Степан Андреевич! — закричала Валентина Алексеевна Кабицкому. — Руку, дядя Мэмыль! Туар, Кэлевги, возьмитесь за руки! Все возьмитесь, вот так! Пошли! Веселей!

И она повела вокруг елки первый хоровод.

О, это был необычный хоровод! Если бы в это ночное время кто-нибудь посмотрел с улицы в окно клуба, он очень удивился бы. Вокруг елки, хохоча, то хватаясь за руки, то хлопая в ладоши, не очень стройно, не в лад, но очень весело приплясывали и кружились в безудержной, самозабвенной радости семь человек: три семиклассника — Туар, Кэйнынь и Чэйвытэгин, механик Кэлевги, учительница Валентина Алексеевна, рыжебородый сторож Кабицкий и Мэмыль — седой, всеми уважаемый старик, член правления колхоза «Утро». Ни одна новогодняя елка не видела, наверно, такого хоровода.

Утром малыши со всего поселка собрались возле клуба. Никакими силами нельзя было оторвать их от окон и дверей, хотя двери были заперты, окна плотно завешены и до начала праздника оставались еще целые часы. Пришлось гримировать Мэмыля в школе: если б он прошел в клуб незагримированным, ребята потом легко разгадали бы, кто изображает Деда Мороза.

Он появился на улице в сопровождении шумной свиты комсомольцев — нарядный, нарумяненный, с огромными седыми бровями и усами, с седой бородой до пояса, с мешком подарков за спиной. Покрывать ватой голову не требовалось: волосы на голове у Мэмыля такие же белоснежные, как вата, из которой ему смастерили брови, усы и бороду.

Войдя в толпу притихших ребят, развеселив их шутивными поисками ключей от клуба, оказавшихся каким-то таинственным образом в кармане у самой маленькой первоклассницы, — Дед Мороз открыл двери клуба. Дети тихонько вошли вслед за ним в темный зал. И вдруг сразу зажглись разноцветные лампочки.

Ребята увидели красавицу-елку, новогоднюю елку, про которую раньше только в книжках читали.

— Ну, Валя, — прошептал Эйнес, — ты... ты просто волшебница, честное слово!

* * *

Детский утренник продолжался до сумерек. Ребята разошлись по домам, вволю наигравшись и наплясавшись. Каждый унес с собой подарок Деда Мороза. И что самое удивительное — каждый получил именно тот подарок, какой ему больше всего нравился. Об этом уж позаботилась Валентина Алексеевна. Как смогла она это сделать, — я и сам не вполне понимаю. Совсем как будто невзначай расспросить ребят, так направить их внимание, чтобы на одну игрушку не польстились сразу двое, незаметно про-сигнализировать Мэмылю о сокровенном желании каждого из маленьких гостей, — не всякий сумеет это проделать!

Но всё это уже позади. Дети разошлись, теперь в зале танцует молодежь. А во второй комнате клуба отдыхают Мэмыль, Валентина Алексеевна, Туар, Кэйныне. Девушки так устали, что хотят немного посидеть, прежде чем присоединиться к танцующим.

— Дядя Мэмыль, — спрашивает Валентина Алексеевна, — раньше, в старину... Ну, скажем, до революции... Встречали тогда на Чукотке Новый год? Был такой обычай?

— Нет, ничего такого не было. Это время у нас вообще на середину месяца приходилось. И назывался он Ынп-Ылвен-Йилгын — «Старого Дикого Оленя Месяц».

— «Старого Дикого Оленя Месяц», — задумчиво

повторяет Валентина Алексеевна. — Какое странное название! А встречать, значит, не полагалось? Ни Нового года, ни рождества или там чего-нибудь в этом роде?

— Нет, рождества у нас тоже не полагалось. Чукчи некрещенные ведь. У нас вместо попов шаманы были. А верили чукчи в кэле. Ну, как бы тебе объяснить?.. Кэле — это такие... Ну, вроде богов, что ли. Духи такие. А рождества... Хотя нет, одно рождество я всё-таки помню.

Старый Мэмыль поднимает косматые ватные брови — он всё еще не снял грима — и повторяет:

— Одно рождество я на всю жизнь запомнил.

— Расскажите. Порядочный Дед Мороз должен рассказывать сказки. Так полагается.

— Это не сказка. Это всё на самом деле было. Сейчас расскажу.

Некоторое время он молчит, вспоминая далекое прошлое, и, не глядя, перелистывает комплект «Советской Чукотки», лежащий перед ним на столе, — в обычные дни эта комната служит читальней. Потом говорит:

— Это, Туар, я про твоего деда расскажу. Про Памью. Дедушка Памья никогда тебе ничего про себя не рассказывал?

— Нет, дядя Мэмыль, ничего, — говорит черноглазая Туар, придвигаясь поближе к столу.

— Ну, слушай тогда. Давно это было, совсем давно. Мне, наверно, десяти лет еще не минуло. В нашем поселке года за два до того американский скупщик поселился. Мистер Карпендер. Домик себе привез, поставил его посреди поселка, лавку открыл.

Летом шхуна приходила, привозила товары Карпендеру. Несколько дней выгружали эти товары, всю лавку заполняли. Да еще какие-то ящики снаружи складывали. Так они и стояли возле лавки, брезентом накрытые.

А в трюм этой шхуны грузили всё то, что Карпендер за зиму у охотников скупал. Медвежьи шкуры и нерпичьи, бивни моржовые, китовый ус. Всякую одежду из оленевых шкур тоже скупал, обувь из тюленьей кожи, шитые торбаза. В Америке его компаньон большие деньги за этот товар получал. Они за один год два дома себе купили в городе Джуно.

Он ведь чукотский товар по дешевке скупал. Дурной водой торговал, патронами, мукой, табаком. И за всё это вдесятеро брал против настоящей цены. Весь поселок

долгами опутал. А как его проверишь? Тогда ведь грамотных у нас не было. Не только в нашем поселке — по всему побережью ни один чукча грамоты не знал. По пальцам считали. Вот Карпендер и пользовался, грабил людей.

В тот год плохая зима была, голодная. До «Месяца нового снега» и то мяса не хватило. Это, если по нынешнему считать, — до середины, значит, октября. Голодал народ.

Охотники по целым дням возле разводьев сидели, ждали тюленей. Только редко кому удавалось с добычей прийти. Мало в тот год зверя было. Такой мороз стоял, что и зверь не хотел на лед вылезать.

И жира тоже не было. Почти во всех ярангах жир кончился, жирники погасли. Совсем холодно стало, темно.

Карпендеру наше горе — нажива. За мерку муки ему последнее отдают. Только бы с голоду не умереть.

Яранга Памьи рядом с нашей стояла. Ох, сильный он был! Самый лучший охотник, от него никакой зверь уйти не мог. Байдарный хозяин хотел его помощником своим сделать, первым стрелком. Только не поладили они. Нэнэк — байдарного хозяина Нэнэком звали — жаловался, что у Памьи характер плохой. А на самом деле у него хороший характер был, добрый. Если какого зверя добудет, всегда с соседями делится. И нас выручал, и других соседей.

Но в том году у Памьи тоже скверно дела шли. Он даже упряжку свою собачью продал. Только одну собаку оставил, жалко ему было продавать ее. Многие смеялись над ним. «Самому, — говорили, — есть нечего, а он собаку кормит. На одной всё равно далеко не уедешь».

Ну вот, слушайте дальше. Вечером дело было. Приказчик Карпендера обошел все яранги и объявил, что у хозяина праздник. Пускай, значит, все приходят, хозяин будет подарки давать.

Мы с матерью пошли. Там уже много народу собралось. Стояли на морозе, с ноги на ногу прыгали, чтобы не замерзнуть.

У Карпендера в домике много свечей горело. Я на ящики, помню, взобрался, чтобы внутрь поглядеть поверх занавески. Там в железной печке уголь пылал, мясо жарилось на большой сковороде.

Вдруг на крыльцо Карпендер вышел. Он сильно пьяный был, не мог сам на ногах держаться. Его Нэнэк и приказчик под руки вели, хотя сами тоже из стороны в сторону качались. Их так и кидало от перил к перилам. Как в качку плохого матроса кидает.

Нэнэк посмотрел на нас и начал речь держать. Карпендер-то сам по-чукотски совсем мало умел говорить. Нэнэк закричал:

— Сегодня у этого нашего торгового человека праздник. Большой праздник у них. Сегодня их Кэле родился. Самый главный из всех ихних кэле. Поэтому наш торговый человек очень радуется. И он...

Тут Нэнэк сильно качнулся, не удержал равновесия и сел на ступеньки крыльца. И, сидя, продолжал:

— Он поэтому хочет, чтобы мы все тоже сегодня радовались.

А Карпендер крикнул:

— Кристмес! Кристмес!

«Кристмес» — это по-ихнему рождество так называется.

Нэнэк попытался встать, не сумел и дальше сказал так:

— Ихний кэле велит помогать всем бедным. Поэтому наш торговый человек, мистер Карпендер, решил всему поселку сделать подарок. Вот здесь, перед домом закопано в снегу много пачек печенья, табаку, чаю, много банок разных консервов. И даже несколько коробок шоколада.

Карпендер что-то шепнул ему, и он добавил:

— И даже одна бутылка красной дурной воды тоже закопана. Всё это — подарки. Каждый может взять себе всё, что найдет. Мистер Карпендер даже не будет записывать это в книгу долгов. А теперь можете искать!

Дети и женщины бросились искать, голыми руками снег разрывать стали. Голодные ведь! А из мужчин многие плюнули, выругались и по ярангам пошли. Но были и взрослые охотники, которые вместе с нами в снегу рылись. Когда дома маленькие дети от голода умирают, — тут и гордому приходится иногда забывать про свою гордость.

Трудно было рыть, очень трудно: снег в ту зиму глубокий выпал, а Карпендер нарочно приказал приказчику поглубже свои «подарки» зарыть и покрепче притоптать все сугробы. Я, помню, в первую же минуту ногой себе

содрал. Палец болит, на снегу кровь краснеет, а я зубы сжал и одной рукой дальше рою.

Первым один мальчишка пачку табаку нашел. Какой-то старик, который рядом рылся, стал кричать, что он раньше эту пачку заметил. Драка началась. А Карпендер, Нэнэк и приказчик подошли поближе, чтобы лучше всё видеть. Стоят, смотрят, хохочут на весь поселок.

Вдруг Памья подошел к Карпендеру и со всего размаху ударил его. Так ударил, что скупщик сразу упал. А Памья стоит над ним и спрашивает: «Что, смешно тебе теперь? Смешно?»

Но тут Нэнэк и приказчик схватили Памью. Еще несколько помощников у них нашлось. Хотели, значит, выслужиться перед скупщиком и байдарным хозяином. Навалились на Памью все вместе, связали его, потащили в дом. Карпендеру помогли подняться, тоже в дом повели.

А мы сбегали за лопатами, разрыли снег, разделили всё, что нашли. Только никто особой радости от этих находок не чувствовал.

Два дня ничего мы не знали про Памью. На третий день шаман объявил, что Памья наказан за покушение на скупщика. «Он теперь никогда не вернется, — говорил шаман. — Его не люди наказали, его сами кэле наказали». И он еще так говорил: «Если кто-нибудь всё-таки увидит Памью, пусть прогонит его или сам убежит от него. Пусть помнит, что с Памьей нельзя говорить, нельзя ни в чем помогать ему. Кто поступит иначе, тот разгневет кэле».

Кто-то узнал от приказчика, что сделали с Памьей. И через час об этом знали уже во всех ярангах. Оказывается, вот как дело было.

Карпендер сам побоялся Памью убить. От властей-то он летом откупился бы взяткой, а опасался, что люди отомстить могут за Памью. Позвал шамана. Шаман тоже решил схитрить. «Мы его трогать не станем, — сказал он. — Пускай Памью сами кэле судят».

Они его раздели догола, положили на нарту и отвезли в тундру. Там и бросили. Совсем голый он был, связанный по рукам и ногам.

Утром приехали они посмотреть на Памью. Они думали, что тундровые волки растерзали его или морозом убило. Ходят, никак не могут его найти. Правда, ночью большой снегопад был, могло занести снегом. Рылись, рылись они в снегу, все сугробы обшарили — нигде нету.

Там и Карпендер был, и Нэнэк, и приказчик. Не нашли. Решили, что не на то место приехали. Ночью-то они место как следует не приметили, пьяные ведь были, а тундра и трезвого может сбить с толку.

Вернулись в поселок. Какая разница, — волки его загрызли или морозом убило? Подождали они еще два дня, и шаман объявил, что Памью кэле забрали.

А на четвертую ночь услышал я вдруг шорох в сенях нашей яранги. Выбрался из полога, чувствую — какая-то собака мне руку лижет. Пригляделся — в сенках Памья стоит со своей собакой. Делает мне знаки, чтобы я молчал.

Сначала я очень испугался: я тогда еще верил в этих самых кэле. А Памья мне говорит:

— Не бойся меня, Мэмыль. Сбегай к нам, скажи моему отцу, что я его жду здесь. Только сначала посмотри, нет ли в нашей яранге чужого кого-нибудь. Может, Карпендер или Нэнэк подослали кого-нибудь, чтобы подстеречь меня.

У меня сразу страх прошел. Провел я Памью в полог, разбудил мать, мы его теплыми шкурами накрыли. Потом я за его отцом сбегал. А когда мы пришли, Памья спал.

Он у нас в яранге целый день провел. Как проснулся, поел немного, — всё рассказал нам. Памью, оказалось, спасла его собака. Когда его в тундру везли, она за нартами бежала. Она вся была белая — ни одного пятнышка нигде, ни одной темной шерстинки. Потому, верно, и не приметили ее в тундре. А когда бросили Памью, она подползла, перегрызла лахтачьи ремни. У него и руки и ноги лахтачьими ремнями были скручены. Трое суток они по тундре ходили, прятались в снежных норах от ветра, грелись друг о друга. Вот как.

Одели его, собрали немного припаса в дорогу, и ушел он в верховья реки Амгуемы, к оленным чукчам. Прощались мы, помню, за сопкой. Памья тогда сказал: «Вернись, вот увидите. Скоро, не скоро, а вернись!» И зашагал в свою дальнюю дорогу. Белая его собака попрыгала вокруг хозяина, а потом словно поняла, куда путь держать, и побежала впереди... Долго Памья у оленных чукчей жил, кочевал, стада пас. Там и женился.

И всё-таки настало время, когда Памья вернулся, а Карпендеру удирать пришлось. Пришло такое время! Теперь о байдарных хозяевах, о шаманах, о скупщиках-

обдиралах только старики помнят. Такие, как мы с Памьей.

Ведь он — Памья — до сих пор жив. Он в Анадыре живет у старшего сына. Крепкий еще старик, а ведь он годов на двенадцать старше меня. Ты, Туар, если летом погостить поедешь, расспроси его, обязательно расспроси. Мы с ним еще в прошлом году вспоминали про ту рождественскую ночь. Про «кристмес» этот самый.

* * *

Старый Мэмыль смотрит на Туар, на Валентину Алексеевну и Қэйныэ. Добрая улыбка, сначала едва заметная под ватными усами Деда Мороза, постепенно освещает всё его лицо.

— Отдохнули? — спрашивает он. — Ну, идите теперь, попляшите. Ноги, наверно, давно уже в зал просятся? А? Идите, идите, вас там, небось, кавалеры заждались.





ХІ

ПЕСНЯ О ДВУХ ВЕТРАХ

Когда молодежь нашего охотничьего колхоза, натапцавшись в клубе вокруг новогодней елки, расходилась по домам, — в тот самый день и в тот самый час Тылык стоял на одной из ленинградских набережных и задумчиво смотрел на скованную льдом Неву. Да, и то и другое происходило 1 января в четвертом часу ночи. Так, по крайней мере, говорили календари и циферблаты. И всё же это было совсем не одновременно: если в Ленинграде четвертый час ночи, то на Чукотке в это время уже второй час пополудни.

«У нас давно уже день, а я вот еще и спать не ложился, — подумал Тылык. — Впрочем, какой же теперь день на Чукотке? — самый разгар полярной ночи!»

Тылык улыбнулся. «Ну и путаница же получается! В один и тот же час, и всё-таки не одновременно, а на десять часов позже... Середина дня, а всё-таки не день, а ночь... Уж до чего, кажется, ясные, бесспорные понятия! Несовместимые, противоположные — их даже в пример приводят в качестве двух явлений, противоположность которых очевидна. «Нельзя же, говорят, утверждать,

что день — это ночь!» Нет, оказывается, можно. Иногда это именно так и бывает. Второй час дня посреди ночи. Только не обыкновенной ночи, а полярной, конечно. . .»

Разумеется, Тылык и раньше всё это знал, но никогда еще эти сопоставления не представлялись ему такой забавной неразберихой. «Наверно, — подумал он, — это от вина. Наверно, хмель новогоднего ужина не совсем еще выветрился из головы».

Он посмотрел на противоположный берег, где за густой пеленой снегопада едва виднелось здание университета, посмотрел на бесконечную череду фонарей и снова опустил глаза к Неве. Внизу, по тропке, наискось пересекавшей реку, шла шумная компания. Тропка была узкая. Несколько девушек на ходу перебрасывались снежками, кто-то барахтался рядом с тропкой в глубоком снегу. До Тылыка долетали веселые голоса, смех.

«Завтра же напишу домой, — пообещал себе Тылык. — Вернее, сегодня: ведь завтра уже наступило. Напишу, обрадую старика».

Он начал было подниматься на мост, но потом вернулся, спустился вниз и медленно пошел по тропке. Здесь было теперь безлюдно, шумная компания ушла далеко вперед.

Если не смотреть наверх, то может показаться, что вовсе и не по городу идешь. Со всех сторон снег, снег, снег. Будто тундра. Здесь легче думалось о Чукотке, чем на ярко освещенных улицах, по которым катились ночные такси. Может быть, потому Тылык и спустился сюда, хотя тропка была ему, в сущности, не совсем по пути. Обычно он ходил по мосту. Но сейчас он с удовольствием вслушивался в поскрипывание снега под ногами, ощущал на щеках дыхание ветра и думал о родном поселке, об отце, о его песнях. «Обветрены лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки».

За Невой, на Васильевском острове еще царило почти такое же оживление, как и в центре. В одиночку, парами и большими группами люди возвращались с новогодних вечеров. Впереди Тылыка плотной шеренгой, растянувшейся во всю ширину тротуара, шла, громко распевая, компания молодежи. Судя по форме, это были студентки и студенты Горного института. Догнав какого-то офицера, они быстро сомкнули вокруг него свою шеренгу и закружились в хороводе — то в одну сторону, то в другую. Офи-

пер стоял улыбаясь, не пытаясь вырваться из круга, а когда студенты чуточку затихли, спросил:

— Ну, а дальше что?

— А дальше вы должны сплясать. Пока не спляшете, не выпустим!

— А если я не умею?

— Ой, неправда, товарищ лейтенант! Не верьте, ребята! Сегодня все умеют!

Лейтенант сплясал — да так лихо, что все прохожие останавливались поглядеть. Рядом с Тылыком остановилась невысокая девушка в пестрой вязаной шапочке. Тылык заметил ее только краем глаза: не мог отвести взгляда от сапог, выбивавших дробную чечетку. Лейтенант закончил каким-то особенно замысловатым перестуком, все зааплодировали, круг разомкнулся. Воспользовавшись честно заработанной свободой, лейтенант перебежал через дорогу, помахал рукой и сразу же свернул за угол.

Но не успел Тылык сделать и шагу, как хоровод снова сомкнулся, на этот раз вокруг него. Он растерянно огляделся и увидел, что стоит не один: вместе с ним попала в плен и девушка в пестрой шапочке.

Девушка метнулась в одну сторону, Тылык — в другую, но плотное кольцо хоровода не разомкнулось. Один из студентов крикнул:

— Целуйтесь! Не выпустим, пока не поцелуетесь!

— Так ведь мы... — Тылык смущенно развел руками. — Мы даже не знакомы. Вы ошиблись! Мы ведь не вместе шли, честное слово!

Студенты расхохотались: вот так история! Они были уверены, что это молодые супруги или, по крайней мере, влюбленная парочка. Нет? Даже не знакомы?

— Это нас не касается! Приговор окончательный, обжалованию не подлежит!

Пестрая шапочка снова попыталась прорваться. Но когда это не удалось ей, она подбежала к Тылыку, быстро, обеими руками пригнула его голову, чмокнула в щеку и сразу же убежала, не оглядываясь. Теперь никто не удерживал ее. Тылык даже не успел разглядеть лицо девушки, заметил только большую снежинку, упавшую на ее темную бровь и еще не успевшую растаять.

Через десять минут он был уже в университетском общежитии. К счастью, Вася Антонов и Юра Черняк спали, а Сергея Ширяева еще не было. Видимо, он пошел прово-

жать Ксюшу. Чтобы не разбудить товарищей по комнате, Тылык сразу же выключил свет и разделся в темноте. У него сейчас не было желания разговаривать. Хотелось поскорее лечь, спокойно отдаться своим мыслям, воспоминаниям, которые так легко возникали там, на Неве, но были потом оборваны разгулявшимися студентами.

«Обветрены лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки. Обвеяны ветрами, просолены брызгами с гребней морской волны. Тундра вынянчила ноги, море вынянчило руки, бури вынянчили сердце моего народа». Когда же Тылык впервые услышал эту песню? Давно, много лет назад. Это «Песня о двух ветрах». Каждое ее слово дорого Тылыку.

* * *

Школа. Это был первый год ее существования, она помещалась еще в яранге. Во всем поселке не было тогда ни одного дома. Мистер Карпендер — американский скупщик — сжег свою лавку, когда удирал на Аляску. А его лавка была единственным деревянным строением среди трех десятков яранг.

Тылык стоит у классной доски и старается припомнить, как пишется буква «ю». Тылыку скоро исполнится десять лет, он неплохо стреляет, умеет грести, управлять собачьей упряжкой и ставить капканы на песцов, но азбуку знает еще нетвердо: раньше негде было учиться; до приезда Всеволода Ильича ребята даже не слыхали о том, что существуют на свете такие вещи, как азбука, книги, школы. Эйнесу лет пятнадцать, а он тоже еще не все буквы выучил.

Эйнес и остальные ученики сидят на шкурах, голые по пояс. Тесно, душно, жарко. Тетради положены на дощечки, а дощечки — на спину товарища или на собственное колено. Никому из учеников и в голову не приходит, что это не очень удобные условия для занятий: они ведь понятия еще не имеют ни о партах, ни о столах.

Горит четыре жирника, но свету от них всё равно немного. Чтобы прочесть написанное в тетрадке, надо изо всех сил напрягать зрение. Зато жару и духоту эти жирники усиливают до того, что дышать нечем. В течение каждого урока Всеволод Ильич раза по два, а то и по три произносит: «Ну-ка, глотнем немного кислорода». Ученики

уже знают, что после этих слов нужно приподнять переднюю шкуру полога и впустить свежий воздух. Но при этом учитель ничего не глотает, и что такое «кислород» — это попрежнему остается неизвестным.

В первые дни занятий учитель даже галстука не развязывал, крепился. Потом он вовсе перестал носить галстук, в середине первого урока скидывал обычно пиджак, в середине второго урока расстегивал рубашку, а к концу учебного дня на нем оставалось так же мало одежды, как и на его учениках. Ребята с откровенным удивлением рассматривали его белое тело, курчавую растительность на груди, тонкие руки, на которых мускулы почти не были заметны. Когда он вытягивал руку, указывая на доску, она казалась ребятам похожей на тонкую белую палку, какие употребляют для обработки шкур. Может быть, именно поэтому Всеволод Ильич всегда начинал занятия одетым, раздевался только тогда, когда легкая рубашка начинала казаться меховой шубой, а пенсне переставало держаться на скользком от пота носу.

Вот и сейчас он вызвал Тылыка, но прежде чем начать диктовать, положил на книгу пенсне и стал стаскивать с себя рубашку. Тылык стоит у доски, которая, впрочем, так же мало похожа на обычные классные доски, как яранга — на школу. Это самый обыкновенный руль, довольно большой, — наверно от какой-нибудь шкуны, давным-давно разбившейся в Чукотском море. Учитель нашел этот руль на берегу и с помощью учеников притащил его в ярангу.

Да, так зачем же понадобилась Тылыку буква «ю»?.. Для слова «Эвилюки». Припомнив эту трудную букву, Тылык пишет на руле: «Эвилюки тинлылет».

Учитель стащил с себя рубашку и аккуратно положил ее рядом с пиджаком. Вытирая платком лицо и шею, он спрашивает:

— «Эвилюки тинлылет»? Что это значит?

— Это ты. Это тебя так зовут.

— Меня? Погоди-ка... «Тинлылет»? «Тин» — это, если не ошибаюсь, речной лед. «Лылет» — это глаза. Ага, кажется, понимаю. Видимо, слово «тин» обозначает в данном случае не лед, а стекло... Значит, «тинлылет» — это глазные стекла, очки... Так, что ли? А что такое «Эвилюки»?

— Это уши... Ну, когда нету... Крючки такие...

— Без ушей, — подсказывает Эйнес, который говорит по-русски лучше всех своих товарищей.

— Ага, понимаю. «Безушные очки». Ясно.

Всеволод Ильич берет с книги пенсне и, подняв его, говорит:

— Это называется «пенсне». Скажите: «Пенс-не».

— Пенс-не, — хором повторяет весь класс.

— Так. Хорошо... Значит, вы прозвали меня «Безушными очками»? Что ж, видимо, все школьники мира одинаковы. Признаться, я полагал, что хоть первые два-три года вы не будете знать, что учителям принято давать прозвища...

Учитель был не совсем прав на этот раз: по чукотским понятиям в прозвище не было ни малейшего оттенка неуважения. Это было скорее чем-то вроде второго имени. Такое имя, как «Всеволод Ильич», казалось ребятам слишком трудным. То ли дело «Эвилюки тинлылет»! Это было проще, понятнее и, по мнению ребят, гораздо легче произносилось.

— Сотри-ка свои «эвилюки». Всё, всё сотри. Так. Теперь пиши: «Ленин». Ле-нин.

На корабельном руле с разломанными, насквозь проржавевшими кольцами, — на руле, выкинутом бурей на берег и пригодившемся теперь в качестве классной доски, чукотский мальчик впервые в жизни старательно выводит это великое имя.

* * *

... Помещалась тогда школа в яранге Рультынэ, матери Эйнеса. Рультынэ давно овдовела, Тылык не помнил ее мужа. Даже Эйнес лишь смутно помнил отца. Всеволод Ильич поселился в яранге Рультынэ, здесь же занимался с учениками. Это было удобнее всего, так как в других ярангах жили большие семьи, кое-где были грудные дети. Да и почище здесь было, чем у других.

Тылык идет из школы домой. Как всегда, он идет не по поселку, а по торосистому льду берегового припая. Дует северный ветер, намечает возле торосов сугробы, гонит по льду снежные вихри и уносит их в тундру.

У Атыка есть песня про северный ветер. Атык, отец Тылыка, — известный певец, его во всех стойбищах знают, по всему побережью. «Дуй, северный ветер, — говорится в той песне. — Дуй, чукчи тебя не боятся. Может, мыши попрячутся в норы поглубже — у тундровой мыши трусли-

вое сердце. Может, лисица хвост подожмет. А белый медведь над тобой смеется, он только, может быть, нос отвернет, если крепче подуешь. Неужели ты думаешь, ветер, что в груди у охотника бьется сердце трусливой тундровой мыши? Нет, охотнику ветер не страшен, даже лицо свое прятать охотник не станет. Мы с тобой, ветер, товарищи! Дуй, мой товарищ, дуй, шевелись, — что хорошего, если лежать неподвижно? Если бы море было стоячей лужей, — разве водились бы в море сильные звери? Запахом гнили несет от воды стоячей. Всюду проникла бы гниль, если б воздух вдруг стал неподвижным. Дуй, не ленись! Только помни: не надо дуть от меня на пугливого зверя. Не спутай! Дуй от него на меня, на охотника дуй, если ты нам и вправду товарищ».

Тылык замедляет шаги, поворачивается лицом к морю, к ветру: «Даже лицо свое прятать охотник не станет». Но сейчас тут гордиться нечем, ветер не сильный. Такого, пожалуй, и тундровая мышь не испугалась бы. А всё-таки холодно... Скорей бы вернулось лето! Летом море куда интереснее!

Летом северный ветер гонит на берег волны, море выбрасывает на песок множество всяких диковинок. Хорошо после шторма бродить по берегу, собирать вкусные, длинные, как ремни собачьей упряжи, листья морской капусты. А ракушки иногда попадаются такие, что хоть целый час смотри — не насмотришься. Самые необыкновенные ракушки Тылык относил резчику Гэмауге, тот умеет оценить такие подарки.

Попадались на берегу и жестянки, жестяные банки из-под консервов. Такие находки казались Тылыку еще интересней, чем ракушки и морская капуста. Банки были круглые и прямоугольные, с яркими, заманчивыми картинками и без картинок. Впрочем, отец говорил, что картинки были раньше и на этих, только напечатаны они были не прямо на жести, а на бумажках, которые размокли и отклеились, пока банки, выброшенные каким-то коком, плавали в море.

Тылык понимал, конечно, что банки — и с картинками и без картинок — выброшены с пароходов; что занесло их сюда, в чукотские воды, скорее всего, из Берингова моря. Но ему хотелось думать иначе. Хотелось думать, будто северный ветер пригнал эти красивые банки с того неведомого острова, о котором поется в песне отца. На-

верно, были в этих банках вкуснейшие лакомства, еще более вкусные, чем нерпичьи глаза и морская капуста; наверно, люди, живущие на сказочном острове, съели эти лакомства, вылизали жестянки, разрисовали их яркими, блестящими красками и подарили морю. А море, вдоволь наигравшись жестянками, подарило их чукотским ребятам.

Тылык очень жалел, что в песне отца о северном ветре не было ни слова насчет консервных банок. Ведь это была большая песня, песня-сказка. В ней говорилось о том, что чукчи с детства привычны к северному ветру, и о том, что рождается этот ветер на счастливом острове, лежащем далеко на севере. У каждого жителя этого острова есть своя байдара и у каждого — двенадцать детей. Еды там всегда вдоволь, а в ярангах горят неугасающие жирники, свет которых может соперничать с солнечным. Только не для чукчей тот остров, ни один чукотский охотник никогда не сможет туда попасть. Как-то один охотник разглядел в тумане тот остров, хотел пристать, да байдарный хозяин не позволил. Еще и на смех поднял охотника, сказал, что там ничего нет, кроме тумана. Ему вправду ничего не было видно, — глазам байдарного хозяина такие вещи не открываются... Вот какую песню нашептал певцу Атыку северный ветер.

Давно сложил эту песню Атык, очень давно. Тылыка тогда и на свете еще не было. Каждый раз Атык поет ее, немного изменяя, добавляя новые подробности. Она так разрослась, что ею стали измерять расстояния. «До соседнего стойбища, — говорит, посмеиваясь, дядя Мэмыль, — не больше четырех песен о северном ветре».

Но Тылыку едва хватает этой песни на дорогу от школы до дому. И ничего тут нет удивительного: ведь в соседнее стойбище ездят на собаках, а Тылык идет пешком, идет не торопясь, осматривая чуть ли не каждый торос на береговом припае.

* * *

Юра Черняк горячо с кем-то заспорил во сне. Вначале слов нельзя было разобрать, потому что спорил он, почти не раскрывая рта. Потом Тылык разобрал: «А вот и нет... А вот и нет».

Тылык достал из-под подушки часы и при неверном, едва проникавшем в комнату свете уличного фонаря стал

вглядываться в циферблат. «Неужели уже двадцать минут шестого?.. Нет, половина пятого... Конечно, половина пятого, это ведь минутная стрелка возле шести... Скорее всего, эта сказка о счастливом острове связана с историей «Земли Андреева» — той гигантской, дрейфующей в северных водах льдины, которую даже некоторые географы принимали за настоящий остров... Разбудить Юрку, что ли?»

Но Юра скоро повернулся на бок и успокоился, а Тылык возвратился мыслями к своему детству, к поискам истоков «Песни о двух ветрах» — той, которую слышал сегодня на новогоднем концерте.

* * *

Ранняя весна. К весне, не дожив и до конца первого учебного года, школа, созданная в поселке Всеволодом Ильичем, чуть было не прекратила своего существования. Неприятности начались с того, что Эйнес — самый старший и самый лучший из учеников — тяжело заболел.

А заболел он вот при каких обстоятельствах. Однажды вместе с учителем он пошел на охоту за нерпами. Зверя в тот год мало было, они посидели на краю припая, ни одной нерпы не дождались и решили переменить место, в сторону пройти, подальше от поселка. А там уже небольшие разводья были, край припая кое-где трещины дал. Шли наши охотники, широкие трещины обходили, через узкие перепрыгивали, а потом Эйнес всё-таки неловко как-то прыгнул, поскользнулся и упал в воду. Его под лед затянуло, еле Всеволод Ильич вытащил. Но Эйнес, пока барахтался в воде, совсем ослабел, идти не мог, пришлось Всеволоду Ильичу тащить его в поселок на себе. Это они, конечно, неправильно сделали: в таких случаях надо хоть из самых последних сил пробежаться, хорошенько согреться... К вечеру Эйнес заболел. Сильный жар у него появился, бред.

Всеволод Ильич очень был расстроен, огорчен, целые ночи просиживал около своего ученика. Но занятия, конечно, продолжал.

Заниматься у Рультыне уже нельзя было, школа временно перешла в ярангу Мэмыля. Здесь семья тоже была совсем небольшая: вдовец Мэмыль, который к тому же никогда не торчал дома больше, чем подобает настоящему охотнику, и его маленькая дочь. Девочка, правда, учиться

еще не могла, но сидела тихонько, никому не мешала, или играла на улице.

А пока в яранге Мэмыля Всеволод Ильич учил ребят читать и писать, в яранге Рультинэ, возле больного Эйнеса, распоряжался шаман Эвынто. Он долго шаманил возле больного, бил в бубен, вертелся, как безумный, завывал, произносил срывающимся голосом обрывки каких-то непонятных фраз. Эвынто всегда проделывал такие штуки без всякой жалости к своим старческим силам, — можно было подумать, будто он действительно верит, что разговаривает в это время со злыми духами, с кэле.

Пошаманив, он упал на шкуры, а через несколько минут, отдышавшись, заявил, что кэле очень разгневаны. Ведь Эйнес уже был подо льдом, был у них в руках, а этот неразумный таньг посмел вырвать у них из рук добычу. Таньгом — чужаком — шаман называл всякого, кто не был чукчей.

— Кэле требуют Эйнеса, — сказал шаман. — Он должен стать их добычей. Иначе я ничем не смогу их умиротворить. Они грозят, что пошлют болезнь на других детей и совсем уведут зверя из наших мест...

Дело в том, что Эйнеса шаман уже давно терпеть не мог. И даже немного побаивался. В поселке упорно говорили о том, будто бы отец Эйнеса был убит каким-то вором. Этот вор хотел будто бы ограбить капканы, поставленные отцом Эйнеса, но был пойман и в завязавшейся драке убил его. Хотя труп отыскивали только через два дня, когда над ним порядочно потрудились волки, но по каким-то признакам охотники решили, что волки пришли уже на готовое. И подозревали, что вором и убийцей был не кто иной, как шаман Эвынто. Так это было или не так, — точно никто не знал. Кроме самого шамана, конечно.

Когда Эйнес немного подрос, дошли эти слухи и до него. Кого расспросишь, у кого узнаешь? Тундра молчалива, а других свидетелей не было. Но мальчик не раз ловил на себе неприязненные взгляды шамана и чувствовал, что эти слухи не пустая сплетня. Эйнес возненавидел грязного старика и вовсе не пытался скрыть от него свою ненависть.

Вот Эвынто и решил, что болезнь Эйнеса прилась кстати: самый удобный момент, чтобы, сославшись по обыкновению на разгневанных кэле, расправиться с подрастающим врагом. Вдобавок и Рультинэ будет наказана

за то, что пустила в свою ярангу школу. Будет знать, кого слушать — какого-то таньга или своего старого шамана.

Тылык тогда еще не улавливал связи всех этих явлений. Он понимал голько то, что его товарищу Эйнесу грозит смертельная опасность. А кое-кто из охотников хоть и догадывался, что дело тут не чистое, но молчал: побаивались еще шамана, держалась еще вера в его могущество. Вдруг он и в самом деле сговорится с кэле, чтобы они наслали болезнь на других детей? Вдруг он и в самом деле сделает так, чтобы кэле увели зверя от охотников? Неужели весь поселок должен погибать из-за одного мальчика, который всё равно так тяжело болен, что уж, скорее всего, не поправится?

Словом, случись всё это годом или двумя раньше, шаману Эвынто наверняка удалась бы его затея. А тут не удалась. Темным был еще наш народ, но всё-таки первые проблески света уже появлялись, у некоторых охотников головы уже прояснились немного. Когда узнали обо всем Мэмыль и Вамче, они пошли в ярангу шамана и Мэмыль сказал:

— Если ты притронешься к Эйнесу, будет тебе плохо. Будем тебя судить за убийство. Понимаешь? Ты нам про кэле не рассказывай; тебя будем судить, а не кэле.

А Вамче добавил:

— Даже русского парохода дожидаться не будем. Сами присудим. Сразу.

И он так посмотрел на Эвынто, что тот понял, к чему собирается присудить его Вамче.

Конечно, он только посмеялся им в лицо, чтобы скрыть свой испуг, но всё-таки решил не рисковать. Понял, что времена изменились. Не то, чтобы он совсем отступился, но решил действовать хитрее. Он знал, что на следующий день Мэмыль и Вамче уезжают в районный центр на какое-то совещание. Вот старик и надумал воспользоваться этим.

Утром, как только собачьи упряжки Мэмыля и Вамче скрылись за холмами, а Всеволод Ильич начал заниматься с ребятами в яранге Мэмыля, шаман Эвынто пошел к Рультынэ. Он посидел немного возле Эйнеса, послушал его бред, сделал вид, будто разговаривает с ним, а потом заявил, что Эйнес просит смерти, просит избавить его от мучений. А по старым чукотским обычаям такая просьба считалась законом и родные больного должны были



беспрекословно выполнить ее. Оставив рыдающую Рультынэ, шаман пошел к ее брату — старому Вэльпонты — и сообщил ему о «просьбе» Эйнеса. После этого он отправился на дальний конец поселка, к своему приятелю Онне.

Шаман был почти уверен в успехе своего подлого замысла. «Старый дурак Вэльпонты, — думал он, — не посмеет нарушить обычай предков. Мальчишку не шаман убьет, его убьет родной дядя. Шамана Эвынто и близко в это время не будет, он в это время у Онны чай будет пить».

Правда, обычай «добровольной смерти» никогда не распространялся на молодых, такой конец избирали только совсем уже дряхлые или тяжело больные старики. Это обстоятельство немного тревожило шамана. Старый дурак Вэльпонты поверил, — но поверят ли остальные? В другое время шаман, пожалуй, не стал бы так рисковать, но сейчас злоба была в нем сильнее, чем осторожность. К тому же он торопился, хотел расправиться с Эйнесом, пока Мэмыль и Вамче заседают в районном центре.

... Маленькая дочка Мэмыля вернулась с улицы в ярангу и, ни к кому не обращаясь, спокойно сказала что-то звонким своим голосом. Всеволод Ильич строго посмотрел на нее.

— Не мешай, девочка. Мы занимаемся.

Но по лицам учеников он понял, что девочка сообщила что-то важное. Он спросил:

— Что она говорит?

— Она говорит, — перевел Тылык, — что Эйнес умереть захотел. Его сейчас будут душить.

Всеволод Ильич кинулся из яранги как был — без пиджака и рубашки. Все школьники кинулись за ним. Через три минуты он уже вытаскивал из яранги Рультынэ старого Вэльпонты. Старик рвался у него из рук, злобно ругался, царапался, кусался. Но белые руки учителя уже не напоминали школьникам тонкие палки для обработки шкур. Мускулы резко обозначились на них, он крепко держал Вэльпонты, а оттащив от яранги, далеко отшвырнул от себя на дорогу. Вэльпонты встал, потирая ушибленный зад, и неожиданно тихо сказал:

— Ремешок мой отдай.

Учитель взял у Рультынэ кожаную бечеву и бросил на дорогу. Старик подобрал ее, но в тот же момент подхватил

с дороги камень и метнул его в учителя. Камень попал в ногу, в самое колено.

Учителю пришлось надолго слечь, нога у него сильно распухла. Он лежал рядом с Эйнесом, Рультынэ ухаживала теперь за обоими. Эйнес скоро пришел в себя, начал поправляться. Когда мать стала расспрашивать его, рассказал, что у него даже и мысли не было о добровольной смерти. Учитель так радовался выздоровлению Эйнеса, что и про ногу свою забывал. Но занятия пришлось на время прервать: учитель не хотел, чтобы в ярангу набивалось много ребят, Эйнесу нужен был свежий воздух.

Когда же Эйнес немного окреп и учитель решил возобновить занятия, к нему пришло только трое учеников: Гоном, Кэлевги и Тылык.

— Где же все остальные? — спросил учитель.

— Одни уже уехали, другие собираются, завтра уедут, — ответил Тылык. — Меня тоже завтра отец отвезет.

— Куда?

— В тундру, к оленным чукчам. Здесь мяса мало, совсем охота плохая.

— Так, ясно...

Всеволод Ильич несколько секунд лежит с закрытыми глазами, а затем спрашивает:

— Скажи, Рультынэ, бывали раньше годы, когда охота была такая же плохая?

— Бывали, Севалот, конечно. Еще хуже бывали. Годы разные бывают, один на другой не похож.

— А отправляли детей к оленным чукчам?

— Нет... Ну, может, некоторые отправляли, у кого поблизости где-нибудь оленные родственники есть. А так, чтобы сразу столько детей отправлять, — нет, этого не было.

— Значит, опять шаман действует. Не успокоился еще старый чорт!

Гоном придвигается поближе к учителю и тихо говорит:

— Это он, я слышал, как он отца пугал.

— Чем же он пугал?

— Говорит, что, как только пароход придет, русский учитель всех детей капитану отдаст. А капитан в Хабаровск нас увезет.

— Интересно! Зачем же я стал бы вас отдавать?

— За деньги. Эвынто говорил, что тебе за нас деньги дадут. «Для того, — говорил, — он их и учит. Разве здесь ученые нужны? Здесь без ученья жили, без ученья и проживут. Охотнику, — говорил, — грамота не нужна, ему меткий глаз нужен. А от грамоты глаза устают, слабеют. В Хабаровске дело другое, там грамотные нужны. Там, — говорил, — за неграмотного хороших денег не заплатят».

— Нечего сказать, отличный бизнес он мне придумал. Что же я, — торговец живым товаром, что ли?

— Да. «Везите, — говорил, — всех школьников в тундру, в горы. Пускай там переждут, пароход у нас долго не простоят. Увезите, пока пароход не пришел. А скажем, что ребята тощать стали, вот и пришлось их к оленным чукчам отвезти».

— Какой мерзавец! Какая подлая тварь! — Всеволод Ильич резко приподнимается, садится, морщится от боли. — А тут эта проклятая история с ногой!.. Ну, ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет! Скажите, ребята, вы верите этому старому обманщику?

— Нет! Нет, не верим!

— А мне верите? Учиться хотите?

— Тебе верим. Хотим учиться. Вчера, когда Ринтувги увозили, так он даже драться стал, не хотел уезжать. Его связанного увезли.

— Тогда всё в порядке. Ну-ка, друзья, помогите мне перевести на чукотский такое письмо: «Уважаемый товарищ Атык, прошу тебя зайти ко мне по важному делу...»

Коллективными усилиями перевод был сделан, и Тылык записал его. Учитель велел отнести записку отцу, а по дороге забежать к дяде Мэмылю, попросить и его, чтоб зашел.

И вот Тылык приносит отцу записку.

— Слушай, письмо я тебе принес.

— Письмо? — удивленно переспрашивает Атык. — Говорящую бумажку?

— Да.

— Что же она говорит?

— Вот слушай: «Уважаемый товарищ Атык, прошу тебя зайти ко мне по важному делу. Зашел бы к тебе сам, да не могу, нога еще сильно болит. Всеволод Вербин».

Атык слушает записку, как слушают музыку. Ему очень нравится. Но, убедившись, что сын закончил, он спрашивает:

— А зачем там стоит мое имя?

— Так ведь это тебе письмо!

— Мне?!

— Конечно, тебе. Вот видишь, тут так и написано: «Уважаемый товарищ Атык».

— Ты смеешься, Тылык. Смеяться над отцом — это очень нехорошо. Я могу рассердиться, и тогда будет совсем нехорошо.

— Да вовсе я не смеюсь, это тебе письмо. Тебе!

— Говорящие бумажки пишут только тому, кто умеет читать. А я не умею. Где ты взял эту бумажку? Кто тебе дал ее?

— Это ничего, что ты не умеешь читать, — ведь я тебе прочел, — значит, ты теперь знаешь всё, что тут написано. А дал мне это письмо Севалот, наш учитель.

Тылык давно уже умеет правильно произносить имя учителя, но он нарочно подражает сейчас произношению отца и других охотников. Тылыку кажется, что так отцу будет понятнее.

— Севалот, говоришь?

— Да. Это я от него письмо тебе принес.

— Ну-ка, прочти еще раз.

Тылык снова читает записку вслух. Когда он заканчивает, Атык удовлетворенно кивает головой.

— Хорошая бумажка, — говорит он. — Правильная. «Нога еще сильно болит» — это у Севалота нога болит. Это Вэльпонты ему ногу разбил. Старый человек Вэльпонты, а глупый. Глупый и злой... А скажи мне, Тылык, зачем там, в конце, стоят имена учителя? «Севалот Вербин» — и больше ничего не сказано. Может быть, ты мне не всё прочел?

— Это подпись. Это так полагается — в самом конце свое имя ставить. Чтобы знали, от кого письмо.

Отец кажется Тылыку удивительно непонятливым. Еще ни разу в жизни так не бывало! Атык — отличный охотник, смелый моряк. Знаниями и умом он не уступит даже дяде Мэмылю, а в искусстве играть на яrare и складывать песни Атыку нет равного на всем побережье. Столько интересного Тылык узнал от отца!

И вдруг роли переменились, приходится объяснять отцу такие простые вещи. Объясняешь, а он всё равно не понимает. Мальчик и горд своим превосходством и в то же время ему немного совестно. То ли ему стыдно за отца,

проявившего вдруг такую непонятливость, то ли он смутно ощущает, что гордое чувство превосходства не совсем законное, не совсем справедливое. Ведь всю долгую чукотскую зиму Всеволод Ильич упорно добивался, чтобы грамота была Тылыку ясна и понятна, тогда как для Атыка вся его тяжелая жизнь делает темной и непонятной такую удивительную вещь, как письмо. Никогда не получал он писем, никогда и ни от кого. . .

— Всё-таки, Тылык, ты, наверно, путаешь что-нибудь. Говорящие бумажки могут говорить по-русски, это все знают. У американцев тоже есть говорящие бумажки. Но еще ни одна бумажка не говорила по-чукотски. Этого не бывает. У кого хочешь спроси — каждый тебе скажет то же самое.

Тылыку кажется, что так и не удастся ему договориться с отцом. И зачем только учитель придумал писать письмо, да еще по-чукотски?! Разве не мог он передать на словах? Но Тылык с малых лет знает, что даже из безногого скорее может получиться хороший охотник, чем из нетерпеливого. Нет, нетерпенья он не проявит! Он произносит спокойно, с достоинством:

— Эта бумажка говорит по-чукотски, я ничего не спутал. Что же я мог спутать? Ты же сам слышал, я ведь читал тебе.

— А может быть, ты выучил эти слова на память? Как песню?

— Нет, я читал их с бумажки. Здесь так написано.

— По-чукотски?

— Да. По-чукотски. Я сам писал.

— Ты сам писал эту говорящую бумажку?

— Да. Севалот говорил мне, а я писал.

— Ну, хорошо. Тогда пойдем, Тылык. Насколько я понял, учитель хочет, чтобы я пришел к нему. . .

В яранге Рультынэ, возле больного учителя, они застали дядю Мэмыля и еще нескольких охотников.

— Вы знаете, — говорил Всеволод Ильич, — что в Анадыре и в Уэлене уже работают государственные фактории. Они покупают пушнину и продают всякие товары, которые нужны охотникам. Сейчас там торгуют русские люди, а когда чукчи станут грамотными, они сами смогут торговать в таких магазинах. А такие магазины будут созданы во всех больших поселках. Значит, нужно много грамотных чукотских людей. Верно?

— Верно, — сказал Мэмыль.

— Дальше. Вы знаете, что на южном берегу, на Беринговом, уже второй год работают две школы, а одна школа — даже третий год. Увозили оттуда детей в Хабаровск?

— Нет, не увозили, — сказал Вамче. — У меня в бухте Лаврентия брат живет, его дочка там учится. Оттуда никого не увозили, я знаю.

— Конечно, не увозили. И отсюда никого увозить не будут. Грамотные люди здесь еще нужней, чем в Хабаровске. Советская власть требует, чтобы везде были школы, чтобы все дети учились. И чтобы учились они на своем родном языке. Так нам еще Ленин говорил. Значит, нужно чтобы сами чукчи учителями стали, нужно, чтобы было много чукотских учителей. Значит, шаман неправду говорит, никуда я ваших детей не собираюсь отправлять. Даже простому охотнику грамота нужна будет. Скоро у вас моторные вельботы появятся, а грамотному легче мотор изучить, чем неграмотному. Правильно я сказал?

— Может быть, ты сказал правильно, — уклончиво ответил охотник Гэмалькот. — Может быть, ты сказал правильно, но мои уши не привыкли слышать такие слова. Я слышал про моторные вельботы, есть такие вельботы. Но никогда ни один чукча не был учителем.

— Никогда, — подтвердил Атык.

— Хорошо, — сказал Всеволод Ильич. — Хорошо, я тогда спрошу так. Где нужны люди, которые грамотны по-чукотски, — здесь, на Чукотке, или в Хабаровске? Если бы я собирался отправлять отсюда ваших детей, — зачем я стал бы учить их чукотской грамоте?

— Да, — сказал Атык. — Севалот учит наших детей чукотской грамоте. Мой Тылык принес мне сегодня бумажку, говорящую по-чукотски. Он прочел мне ее, и я почти сразу всё понял. Он сам ее написал. Вот она.

— Совершенно верно, я просил Тылыка передать тебе это письмо. Твой сын хорошо учится, я даже не думал, что за одну зиму он сделает такие успехи. Пройдет несколько лет, и вы будете читать на своем языке не только письма, но и газеты, и целые книги.

— А разве есть такие книги и газеты? — спросил Вамче.

— Нет, их еще нет. Но они будут, в этом я уверен.

Очень скоро будут — через год или через два. И тогда каждый чукча захочет знать грамоту. . . Но я еще не услышал вашего ответа, охотники. Для чего Советская власть послала меня сюда? Для чего Советская власть поручила мне учить ваших детей? Для того, чтобы отнять их у вас, или для того, чтобы помочь вам наладить на Чукотке хорошую жизнь?

— Говори, Мэмыль, — сказал Вамче.

— Я мог бы сказать, — отозвался Мэмыль. — Я сказал бы, что никуда не увезу свою дочь, пусть учится. Но Севалот не принимает мою Тэгрынэ, говорит, что она еще мала для этого. Будет лучше, если скажет тот, у кого дети учатся в школе.

— Мой сын учится в школе, — сказал тогда Атык. — Мой сын Тылык, вот этот. Зачем я буду мешать ему? Пусть учится дальше. Шаман меня не запугает.

— А что думают другие охотники?

— Мы все так думаем, — ответил Гэмалькот.

— Все, — подтвердил Вамче. — А те, которые уже увезли своих детей, — они привезут их обратно. Вот увидишь.

Так и случилось. Занятия возобновились уже на следующее утро. Через день, удрав из стойбища оленеводов, вернулся Ринтувги. Вопреки его ожиданиям, ему даже не влетело от отца за самовольное возвращение. А к концу недели в поселок вернулось большинство школьников, — родители сами съездили за ними в тундру, к оленным чукчам. Учебный год не был сорван, школу удалось сохранить.

* * *

Прошло три года; Тылык уже заканчивал четырехлетку. Да, это было именно тогда, в последнюю весну, которую Тылык встречал в своем родном поселке.

Впоследствии он почти каждый год приезжал к родным. Сначала — из Анадыря, потом — из Хабаровска, потом — с реки Омолон, а в последние годы — из Ленинграда. Правда, из Ленинграда удалось съездить только два раза. Уж очень далеко от Ленинграда до Чукотки — каникулы чуть не целиком на дорогу уходят. Но, ничего, летом, в июле, он, наверно, поедет туда на преддипломную практику.

Да, Тылык много раз приезжал к родным, в охотничий колхоз «Утро». Но только летом. Всё остальное время

он занимался. Сначала — в Анадырской семилетке, потом — в Хабаровском педучилище, потом несколько лет учительствовал в далекой тундре, на реке Омолон, а теперь вот учится в Ленинградском университете. Весна все эти годы была для него горячей порой: экзамены! Так что та весна, когда он заканчивал четырехлетку, была последней, проведенной им на побережье Чукотского моря.

Что ж, выходит, значит, что прав был шаман, а не учитель? Ведь Тылык действительно уехал из родного поселка и в конце концов очутился даже не в Хабаровске, а гораздо дальше, в Ленинграде... И всё-таки прав был учитель, а не шаман!

Одни и те же факты в разное время имеют разное значение. То, что сегодня воспринимается как успех, завтра будут, может быть, считать неудачей. А бывает и наоборот. Если бы Тылык уехал из поселка тогда, когда это предсказывал шаман Эвынто, все охотники считали бы, что на семью Атыка свалилось большое несчастье. Тогда Атык ни в коем случае не согласился бы отпустить сына по доброй воле. А через три года он даже гордился тем, что отправляет сына в Анадырь, в семилетку.

Сказать, что он делал это с легким сердцем, было бы, конечно, неверно. Нет, совсем нет. Но если за три года до того он воспринял бы предстоящий отъезд сына как тяжелую беду, то теперь он воспринимал это как дело, хоть и рискованное, но достойное, нужное и даже заманчивое. «Ну что ж, — думал Атык, — разве не рискованно по-встречаться в тундре с медведем? А какой охотник не мечтает о такой встрече? Пусть едет сын, пусть едет! Прав был учитель, когда не дал забрать Тылыка из первого класса, и прав он сейчас, когда советует отправить Тылыка в Анадырь, в пятый класс».

Атык сидит у очага, в руках у него тонкая палочка и ярар — чукотский бубен с резной рукояткой из моржового бивня. Мать и сестренка Туар куда-то ушли. Отец слегка постукивает палочкой по ярару; тихие, рокошующие звуки наполняют ярангу. Будто рокошет море вдаль, будто волны, подгоняемые ветром, перекачивают камешки по дну. Отец шевелит губами, — наверно, он напевает про себя какую-то песню.

Тылык примостился на шкуре, возле жирника, распространяющего теплый, желтоватый свет. Перед мальчиком

лежит раскрытая книга, но он не читает. Под звуки отцовского ярара он размышляет о том, как быстро пролетит весна, как пройдет недолгое чукотское лето, как в самом начале осени он уедет вместе с Эйнесом в Анадырь, как они поступят в семилетку... В Анадыре, говорят, все дома — деревянные, ни одной яранги нет. Там не только учатся в домах, там даже живут в них.

Начиная со второго класса, Тылык учился в школе, помещавшейся уже в деревянном доме. Тот пароход, который, по уверениям шамана, должен был увезти в Хабаровск всех школьников, никого из поселка не увез, а привез в поселок бревна для школьного дома, стекла для окон, толь для крыши, кирпич для печей... Маленькая Туар считает, что каждый деревянный дом — это школа. Недавно Тылык рассказывал матери и сестре про Анадырь. Правда, сам он еще не бывал там, но очень много слышал об Анадыре. Когда он сказал, что там вовсе нет яранг, Туар спросила: «А где же там люди живут? В школах?»

Тылык слышит, что в рокочущие звуки ярара вплетается голос отца. Тихий, будто неуверенный, будто нащупывающий что-то. Тылык вслушивается; он понимает, что рядом рождается новая песня.

Иногда Атык по несколько раз повторяет одну и ту же фразу. То одно слово в ней изменит, то другое. Иногда напевает без слов, иногда совсем замолкает, — только ритмично постукивает палочкой по ярару. То возвращается песня к началу, как путник, выбравший неверную тропку, то летится песня легко и свободно.

Начало знакомо Тылыку, — речь там идет о северном ветре. Но это не та, давно знакомая песня, это совсем другая, новая, только начало у них одинаковое. В новой песне поется, что северный ветер напрасно нашептывал сказку про недоступный остров. Другой прилетел на Чукотку ветер — южный, весенний. Радостные вести принес он.

Он рассказал не про сказочный остров, где счастье — только несбыточная мечта, только призрак, привидевшийся в морском тумане, а про большую счастливую землю, над которой взошло беззакатное солнце. Он рассказал о свободной жизни, о счастье, к которому путь никому не заказан. Он и чукчам помог выйти на этот верный путь. «Южный ветер! С тобой возвращаются птицы,

улетавшие в дальние страны, с тобой возвращаются травы и мхи, замиравшие в тундре под снегом, с тобой возвращаются волны, тосковавшие подо льдом. Весна приходит с тобой. Но вести, которые ты нам принес, дороже всего! Снова птицы в дальние страны умчатся, снова мхи покроются снегом, а волны — льдом; та весна, которая тело согрела, пройдет. Но та весна, которая чукчам глаза открыла, останется навсегда. Будут зимние вьюги приходить, и холод, и тьма полярной ночи будут возвращаться каждую зиму. Но никогда не вернется байдарный хозяин, никогда не вернутся шаман и скупщик. Хорошие вести, мудрые, могучие слова донес до Чукотки южный ветер. Горы не сбили его с пути, тундра не истощила его сил. Стали теперь мы сами — простые охотники и пастухи — хозяевами моторных байдар и богатого стада оленей; на побережье Чукотского моря выросли школы для наших детей. Будут зимние вьюги к нам приходить, будет северный ветер в горах с южным ветром бороться, но никогда не померкнет над нами солнце великой ленинской правды. Дуй, весенний ветер, покрепче дуй! Бури вынянчили сердце народа чукчей, и это сердце радо тебе, добрый гость, прилетевший к нам с юга!»

Через несколько дней, на весеннем празднике Спуска байдар Атык впервые спел эту песню перед всеми охотниками колхоза «Утро». Вскоре «Песню о двух ветрах» знали уже по всему побережью.

В августе Тылык уехал в Анадырь. Вамче ехал туда на курсы колхозного актива, Тылыка и Эйнеса отправили вместе с ним.

* * *

Накануне, в воскресенье 31 декабря, Юра и Вася еще с утра уехали к каким-то Юриным родичам, а Тылык и Сергей, подсмеиваясь друг над другом, стали готовиться к новогоднему студенческому балу: брились, гладили брюки, примеряли галстуки. Еще не был решен вопрос о том, какой из галстуков больше подходит к синему костюму Тылыка, а какой — к серому костюму Сергея, когда пришел Гэутэгын — земляк Тылыка, студент математического факультета.

— О чем это вы расшумелись? — спросил он, снимая пальто. — Даже в коридоре слышно.

— Да никак вот не можем выбрать, кому какой галстук надеть, — сказал Сергей.

— Кому какой галстук? — переспросил Гэутэгын. — Ну что ж, попытаюсь помочь вам. Прежде всего надо четко представить себе существо вопроса, его объем. Если Тылык наденет полосатый, то ты, Сергей, можешь надеть либо светлый, либо пестроклечатый. Если Тылык наденет светлый, то ты сможешь надеть либо пестроклечатый, либо полосатый. . . Словом, при трех галстуках и двух шеях общее количество вариантов равно шести. Из этих шести вам и предстоит выбрать один вариант.

— Вот что значит четкая постановка вопроса, — смеялся Тылык. — А мы-то здесь голову ломаем!

— Пожалуй, ты на самом деле сможешь нам помочь, — сказал Сергей, не отводя глаз от груди Гэутэгына. — К твоей темной рубашке очень пошел бы светлый галстук. Твой галстук вполне подходит к костюму Тылыка, а я, так и быть, выбрал бы себе один из двух оставшихся.

— Нет, дорогой товарищ, этот номер не пройдет. Если мы включим в игру один мой галстук и одну мою шею, то количество возможных вариантов сразу возрастет с шести до двадцати четырех. Это значительно затруднит выбор.

— Сразу видно — математик! — воскликнул Тылык.

— К тому же математик, не желающий расставаться со своим галстуком! — добавил Сергей.

— Совершенно верно, — подтвердил Гэутэгын, взглянув на часы. — А кроме того — математик, желающий включить в повестку дня вопрос, гораздо более срочный.

С этими словами он подошел к вешалке, вынул из кармана своего пальто бутылку вина и торжественно поставил ее на стол.

— В вашем хозяйстве, надеюсь, найдется пробочник и три хрустальных бокала?

Пробочник нашелся, а роль хрустальных бокалов пришлось выполнять двум стаканам и одной чашке.

— Ты что же это, — спросил Сергей, предусмотрительно убирая со стола галстуки, — решил встретить Новый год досрочно?

— Нет, не досрочно, а точно в срок. Через десять часов Новый год подойдет к Ленинграду и мы будем встречать его вместе со всеми ленинградцами. Но к во-

сточным границам Советского Союза он уже подходит. И первыми встретят его люди Чукотки.

Тылык посмотрел на часы и сказал:

— Через пять минут на Чукотке уже наступит Новый год.

— Совершенно верно, — продолжал Гэутэгын. — Вот я и предлагаю встретить его одновременно с жителями Анадыря и Уэлена.

— С полярниками Ванкарема, с пограничниками острова Ратманова и шахтерами бухты Угольной, — подержал Тылык.

— С охотниками колхоза «Утро» и оленеводами долины Омолона! — добавил Сергей, показывая, что, хоть и не бывал на родине своих друзей, но кое-что всё-таки знает о ней.

Гэутэгын налил вино в стаканы. Сергей, поднимая стакан, сказал:

— За чукотский Новый год!

— За страну, на востоке которой Новый год в эту минуту уже встречают! — сказал Гэутэгын. — Да здравствует единственная в мире страна, через которую даже такая быстрая штука, как минута, не может перелететь быстрее чем за двенадцать часов!

Так начался этот день. А вечером Тылык и Сергей были в Доме культуры, на новогоднем студенческом балу. Вскоре после полуночи гостей пригласили в концертный зал. Тылык оказался в одном из первых рядов. Он слушал стихотворный фельетон и игру молодого скрипача — лауреата международного конкурса; смотрел балетные номера, вместе со всем залом хохотал во время выступления кукловодов. После кукловодов выступал известный композитор; он сыграл на рояле увертюру и вальс, написанные им для нового фильма, еще не вышедшего на экраны. Тылык горячо аплодировал композитору, потом заговорился со студентом, сидевшим рядом, и когда конференсье объявлял следующий номер, услышал только самые последние слова: «... исполнит песни народов Советского Союза».

На эстраду, встреченная аплодисментами, вышла молодая светловолосая женщина. Она спела русского «Соловья-соловушку», потом украинского шуточного «Комарика», потом грузинскую «Сулико». Ей аккомпанировал худощавый, уже немолодой пианист. Они были немного

похожи; можно было подумать, что это отец и дочь. После каждой песни он вставал и, переждав, пока отгремят аплодисменты, объявлял следующую песню — то узбекскую, то эстонскую, то молдавскую. С чуть заметным нерусским акцентом он прочитывал перевод песни, снова садился и играл. А светловолосая женщина пела. Она пела так легко, с такой простотой и свободой, что каждый раз казалось, будто это ее родной язык, будто эта песня знакома ей с детства. Судя по внешности и по имени (аккомпаниатор называл ее «Салми Аугустовна»), она была скорее всего эстонкой. Но Тылыку казалось, что каждый раз она преобразается даже внешне — в ее жесте, в чертах ее лица появляется то что-то грузинское, то узбекское, то молдавское. Что-то неуловимо изменялось в выражении ее глаз, в движении ее рук; новая мелодия неслась с эстрады — и вот артистка, казавшаяся только что задумчивой дочерью Кавказских гор, превращалась в задорную девчонку с молдавских виноградников. Наверно, не только у Тылыка было такое впечатление, потому что двое студентов-грузин что-то восторженно кричали артистке по-грузински после того, как она спела «Сулико»...

Артистка подала руку своему аккомпаниатору, они поклонились и ушли за кулисы. Потом она несколько раз выбегала, раскланивалась, а аплодисменты всё не стихали. Вышел конферансье, пытался что-то сказать, и сразу же убедился, что перекричать студентов — дело нелегкое. Концерт был хороший, всех артистов принимали горячо, но даже композитор и балерина, которых тоже долго не отпускали, не вызвали такого единодушного восторга, как эта певица. Зал успокоился только тогда, когда она снова вышла в сопровождении аккомпаниатора и, дружески улыбаясь студентам, заняла свое место около рояля. Аккомпаниатор объявил:

— Салми Аугустовна сплет чукотскую «Песню о двух ветрах».

Переждав новый взлет аплодисментов, он стал читать перевод песни: «Обветрены лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки. Обвеяны ветрами, проколены брызгами с гребней морской волны...»

Он сел за рояль — и тихие, рокошующие звуки, похожие на шум далекого морского прибоя, наполнили зал. Тылык слушал зачарованный; только много позже он удивился

тому, что рояль может с такой точностью передать напевный рокот ярара. Артистка пела о грустной сказке, которую рассказывал чукчам северный ветер, и о великой радостной правде, которую принес им южный ветер. Тылык увидел, что не ошибся, — артистка пела, как настоящая чукчанка.

Когда она закончила, Тылык поднялся и стал пробираться к выходу: ему уже не хотелось оставаться, хотелось, чтоб концерт закончился на этом. Конферансье объявлял следующий номер, но Тылык, не слушая, вышел.

Он подумал было отыскать артистку, поблагодарить ее, расспросить, откуда узнала она «Песню о двух ветрах», но постеснялся, передумал и направился в большой зал Дома культуры, откуда доносилась музыка вальса.

Сергей Ширяев оказался там. Он танцевал с Ксюшей. Тылык подождал, пока кончится танец, и спросил, не хотят ли они погулять. Сергей вопросительно посмотрел на Ксюшу.

— Нет, — сказала она, — я бы, пожалуй, еще потанцевала.

Тылык попрощался и пошел в гардероб. Когда он одевался, по лестнице торопливо спустился очень высокий, худощавый человек.

— Простите, — спросил он, — ваша фамилия — Тылык?

— Да... То есть, это почти так. Это мое имя.

— Очень рад, очень рад, — говорил, пожимая Тылыку руку, худощавый человек, в котором Тылык уже узнал пианиста — аккомпаниатора эстонской артистки. — Нам сказали, что вы здесь. Салми Аугустовна очень хотела бы познакомиться с вами. Вы торопитесь?

— Нет, нет, нисколько не тороплюсь. Я сам хотел зайти к вам... Но потом подумал, что вам, может быть, некогда... А кто вам сказал обо мне?

— Один из устроителей; я не знаю его фамилии. Он, кажется, тоже из университета, ваш товарищ. Он сказал Салми Аугустовне, что ее слушали студенты всех народов, песни которых она пела, и даже один чукотский студент. И он рассказал нам про вас... Если вы подождете минутку, я поднимусь к Салми Аугустовне. Мы тоже собирались уезжать.

Он ушел и скоро вернулся вместе с ней. Она крепко пожала Тылыку руку и сказала:

— Мне повезло. Это очень хорошо, что Генрих разыскал вас. Вы мне очень нужны.

— Напротив, это мне повезло... Я, по крайней мере, могу теперь поблагодарить вас. Иначе я так и ушел бы, не сказав вам, как вы хорошо пели... То есть я, конечно, не специалист, не ценитель; вы и без меня знаете, как вы хорошо поете... Я только хотел сказать, что ваша песня... Она буквально перенесла меня домой, на Чукотку! За много тысяч километров, через весь материк!

Она серьезно слушала сбивчивые слова Тылыка. Потом сказала, улыбаясь:

— А вот мы сейчас и проверим, заслужила я вашу благодарность или нет.

Они вышли на улицу, сели в «Победу», которую успело порядочно припорошить снежком. Пианист умело повел машину по ленинградским улицам. Тылык украдкой поглядывал на свою соседку. Она была, пожалуй, немного старше, чем казалась с эстрады. Это, конечно, не отец и дочь. Скорее всего, это муж и жена. А как она собирается проверять, достойно ли благодарности ее пение?.. Но Тылыку не пришлось спрашивать, — она заговорила сама:

— Мы с Генрихом много ездим. Все песни, которые я пою, мы взяли не из нот. Мы слышали, как они звучат в народе, как они звучат там, где сложены, где стали частью народной души... «Песня о двух ветрах» — единственное исключение. На Чукотке мы не бывали. Уж очень это далеко!

— Далеко, — подтвердил Тылык. — Я и то в прошлом году не сумел домой съездить.

— Я очень мечтала о том, чтобы побывать там. У нас даже есть один план... Можно рассказать, Генрих?

— Конечно.

— Вы знаете, обычно мы никому не говорим заранее о таких планах. Может быть, летом у нас будут гастроли на Дальнем Востоке — в Хабаровске, во Владивостоке, в Комсомольске и в Магадане. А из Магадана, может быть, удалось бы слетать ненадолго и на Чукотку.

— Из Магадана тоже еще не близко.

— Я знаю... Да, я понимаю, что шансов очень мало. Но это я только так рассказала, к слову... Так вот, «Песня о двух ветрах» — единственная, которую мы включили в свой репертуар, не послушав ее непосред-

ственно на ее родине, в народном исполнении. Случилось это так... Вы, может быть, знаете профессора Степанова?

— Знаю. Он ведь читает на нашем факультете.

— Вот как? А мы с ним познакомились прошлым летом. Он напел нам эту песню. И она так понравилась нам, что мы решили отступить ради нее от своего обычного правила. Я попросила профессора научить меня этой песне. Я, наверно порядком надоела ему, но всё-таки научилась. Во всяком случае, он уверял, что я не делаю ошибок.

— Я могу подтвердить это, — сказал Тылык. — Даже трудно поверить, что вы не говорите по-чукотски, а знаете только одну эту песню.

— А мелодия? Мы не слишком удалились от оригинала? Вам приходилось когда-нибудь слышать эту песню на Чукотке?

— Да, не раз. Я чувствую, что вы чуточку что-то изменили, обогатили мелодию. Но самая сущность напева передана замечательно. Мне казалось, будто я слышу ярар — наш чукотский бубен.

— Это обработка Генриха. А консультировал его профессор Степанов. Он, видимо, прекрасный знатк вашего края?

— Еще бы! Ведь он вырос на Чукотке. Отец его был пекарем в Анадыре. Отец у него русский, а мать чукчанка. Чукотский язык он знает с детства... А потом он уже отсюда к нам приезжал, уже известным ученым. Собирал чукотские песни, сказки.

— Да, он рассказывал нам об этих экспедициях. И всё-таки мне очень хотелось бы проверить себя по-строже. Мне очень хотелось бы услышать слова этой песни в вашем произношении. Вы мне не откажете?

— Конечно... Если только это может вам пригодиться.

В это время машина остановилась. Тылык посмотрел в окно.

— Это, кажется, улица Гоголя?

— Да, здесь живут наши друзья. Мы обещали приехать к ним после концерта. Хоть под утро.

Тылык взялся за ручку дверцы.

— Погодите, я выйду, а Генрих довезет вас до дома! Но прежде всего нам надо условиться о встрече.

— Лекции у меня до трех. В любой день после трех я свободен.

— А что, если мы не будем откладывать? И ноты, и текст у нас здесь, в папке. А? Я задержала бы вас совсем ненадолго.

— Это было бы, пожалуй, вернее всего, — сказал Генрих. — Завтра у нас опять два выступления, а послезавтра мы уже должны отправляться в Таллин.

— Хорошо, — согласился Тылык.

— Я не зову вас к нашим друзьям, — сказала Салми Аугустовна, — потому что там, наверно, обстановка совсем не деловая. А здесь нам никто не помешает.

Она раскрыла на коленях папку, полную рукописных нот, и отыскиала «Песню о двух ветрах».

Со стороны это выглядело необычно, даже немного странно. В праздничную, новогоднюю ночь, когда повсюду еще не утихло веселье, когда даже через двойные рамы на улицу доносились из квартир звуки радиол и хотя не очень стройное, но зато вполне непринужденное пение, а по шторам двигались тени танцующих пар, — в это время в освещенной машине три человека серьезно, по деловому, обсуждали что-то, склонившись над исписанными листами бумаги.

Но большинство прохожих было в эту ночь в том замечательном настроении, в котором почти ничему не удивляются. Некоторые, правда, подходили в поисках спасительного шахматного пояса, отличающего такси от всех других машин, но, убедившись, что это не такси, продолжали путь на своих собственных, хотя и вышедших из повиновения ногах. Только милиционер походил немного вокруг «Победы» и, не найдя, видимо, ничего предосудительного, перешел на другую сторону улицы, чтобы поболтать с дежурной дворничихой.

Салми Аугустовна медленно, по одной фразе произносила слова песни. «Так, — говорил Тылык, — правильно». Тогда Салми Аугустовна просила его произнести ту же фразу, повторить ее по три, по четыре раза. «Ты слышишь, Генрих, ты слышишь?!» — спрашивала она, когда улавливала разницу в звучании. И они ставили над строками текста какие-то значки, — иногда по несколько значков над одним словом. Потом Салми Аугустовна, тихонько поупражнявшись, снова произносила ту же фразу, напевала ее вполголоса и спрашивала, не изме-

нилось ли звучание слов. Да, теперь и Тылык улавливал разницу; он слышал, что слова звучат еще естественнее, свободнее, еще ближе к обычному чукотскому произношению. Впрочем, таких слов, которые пришлось переучивать, на всю песню оказалось не больше десятка.

Тылык поражался тому, с каким упорством, забыв обо всем на свете, работают эти артисты. Час назад, слушая их выступление, он и не предполагал, что песни этой светловолосой женщины требуют такой кропотливой, такой напряженной черновой работы над каждым словом. Любую интонацию, любой звук она обтачивала с таким же терпением, с каким косторез Гэмауге вырезает на неподатливой кости моржового бивня и легкое облачко, и тонкий узор мхов, и свободный бег волны. Тылык подумал о том, какой неустанный труд, какая непримиримая требовательность нужны даже самому талантливому художнику, чтобы в песне или в картине возникла естественность и свобода подлинной жизни. И человек, которого во время концерта Тылык считал только аккомпаниатором, был, оказывается, руководителем этой большой работы. Артистка старательно выполняла все его указания — видно было, как верит она его слуху, его художественному вкусу. Труд этих артистов напомнил Тылыку, что сейчас, в эту ночь, когда чуть не за каждым окном чувствуется дыхание праздника, тысячи людей стоят на своих рабочих местах. Работают люди на эл тростанциях, — чтобы не погас в домах свет; работа. люди на хлебозаводах, — чтобы утром у жителей город. был свежий хлеб. Доменщики тоже работают — плавку нельзя остановить даже в новогоднюю ночь... Видно, в сердце настоящих артистов горит огонь, которого нельзя загасить. Да и то верно, что песни нужны народу не меньше, чем выплаваемый в домнах металл!

Когда работа была закончена, Салми Аугустовна спросила Тылыка, не знает ли он Атыка — певца, сложившего «Песню о двух ветрах». Тылык сказал, что знает, что много раз слышал его пение. Он подробно рассказал им об Атыке, они узнали об авторе песни гораздо больше, чем от профессора Степанова. Одного только Тылык не сказал: того, что Атык — его отец. Он умолчал об этом не столько из скромности, сколько потому, что ни перед кем не хотелось ему сейчас до конца раскрывать радость сегодняшней ночи, ее удивительных событий. А почему

не хотелось, этого он и сам не сумел бы объяснить. Может быть, просто боялся, что, если рассказать, — всё окажется вовсе не таким уж удивительным.

Тылык подумал, что его могут спросить, откуда он так хорошо знает певца Атыка, и поэтому сразу затопился.

— Генрих довезет вас, — повторила свое предложение Салми Аугустовна.

— Спасибо, не нужно. Я с удовольствием пройдуся.

— Вы напрасно отказываетесь, — сказал Генрих. — Выходит, что мы завезли вас куда-то и оставили.

— Нет, это было мне по пути. Отсюда мне уже совсем недалеко. В самом деле не нужно, спасибо.

— Ну, как хотите. — Салми Аугустовна пожала Тылыку руку. — До свидания, Тылык. Я очень вам благодарна.

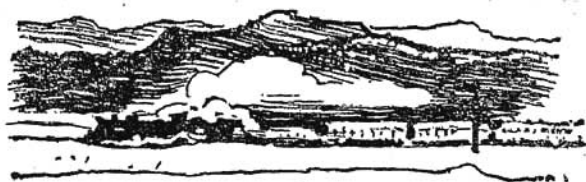
— Спасибо вам, Тылык, — сказал Генрих. — Для нас новый год начался очень удачно!

— Для меня тоже! — сказал Тылык. — До свидания.

Тылык пошел домой, в университетское общежитие. Почти всё, что случилось с ним дальше в эту новогоднюю ночь, ты уже знаешь, мой дорогой читатель. Он перешел Неву, потом, вместе с незнакомой девушкой в пестрой шапочке, попал ненадолго в плен к разгулявшимся студентам-горнякам, потом пришел в общежитие, лег, стал вспоминать родной поселок, школу в яранге Рультына, учителя, отца, рождение «Песни о двух ветрах»... «Обветрены лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки»...

Когда Сергей Ширяев, проводив Ксюшу, тоже возвратился в общежитие, Тылык уже спал. Он спал, и ему снились какие-то необыкновенные приключения Большой Снежинки, не успевшей растаять на брови у Пестрой Шапочки.





ХП

СОСЕДИ НА ДЕСЯТЬ СУТОК

Я проснулся на рассвете и, чуть отведя рукой занавеску, посмотрел в окно. Поезд переходил через мост. Может быть, именно от этого я и проснулся, — от того, что сразу переменился характер шума. Когда поезд идет по мосту, колеса стучат не так, как обычно.

Река текла тихо, спокойно. Кажется, это была Вятка. Впрочем, это могла быть и другая какая-нибудь река, — точно я не знал, а спросить было не у кого. Гэутэгын лежал, укрывшись простыней, и мирно спал; одеяло, свисавшее к ногам, наполовину свисало и колыбалось в та покачиванию вагона. Наши соседи по купе, занимавшие нижние полки, тоже спали.

В купе было полутемно, свет почти не проникал сквозь плотные занавески. Я только чуточку приоткрыл занавеску сбоку, чтобы посмотреть, что делается снаружи. Там, за окном, мелькали металлические фермы моста, а за ними виднелась вода, отражающая утреннее небо. Я лежал на животе и любовался золотисто-розовыми облаками, отраженными спокойной водой.

Потом реки уже не было видно, а мы всё еще ехали по мосту. Он был, казалось, гораздо длиннее, чем надо, раза в два. «Наверно, — подумал я, — это сделано с расчетом на весеннее половодье».

Наконец мост кончился. Проплыла за окном березовая рощица, потом — огороды, несколько домиков, переезд. Шлагбаум был опущен, перед ним стояли три грузовика, «Победа» и два велосипедиста. Грузовики везли, видимо,

— Да, да, Алитет. Мерси. И вообще мы так... Нас так это интересует! Жена имеет даже целую коллекцию... Такие фигурки, знаете? Олени, моржи, белые медведи. И потом — на таких длинных санках, да?

— На нартах?

— На таких нартах, да, да. Для нас это всё — почти сказка. За Полярным кругом! Брр! И вдруг эта встреча. Мы в первый раз видим настоящих, живых чукчей.

Профессор засмеялся, его жена — тоже. Гэутэгына мне не было видно, он сидел под моей полкой. Гэутэгын сказал:

— Что вы, я нисколько не сержусь. Наоборот, мне очень приятен ваш интерес. У нас интересного немало... И признаться... Признаться, — добавил он в тон профессору, — я тоже никогда в жизни не встречал настоящих, живых бельгийцев.

— О! — воскликнула жена профессора. — Я не знал... Я не знала, что чукчи имеют такую насмешливость...

— Насмешливость, Клодин, — поправил муж.

— Да, такую насмешливость и такую... Как это?.. Живучесть!

— Живность, — снова поправил он.

— Да, да, такую живность!

— К сожалению, я не могу принять ваш комплимент, мадам. Ваше прежнее мнение было вернее. Мы не обладаем ни живостью южан, ни их юмором. Вместо крови в нашем теле течет ледяная вода, а питаемся мы исключительно мороженым.

— Не смейтесь над нами, мсье Гэутэгын. Вы разве отрицаете всякую особенность? Национальный характер?

— Вовсе нет, мсье Леерлинк. Мы отрицаем только то, что эти особенности определяются географией. Кроме того, мы не считаем эти особенности неизменными. Существуют условия, в которых даже народы, считавшиеся обреченными на вымирание, становятся сильными и жизнерадостными.

— Кажется, из область этнографии вы хотите перейти в область политики.

— А вы предпочитаете заблуждаться в этнографии, лишь бы не касаться политики?

Я решил прекратить этот спор и, делая вид, будто только что проснулся, сказал громко:

— Доброе утро!



Бельгийцы тоже пожелали мне «доброго утра», а Гэутэгын, со свойственной ему педантичностью, сказал:

— Добрый день!

Вскоре бельгийцы под каким-то предлогом вышли в коридор. Видимо — чтобы мне не пришлось одеваться, лежа под одеялом. Я соскочил с полки и, влезая в брюки, спросил:

— Как вы себя чувствуете, мсье Гэутэгын?

— Неважно. Приблизительно так, как восковая кукла, выставленная в этнографическом музее.

— Если бы музейная кукла обладала способностью чувствовать, она, по-моему, должна была бы гордиться. Гордиться вниманием посетителей, возможностью пополнить их знания. Кроме того, куклы, кажется, не вступают с посетителями в спор.

— А что, разве я был резок? — встревожился Гэутэгын. — Мне, понимаешь, совсем не хочется их обидеть. Очень, по-моему, славные старики.

— Ну, ну! Клодин-то, положим, далеко еще не старушка.

— Да и Морис еще молодец.

— Его Морисом зовут?

— Да. Вполне, по-моему, приятные соседи. Если бы только они не смотрели на нас, как на какую-то диковинку. У меня, понимаешь, такое ощущение, будто им всё время хочется потрогать нас руками, проверить, действительно ли мы существуем. Для них, понимаешь, чукчи — это что-то невсамделишное, какая-то заполярная экзотика, что ли. О чем бы они с тобой ни говорили, — они ни на секунду не могут забыть, что ты чукча. И им, видимо, очень жаль, что на нас не оленьи шкуры, а заурядные пиджаки.

— Ну и пусть. Надо быть немного терпимее. Надо всё-таки учитывать, откуда они приехали.

— Я всё это учитываю, — вздохнул Гэутэгын. — Я вижу, что ближайшие десять суток придется посвятить этому профессору и его супруге. Ознакомить их, по мере сил, с основами пролетарского интернационализма.

— Послушай, — малодушно предложил я, — может, попросим проводницу переселить нас в соседнее купе? Там должно освободиться два места. Там двое только до Свердловска едут. Те офицеры, с которыми мы вчера ужинали.

Гэутэгын минутку подумал.

— Нет, — сказал он, — это было бы негостеприимно.

— Что ты, я вовсе не предлагаю сбежать. Наоборот, объясним, что не хотим, дескать, стеснять их.

— Шито белыми нитками. Если мы перейдем, на наши места в Свердловске сядут другие пассажиры. Да и вообще...

— Что вообще?

— У меня вообще такое впечатление, что мы их вовсе не стесняем. Они сами, как я понимаю, хотят пожить хоть несколько дней бок о бок с обыкновенными советскими людьми. Видишь ли, денег на двухместное купе в международном вагоне у них, я думаю, хватило бы. Конечно, они не буржуи какие-нибудь, но такой расход они могли бы себе позволить. Если бы захотели. А они взяли билеты сюда, в четырехместное купе, да еще в жесткий вагон.

— Чтобы окунуться, как говорится, в самую гущу?

— Вот именно. В мягком могло бы оказаться какое-нибудь высокое начальство или, чего доброго, такие же интуристы, как они. Какой им в этом интерес? Им интересно вникнуть в жизнь простых советских людей — рабочих, служащих...

— Студентов, — добавил я, зашнуровывая ботинок.

— Совершенно верно. Студентов. Так что с этой точки зрения... Словом, они, мне кажется, были бы даже немного огорчены, если бы мы ушли.

Я засмеялся.

— О чем ты? — спросил Гэутэгын.

— Вспомнил, как он вчера с проводницей разговаривал. Он ее спрашивает: «Жесткий-купированный?» Проводница привыкла к тому, что пассажиры интересуются чаще всего второй частью этого определения. Она и отвечает: «Да, да, купированный». А его, как я теперь понимаю, интересовала главным образом первая часть, — жесткий ли. Видимо, он просто не знает, что это два разных слова, думает, что они в данном случае неразделимы. Так они и не сговорились; он уж сам потом убедился, что вагон действительно жесткий.

— Вот видишь. Нет, уходить, конечно, не годится. Надо помнить, что мы здесь хозяева, а они — гости. Это как-никак обязывает нас. В вагоне мы — равноправные пассажиры, а в стране, так сказать, в целом... Пони-

ишь? Гости есть гости. Тем более, что они, в конце концов, очень милые.

— Хорошо, — согласился я, — снимаю свое предложение.

И, перекинув через плечо полотенце, я пошел умываться.

* * *

Дни потянулись один за другим. Молотов, Свердловск, Омск, Новосибирск. Равнина сменялась горами; потом горы сменялись низинами, заболоченными кустарниками. Мы пересекали Западно-Сибирскую низменность.

Соседей наших живо интересовало всё: и граница между Европой и Азией, и система поясного времени, и ехавшая в соседнем вагоне пожилая колхозница — Герой Социалистического Труда, и проблема поворота сибирских рек. Мы рассказывали что могли, знакомили их с колхозницей, показывали на карте, каким образом воды Иртыша можно повернуть на юг, к пескам Казахстана. Профессор Леерлинка и его супруга были внимательными и непредубежденными слушателями. Их поражали масштабы страны. («Для Бельгии, — шутил профессор, — не требуется никаких часовых поясов».) Еще больше их поражали грандиозные масштабы стройки, планы преобразования природы.

Нам было приятно знакомить их с успехами советской страны. Тем более, что профессор вел путевой дневник и по возвращении в Бельгию собирался опубликовать его.

Единственное, что нас очень стесняло, — это то, что и мы сами оказались предметом постоянного изучения. Профессор Леерлинка и его жена с неослабевающим интересом расспрашивали о Чукотке, выслушивали наши рассказы, а потом она говорила что-нибудь в таком роде:

— Всё-таки мне очень жалько эти старые вигвамы.

— Яранги, Клодин, — поправлял ее профессор.

И задумчиво добавлял:

— Мне кажется, что домики вместо яранг, электричество вместо этих... Как это?.. Вместо этих жирников... Всё это, конечно, есть прогресс, большой прогресс. Но при этом Север отчасти теряет свое своеобразие, свою поэтичность. Не правда ли?

В такие моменты, глядя на профессора, я удивлялся,

что его глаза попрежнему кажутся умными. А Гэутэгын говорил:

— Нет уж, спасибо. Мы уж как-нибудь без поэзии обойдемся.

И, помолчав, уточнял:

— Без такой, во всяком случае.

Соседей наших огорчала и механизация рыбного лова и даже то, что в чукотских стойбищах давно уже нет шаманов. Не то, чтобы они были врагами прогресса — нет, они искренне считали себя людьми передовых убеждений. Но при этом никак не могли избавиться от любования чертами отсталости, которая издаലെка представлялась им и своеобразной и даже поэтичной. А мы, радующиеся тому, что этой отвратительной отсталости пришел конец, казались им людьми, которые не в состоянии понять, «насколько цивилизация делает жизнь прозаичнее».

— Поймите, профессор, — говорил Гэутэгын, стараясь не горячиться: — та жизнь, от которой ушел наш народ, была для чукчей не жизнью, а медленной смертью. И даже не очень медленной, если быть точным. Вот почему мы так ненавидим отсталость. А что касается поэзии, — мы видим ее в другом. Мы видим ее в борьбе с нашей суровой природой и с той же самой отсталостью, в возрождении нашего народа, в электричестве, освещающем чукотские поселки. . .

— Электричество и поэзия — это разные вещи, мсье Гэутэгын. Совсем разные.

— А для нас между этими разными вещами гораздо больше родства, чем между поэзией и старым чукотским бытом, будь он трижды проклят! Дело, видимо, в том, что все грехи капиталистической цивилизации, весь ее «прозаизм», как вы это называете, вы переносите. . . Словом вы не учитываете, профессор, что мы строим совсем другую цивилизацию, не капиталистическую. . .

Это была как раз та тема, которой профессор старался не касаться. Но Гэутэгын, забыв о своем намерении не горячиться, продолжал:

— Есть два вида буржуазного национализма, два вида национального высокомерия. Первый — это презрение к другим народам, людям других рас. Это более и менее открытое, сознательное высокомерие. К нему с вами относимся, кажется, одинаково, — не будем говорить о нем. Но есть и другой вид, подчас неосознанное

Бельгийцы тоже пожелали мне «доброго утра», а Гэутэгын, со свойственной ему педантичностью, сказал:

— Добрый день!

Вскоре бельгийцы под каким-то предлогом вышли в коридор. Видимо — чтобы мне не пришлось одеваться, лежа под одеялом. Я соскочил с полки и, влезая в брюки, спросил:

— Как вы себя чувствуете, мсье Гэутэгын?

— Неважно. Приблизительно так, как восковая кукла, выставленная в этнографическом музее.

— Если бы музейная кукла обладала способностью чувствовать, она, по-моему, должна была бы гордиться. Гордиться вниманием посетителей, возможностью пополнить их знания. Кроме того, куклы, кажется, не вступают с посетителями в спор.

— А что, разве я был резок? — встревожился Гэутэгын. — Мне, понимаешь, совсем не хочется их обидеть. Очень, по-моему, славные старики.

— Ну, ну! Клодин-то, положим, далеко еще не старушка.

— Да и Морис еще молодец.

— Его Морисом зовут?

— Да. Вполне, по-моему, приятные соседи. Если бы только они не смотрели на нас, как на какую-то диковинку. У меня, понимаешь, такое ощущение, будто им всё время хочется потрогать нас руками, проверить, действительно ли мы существуем. Для них, понимаешь, чукчи — это что-то невсамделишное, какая-то заполярная экзотика, что ли. О чем бы они с тобой ни говорили, — они ни на секунду не могут забыть, что ты чукча. И им, видимо, очень жаль, что на нас не оленьи шкуры, а заурядные пиджаки.

— Ну и пусть. Надо быть немного терпимее. Надо всё-таки учитывать, откуда они приехали.

— Я всё это учитываю, — вздохнул Гэутэгын. — Я вижу, что ближайшие десять суток придется посвятить этому профессору и его супруге. Ознакомить их, по мере сил, с основами пролетарского интернационализма.

— Послушай, — малодушно предложил я, — может, попросим проводницу переселить нас в соседнее купе? Там должно освободиться два места. Там двое только до Свердловска едут. Те офицеры, с которыми мы вчера ужинали.

Гэутэгын минутку подумал.

— Нет, — сказал он, — это было бы негостеприимно.

— Что ты, я вовсе не предлагаю сбежать. Наоборот, объясним, что не хотим, дескать, стеснять их.

— Шито белыми нитками. Если мы перейдем, на наши места в Свердловске сядут другие пассажиры. Да и вообще...

— Что вообще?

— У меня вообще такое впечатление, что мы их вовсе не стесняем. Они сами, как я понимаю, хотят пожить хоть несколько дней бок о бок с обыкновенными советскими людьми. Видишь ли, денег на двухместное купе в международном вагоне у них, я думаю, хватило бы. Конечно, они не буржуи какие-нибудь, но такой расход они могли бы себе позволить. Если бы захотели. А они взяли билеты сюда, в четырехместное купе, да еще в жесткий вагон.

— Чтобы окунуться, как говорится, в самую гущу?

— Вот именно. В мягком могло бы оказаться какое-нибудь высокое начальство или, чего доброго, такие же интуристы, как они. Какой им в этом интерес? Им интересно вникнуть в жизнь простых советских людей — рабочих, служащих...

— Студентов, — добавил я, зашнуровывая ботинок.

— Совершенно верно. Студентов. Так что с этой точки зрения... Словом, они, мне кажется, были бы даже немного огорчены, если бы мы ушли.

Я засмеялся.

— О чем ты? — спросил Гэутэгын.

— Вспомнил, как он вчера с проводницей разговаривал. Он ее спрашивает: «Жесткий-купированный?» Проводница привыкла к тому, что пассажиры интересуются чаще всего второй частью этого определения. Она и отвечает: «Да, да, купированный». А его, как я теперь понимаю, интересовала главным образом первая часть, — жесткий ли. Видимо, он просто не знает, что это два разных слова, думает, что они в данном случае неразделимы. Так они и не сговорились; он уж сам потом убедился, что вагон действительно жесткий.

— Вот видишь. Нет, уходить, конечно, не годится. Надо помнить, что мы здесь хозяева, а они — гости. Это как-никак обязывает нас. В вагоне мы — равноправные пассажиры, а в стране, так сказать, в целом... Пони-

маешь? Гости есть гости. Тем более, что они, в конце концов, очень милые.

— Хорошо, — согласился я, — снимаю свое предложение.

И, перекинув через плечо полотенце, я пошел умываться.

* * *

Дни потянулись один за другим. Молотов, Свердловск, Омск, Новосибирск. Равнина сменилась горами; потом горы сменились низинами, заболоченными кустарниками. Мы пересекали Западно-Сибирскую низменность.

Соседей наших живо интересовало всё: и граница между Европой и Азией, и система поясного времени, и ехавшая в соседнем вагоне пожилая колхозница — Герой Социалистического Труда, и проблема поворота сибирских рек. Мы рассказывали что могли, знакомили их с колхозницами, показывали на карте, каким образом воды Иртыша можно повернуть на юг, к пескам Казахстана. Профессор Леерлинк и его супруга были внимательными и непредубежденными слушателями. Их поражали масштабы страны. («Для Бельгии, — шутил профессор, — не требуется никаких часовых поясов».) Еще больше их поражали грандиозные масштабы стройки, планы преобразования природы.

Нам было приятно знакомить их с успехами советской страны. Тем более, что профессор вел путевой дневник и по возвращении в Бельгию собирался опубликовать его.

Единственное, что нас очень стесняло, — это то, что и мы сами оказались предметом постоянного изучения. Профессор Леерлинк и его жена с неослабевающим интересом расспрашивали о Чукотке, выслушивали наши рассказы, а потом она говорила что-нибудь в таком роде:

— Всё-таки мне очень жалько эти старые вигвамы.

— Яранги, Клодин, — поправлял ее профессор.

И задумчиво добавлял:

— Мне кажется, что домики вместо яранг, электричество вместо этих... Как это?.. Вместо этих жирников... Всё это, конечно, есть прогресс, большой прогресс. Но при этом Север отчасти теряет свое своеобразие, свою поэтичность. Не правда ли?

В такие моменты, глядя на профессора, я удивлялся,

что его глаза попрежнему кажутся умными. А Гэутэгын говорил:

— Нет уж, спасибо. Мы уж как-нибудь без поэзии обойдемся.

И, помолчав, уточнял:

— Без такой, во всяком случае.

Соседей наших огорчала и механизация рыбного лова и даже то, что в чукотских стойбищах давно уже нет шаманов. Не то, чтобы они были врагами прогресса — нет, они искренне считали себя людьми передовых убеждений. Но при этом никак не могли избавиться от любования чертами отсталости, которая издавна представлялась им и своеобразной и даже поэтичной. А мы, радуясь тому, что этой отвратительной отсталости пришел конец, казались им людьми, которые не в состоянии понять, «насколько цивилизация делает жизнь прозаичнее».

— Поймите, профессор, — говорил Гэутэгын, стараясь не горячиться: — та жизнь, от которой ушел наш народ, была для чукчей не жизнью, а медленной смертью. И даже не очень медленной, если быть точным. Вот почему мы так ненавидим отсталость. А что касается поэзии, — мы видим ее в другом. Мы видим ее в борьбе с нашей суровой природой и с той же самой отсталостью, в возрождении нашего народа, в электричестве, освещающем чукотские поселки...

— Электричество и поэзия — это разные вещи, мсье Гэутэгын. Совсем разные.

— А для нас между этими разными вещами гораздо больше родства, чем между поэзией и старым чукотским бытом, будь он трижды проклят! Дело, видимо, в том, что все грехи капиталистической цивилизации, весь ее «прозаизм», как вы это называете, вы переносите... Словом, вы не учитываете, профессор, что мы строим совсем другую цивилизацию, не капиталистическую...

Это была как раз та тема, которой профессор старался не касаться. Но Гэутэгын, забыв о своем намерении не горячиться, продолжал:

— Есть два вида буржуазного национализма, два вида национального высокомерия. Первый — это презрение к другим народам, людям других рас. Это более или менее открытое, сознательное высокомерие. К нему мы с вами относимся, кажется, одинаково, — не будем говорить о нем. Но есть и другой вид, подчас неосознанный.

Человек считает себя другом всех народов, а любитесь не тем, чем сильны малые народы, а тем, чем они слабы, или даже тем, что о них выдумали...

Профессор с улыбкой поднял кверху руки, и спор закончился шуткой. Я попытался утешить соседей, сообщив им, что, когда мы с Гэутэгыном кончим университет и совсем вернемся на Чукотку, нам придется всё-таки чаще пользоваться не прозаическим автомобилем, а поэтическими собаками.

* * *

Обедать мы ходили в вагон-ресторан все вместе, вчетвером. Но в этот день жена профессора чувствовала себя не совсем хорошо, и они заказали обед к себе в купе. Мы с Гэутэгыном пошли в ресторан вдвоем.

К нам долго никто не подходил, еще дольше обычного. Всё внимание официантки было поглощено подвыпившей компанией, сидевшей за соседним столиком. Я сказал, что отчасти даже рад, что Леерлинки не пошли с нами обедать: по крайней мере не приходится краснеть перед ними и за эту компанию, и за администрацию ресторана.

— К чорту! — сказал Гэутэгын.

— Кого, собственно?

— К чорту! — повторил он. — Я и не подумал бы краснеть. Мы ждем, и они подождут бы. Ничего им не сделалось бы.

— А ты не злишь, — сказал я.

Но я понимал, что злится он не так уж сильно, — я достаточно хорошо его знаю. Он нарочно напускал на себя такой сердитый вид. Ему было стыдно, что в споре с профессором он всё время срывался с тона, горячился. Теперь, разыгрывая передо мною негодование, Гэутэгын полагал, что убивает сразу двух зайцев: во-первых, отчасти оправдывает свою несдержанность («когда человек негодует, так тут уж не до церемоний!»), а во-вторых, ограждает себя от непрошенных правоучений («лучше уж не трогать человека, пока он не успокоится!»). Видимо, он опасался, что я начну упрекать его в нарушении светских правил, в отсутствии терпимости и так далее. А я вовсе и не собирался лезть к нему с упреками.

Гэутэгын вынимал из стаканчика бумажные салфетки и делал из них «голубей». Когда перед ним образовалась целая стайка, он сказал:

— Подумаешь, какие любители поэзии! Сами, небось, не «вигвамы» себе строят. Сами, небось, живут в квартире с теплой уборной. С электричеством, ванной и прочими удобствами.

— Мне кажется, — заметил я, — что если хорошенько покопаться, то в словах Леерлинка можно найти одно рациональное зернышко.

— Зернышко?! — возмутился Гэутэгын. — Реакционный бред! Реакционнейший эстетский бред!

— Да, пожалуй... Не во всем, но во многом... Так вот, если откинуть эстетские, реакционные рассуждения, тоску по шаманизму и прочую чепуху, то останется одна верная мысль.

— Какая же?

К нам, наконец, подошла официантка, но Гэутэгыну уже было не до нее. Пока она принимала заказ, он нетерпеливо переставлял на столе своих бумажных птиц, заставлял двух из них наскакивать друг на друга. В его руках они вели себя совсем не по-голубиному. Нелегкое дело выбора блюд Гэутэгын целиком предоставил мне. Когда официантка отошла, он повторил:

— Какая же это мысль показалась тебе верной?

— Не знаю, как ее сформулировать поточнее.

— А всё-таки?

— Ну, скажем, так: при всех своих явных недостатках, яранга в условиях Крайнего Севера обладает и некоторыми преимуществами.

— Например?

— Например, ее гораздо легче отапливать. Дом жирниками не натопишь. Дальше. В случае нужды ее гораздо легче починить, подремонтировать. Я уж не говорю о том, что она дешевле.

— Подожди, давай уточним. Ты, значит, против переселения в дома?

— Конечно, нет. Преимущества домов настолько очевидны, что тут и спорить нечего. Но...

— Точно, как у профессора Леерлинка: «Это, конечно, есть большой прогресс, но...» Мы уже слышали сегодня это словечко!

— По-моему, словечко неплохое. Оно тревожит, не дает успокаиваться на достигнутом.

Теперь Гэутэгыну уже не надо было напускать на себя сердитый вид: он действительно рассердился. Он стал

обвинять меня в том, что я рассуждаю только с точки зрения своего поселка. «У вас, — говорил он, — все уже в домах живут, для вас это, как говорится, пройденный этап, вы уже можете капризничать, придирайтесь. И то вам не так, и это не нравится. . . А на остальную Чукотку тебе, видимо, наплевать. В основном-то чукчи до сих пор в ярангах живут! И каждый передовой человек мечтает о простом деревянном доме, как о великом благе. А тебе это безразлично. Ты забываешь, что все наши разговоры о культурной революции на Чукотке будут — по крайней мере наполовину — пустой болтовней, пока мы не покончим с ярангами, с их духотой, теснотой и грязью».

Словом, влетело мне как следует. Я только тихо возразил, что менее всего основываюсь на опыте колхоза «Утро». Скорее наоборот. В нашем поселке переселение в дома прошло как раз вполне благополучно.

Я налил в стаканы пиво и стал рассказывать Гэутэ-гину, как произошло переселение, как была торжественно разобрана последняя яранга, когда старая Рультыне решила, наконец, расстаться с ней, перебраться в дом, к своему сыну Эйнесу. Выпив стакан пива и выслушав эту историю, мой друг немного подобрел. Когда мы съели по тарелке борща и принялись за жареную печенку, я решил снова перейти в наступление.

— К нашему берегу, — сказал я, — довольно много плавника прибывает. Да и доходы в нашем колхозе неплохие, каждый может себе угля купить. А во многих местах с топливом дело обстоит посложнее: ни лесу, ни плавника. Уголь тоже не везде достанешь. Учти и то, что не каждому колхознику он по карману. Чем будешь отапливать? Ты знаешь, что есть случаи, когда дом, по существу, превращают в ярангу? Возвращаются, так сказать, в первобытное состояние. Внутри дома, в комнате, сооружают полог. Точно такой, какие в ярангах сооружаются. И живут в пологе, с жирниками. Что это — просто смешные случаи? Очередное доказательство того, как живучи традиции, как цепок старый быт?

Гэутэгин ничего не ответил. Я подождал немного и сказал:

— Было бы неплохо, если бы умники, которые видят в этом только цепкость старого быта, прожили хоть одну зиму без топлива в деревянном доме. Причем, нашу зиму, чукотскую!

— Я понимаю, — сказал Гэутэгын уже без всякой запальчивости. — Я прекрасно понимаю, что всё это не так просто.

— Совсем не просто! — подхватил я. — В костюмах полярных летчиков и зимовщиков есть много от одежды эскимосов, ненцев, чукчей. Это ведь не случайно! Может быть, тысяча лет понадобилась, чтобы научиться обрабатывать шкуры, чтобы узнать, какой мех всего теплее, какой покроем лучше всего защищает от ветра и меньше всего стесняет движения... Яранги давно уже устарели; чем скорее мы покончим с ними — тем лучше. Но и в них — опыт десятков поколений. Вернее — сотен поколений! Нелепо пренебрегать этим опытом, нелепо думать, что на берегу Чукотского моря и на берегу, скажем, Куйбышевского моря дома должны быть одинаковы. В будущей архитектуре Крайнего Севера — я в этом уверен! — найдут какое-то отражение и лучшие черты яранги...

Когда мы вернулись в свое купе, Леерлинки засыпали нас вопросами: они читали купленную на станции газету, и многое в ней было им не понятно.

Ближайшие три-четыре дня Гэутэгын вел себя безукоризненно. Казалось, что все споры остались в Европе, западнее Уральского хребта.

* * *

Мы подъезжали к Красноярску. Я стоял в коридоре, у окна. Ко мне подошел Гэутэгын и спросил:

— Слушай, а почему эти бельгийцы говорят между собой по-французски?

— Потому, что они с юга.

— Ну так что?

— Ну, а на юге Бельгии все говорят по-французски. Бельгийского языка вообще не существует.

— Ты уверен?

— Спроси у них, если не веришь. На юге говорят по-французски, а на севере — по-фламандски.

— По-фламандски?

— Да. Это что-то вроде голландского.

— Нет, они говорили по-французски.

— Ну, значит, они из южной Бельгии. Льеж — это, кажется, на юге.

Гэутэгын засмеялся:

— Я почти всё понял. Они, видишь ли, говорили про нас. Даже неловко.

— Пусть им самим будет неловко. Мы ведь при них по-чукотски не разговариваем.

— Нет, я не про то. Я про то, как они восхищались.

— Неужели? Что же они говорили? Удивлялись, что чукчи похожи на людей?

— Нет, они уже, кажется, не делают никаких скидок на это. Просто говорили, что мы славные ребята. Профессор даже сказал, что променял бы на нас десяток своих льежских студентов.

— Вот оно как?!

— Да. Что-то в этом роде, если только я правильно понял. У них произношение совсем не такое, как у нашей университетской «француженки». . . Послушай, что ты им рассказывал про северный факультет?

— Только то, что я занимаюсь там. А что?

— Он, видишь ли, всё-таки высказал такое предположение. . . Ну, что на северном будто бы пониженные требования. Понимаешь? «Наверно, — говорит, — там и программа специальная». Облегченная будто бы.

— Ага! А ты что ответил?

— Так ведь это они между собой говорили. Я ведь не докладывал им, что понимаю.

— Да, да, я забыл. Удивительно, как это ты сдержался! Уж ты-то здесь совсем зря пострадал.

Дело в том, что Гэутэгын учился не на северном факультете. Он тогда кончал математический. А спутники наши, видимо, считали, что чукчам до «настоящих» факультетов не дотянуть, что для чукчей и других северян создан специальный северный факультет — полегче, подоступнее якобы.

В тот день мы не говорили на эту тему с нашими соседями, а на следующий день я стал расспрашивать профессора о Льежском университете и кстати рассказал кое-что о Ленинградском. Рассказал, в частности, что на нашем факультете учатся не только представители народов Крайнего Севера, но и другие студенты, — все, которые интересуются северной филологией. Упомянул о том, что бывает и обратное: многие северяне учатся на других факультетах, если избирают другую специальность. Вот, например, Гэутэгын учится на математическом. . .

— О! — профессор посмотрел на Гэутэгына с уваже-

нием. — Вы сразу выросли в моих глазах. Сам я всегда был очень слабый в математике. Это моя... Как это сказать?.. Это моя ахиллесова пятка... Ты слышишь, Клодин, мсье Гэутэгын, оказывается, математик! А ну-ка, мсье студент, показывайте ваш матрикул. Какие есть ваши успехи?

Это было, конечно, наполовину шуткой, но в то же время это, видимо, было желанием проверить мои слова. Гэутэгын достал зачетную книжку. Профессор Леерлинк стал перелистывать ее, восхищенно показывая жене растопыренную пятерню: «Отлично! Отлично! Опять отлично!»

В тот же вечер мы разговорились о Хабаровске. Я вспомнил, что в Хабаровском музее есть несколько работ моего земляка, знаменитого костореза Гэмауге. Жена профессора стала записывать в свой блокнотик имя костореза, чтобы обязательно посмотреть его работы. Но она сбилась, записывая непривычное ей имя по-французски. А Гэутэгын, сидевший с ней рядом, заметил это и стал диктовать по буквам. Он называл каждую букву ее французским наименованием. Госпожа Леерлинк записала, а потом тихо спросила:

— Значит, вы знаете французский?

— О нет, — смутился Гэутэгын, — совсем слабо.

— Не надо скромничать, — сказал профессор. — Я и дел матрикул. Французский — отлично.

И он снова выразительно растопырил свою пятерню.

Жена его густо покраснела и улыбнулась, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. Но она всё-таки рассмеялась, и мы сделали то же самое, потому что всем было немного неловко. Профессор присоединился к нам последним — вначале он никак не мог понять, почему мы смеемся. Зато потом он еще долго повторял: «Ай-ай-ай! Ведь мы говорили при вас так, как будто были только вдвоем!».

* * *

Байкал покориł наших соседей сказочной своей красотой. Да и сами мы, уже не в первый раз проезжавшие по его берегам, не могли оторваться от окон. Отроги гор, прорезанные бесконечными тоннелями, волны, играющие под легким ветром, парусные лодки среди волн, далекие горные хребты... Вода подступала к самой насыпи. На одной из станций молодой офицер, ехавший в соседнем купе,

взял у проводницы ведро, сбежал с насыпи и зачерпнул байкальской воды. Ее пил весь вагон. То из одного, то из другого купе доносилась старая песня: «Славное море, священный Байкал. . .» Профессор Леерлинк пил байкальскую воду, пытался подпевать, на станциях покупал у рыбаков-бурят копченых омулей, записывал в свой дневник текст песни о Байкале и, дойдя до слов о ветре «баргузине», спрашивал: «Кто такой Баргузин?» А жена его смотрела в окно и вздыхала: «Сюда бы на всё лето приехать, с мольбертом!»

Теперь Хабаровск был уже недалеко, наше совместное путешествие подходило к концу. Профессор предложил нам попозировать его жене — им хотелось бы иметь на память хотя бы карандашные портреты. Отказываться не было никаких оснований, а с другой стороны, немного корбила мысль о том, что попадешь в коллекцию диковинок. «Олени, знаете, моржи, чукчи». Гэутэгын сказал:

— Пожалуйста. Но только при одном условии. Если вы, в свою очередь, разрешите сфотографировать вас. На память.

Он достал из чемодана свой «фэд» и на станции, со странным названием «Ерофей Павлович», сфотографировал их в пристанционном скверике.

Потом мы позировали госпоже Леерлинк. Минут на тридцать каждый из нас должен был превратиться в истукана. Пока я позировал, Гэутэгын изображал в лицах, как госпожа Леерлинк будет показывать наши портреты своим льежским знакомым, как она будет сопровождать это рассказами о прогулках на оленях, об охоте на белых медведей. . .

— Но все наши друзья, — смеялась она, — все они знают, что мы не собирались ехать за Полярный круг! Самая северная точка на весь наш маршрут есть Ленинград!

— Это неважно. Вы могли передумать. Вас могли уговорить двое молодых чукчей, с которыми вы познакомились в поезде Москва — Хабаровск. А потом, — совершенно серьезно добавил Гэутэгын, — один из этих чукчей подарил вам на память комнатную нерпу.

— Гости будут требовать! Где же тот нерпа?

— Скажите, что на обратном пути она затосковала по Северу, заболела и умерла. Пришлось сделать из нее меховую жилетку. А жилетку из перпичьего меха вы можете

приобрести в Хабаровске и показывать ее своим гостям. Только не забудьте спороть фабричную марку.

Гэутэгын, видимо, совсем уже привык к нашим соседям, он балагурил так, как будто был в студенческом общестии, среди своих ребят. Он смешил нас, но, если я начинал смеяться, госпожа Леерлинк заявляла, что так позировать нельзя, — у нее ничего не получится. Однако портреты получились, и довольно похожие, по-моему.

* * *

В последний день, уже перед самым Хабаровском, профессор и Гэутэгын не удержались и снова заспорили. На этот раз они не сошлись во взглядах на групповой брак. Профессор утверждал, что исчезновение этого обычая, существовавшего на Чукотке вплоть до ее советизации, может носить только административный, только формальный характер.

— Перемены не происходят так быстро, — говорил он. — Особенно в такой области, как эта. Надо пройти много поколений. Дети... Как это говорят?... Дети падают недалеко от своей яблони. Надо, чтобы переменялось само понятие про любовь. Это не бывает в такой срок. Я не могу верить. Можно запретить групповой брак, нельзя научить чувствовать.

Гэутэгын терпеливо заверял профессора, что чукчи прежде «умели чувствовать», что на Чукотке понят о любви примерно такое же, как и в других местах. С доказывал, что групповой брак отмер просто потому, что изменился весь общественный строй, а формы брака, как известно, тесно связаны со всей жизнью общества... Словом, он знакомил профессора с довольно простыми истинами, а тот всё твердил:

— Нет, нет. Такие вещи не меняются за один раз. Не так скоро.

— Но кому же из нас это лучше известно, мсье профессор? Вам, который никогда не бывал севернее Ленинграда? Или всё-таки нам, которые выросли на Чукотке и знают, что этот обычай исчез вместе со множеством других пережитков родового строя? Вы говорите, что это произошло слишком быстро? Еще бы! Уж такая счастливая судьба выпала нашему народу. Ведь в том-то здесь и дело, что мы шагнули к социализму прямо от первобытности, из темноты самой дикой жизни. Шагнули, минуя

целые формации, в том числе и ту, в которой всё еще пребываете вы, мсье профессор!

Не знаю, чем кончился бы этот спор, если бы не вмешалась госпожа Леерлинка. Она заявила, что ничего не понимает в таких вещах, как общественные формации, но поскольку речь шла о любви, она готова взять на себя роль судьи. «Только женщины, — сказала она, — знают, что такое любовь».

Она сказала, что обычай группового брака несовместим с настоящим чувством. Мы полностью согласились с ней. Тогда она заявила, что этот обычай существовал на Чукотке потому, что у северян чувства вообще не такие горячие, как у южан.

— Не надо сердиться на меня, — сказала она, мило улыбаясь, — не надо обижаться на меня. Человек, который живет чересчур далеко... Холодно, кругом лед... человек там не может любить так пылко. Для этого надо другое сердце.

А поскольку Чукотка попрежнему находится на севере, то, по рассуждениям госпожи Леерлинка, выходило, что «Морис прав, — этот обычай никак невозможно уничтожить».

Такой вывод оказался неожиданным для самого профессора.

— Нет, Клодин, — сказал он, — я отказываюсь от такой поддержки. Север тут ни при чем. Групповой брак существовал когда-то даже под тропиками. Я говорил совсем не об этом.

А Гэутэгин, почему-то очень довольный, сказал:

— Раз уж мужчин вы лишили права судить о любви, то я сошлюсь на свидетельство двух молодых женщин. Одна из них провожала моего товарища еще в Ленинграде, а другая будет встречать меня в Анадыре. Уверяю вас, мадам, что обе они не согласились бы с вашим мнением о чувствах северян.

Кажется, это был последний спор. Уже видны были темные волны Амура, некоторые пассажиры уже продвигались к выходу мимо нашего купе. Пришло время простаться. Наши попутчики наговорили нам кучу любезностей; вполне, кажется, чистосердечных. Мы отвечали им тем же. Прежде чем запереть свой чемодан, я достал из него одну чукотскую книжку и, написав на обложке несколько слов, в которых выражал благодарность за при-

ятное соседство, подарил эту книжку профессору и его жене. Это были стихи Пушкина в моем переводе. Соседи, кажется, остались очень довольны таким подарком.

— Спасибо, — сказал профессор. — Это будет большая редкость в моей библиотеке. Я думаю, что во всей Бельгии это будет первая книжка на чукотском языке.

— И с авторской надписью! — горячо воскликнула его жена.

— Нет, — уточнил я, — только с надписью переводчика.

Мы с Гэутэгыном взяли свои чемоданы, еще раз пожали руки соседям и вышли в коридор, пообещав прислать им носильщика. Когда, выполнив это обещание, мы шли по перрону, Гэутэгын сказал:

— Вот видишь. А ты еще хотел сбежать в другое купе. Помнишь?

— Помню. А ты готов был совсем с ними разругаться из-за их тоски по шаманизму и прочего реакционно-эстетского бреда. Помнишь?

— Было такое дело. Виноват.

— То-то же. А, скажи, ты уверен, что они поняли всё, что ты пытался объяснить им за эти десять суток?

— Конечно, поняли. Если не всё, то, во всяком случае, многое. И то хорошо. Ты сам говорил, что надо учитывать, откуда они приехали. Как-никак, их страна отстала от нашей на целую историческую эпоху.

В это время я снова увидел их. Они садились в такси. Мы помахали друг другу руками.

Они поехали в гостиницу «Амур». На осмотр Хабаровска супруги Леерлинк собирались затратить три дня, после чего должны были самолетом вернуться в Москву, а из Москвы — к себе домой, в Льеж.

А мы сразу отправились в кассу. У нас еще в Ленинграде были взяты билеты до Владивостока, надо было закомпостировать их. Потом нам еще предстоял многодневный путь по Охотскому и Берингову морям. Гэутэгын направлен был на практику в Анадырь, а я с какой-нибудь оказией должен был поехать из Анадыря еще севернее — на побережье Чукотского моря, в свой родной поселок, в знаменитый охотничий колхоз «Утро». Туда, где живет мой отец, живут старый охотник Мэмыль, резчик Гэмауге, колхозный механик Кэлевги, Инрын, Кэнири, Гэмалькот. . . Мысленно я был уже с ними. Мысленно я шел по колхоз-

ной улице, видел в открытом окне школы учительницу Валентину Алексеевну и свою черноглазую сестренку Туар, отвечающую ей урок; в окне соседнего класса был виден мой старый приятель учитель Эйнес, что-то писавший на доске. А у самого берега, там, где волны намыывают гальку на влажный песок, трое молодых охотников — Унпэнэр, Ринтувги и еще кто-то — снаряжали вельбот, готовясь к очередному выходу в море.



О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Окошко	3
II. Люди с того берега	39
III. Тэгрынэ летит в Хабаровск	55
IV. Товарищи	75
V. Двадцать банок сгущенки	84
VI. Трубка мира	95
VII. Старый Мэмыль смеется последним	107
Разные люди	107
Имя человека	153
Судьба человека	190
VIII. Пять писем Вали Крамаренковой	219
IX. Последняя яранга	261
X. Из рассказов старого Мэмыля	276
На шхуне «Мэри Сайм»	276
Рождественская ночь	287
XI. Песня о двух ветрах	298
XII. Соседи на десять суток	329

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Окошко.	3
II. Люди с того берега.	39
III. Тэгрынэ летит в Хабаровск.	55
IV. Товарищи.	75
V. Двадцать банок сгущенки.	84
VI. Трубка мира.	95
VII. Старый Мэмыль смеется последним.	107
Разные люди.	107
Имя человека.	153
Судьба человека.	190
VIII. Пять писем Вали Крамаренковой.	219
IX. Последняя яранга.	261
X. Из рассказов старого Мэмыля.	276
На шхуне «Мэри Сайм».	276
Рождественская ночь.	287
XI. Песня о двух ветрах.	298
XII. Соседи на десять суток.	329

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о прочитанных книгах и пожелания об их содержании и оформлении.

*Укажите свой точный адрес и возраст.
Пишите по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.*

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Рытху. «Чукотская сага»

Ответственный редактор М. С. Довлатова. Художник-редактор Ю. Н. Киселев. Технический редактор З. П. Коренюк. Корректоры А. К. Петрова и И. П. Бунин. Подписано к набору 10/IV 1956 г. Подписано к печати 21/XII 1956 г. Формат 84 × 108^{1/2}. Печ. л. 22. Усл. п. л. 18,37. Уч.-изд. л. 18,16. Тираж 30 000 экз. М-34517. Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 383. 2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 7 р. 95 к.

**ПРОЧИТАЙ
КНИГИ ПИСАТЕЛЕЙ БРАТСКИХ НАРОДОВ СССР,
ИЗДАННЫЕ ДЕТГИЗОМ В 1955—1956 гг.**

АНАНЯН В. С. ПЛЕННИКИ БАРСОВА УЩЕЛЬЯ

М., 1956. 486 стр.

Повесть армянского писателя о приключениях ребят в горах Армении.

ГАМОЛКА Н. И. ЛЕТО В КАЛИНОВКЕ

М., 1956. 120 стр.

Повесть белорусского писателя о приключениях деревенских ребят, обнаруживших в озере затонувший катер.

ГУБАЙ Г. ДЕТИ КОЛХОЗА «ВАТАН»

М., 1955. 279 стр.

Татарский писатель Губай рассказывает в своей повести о пионерах-патриотах, помогавших во всем родному колхозу в годы Великой Отечественной войны.

ГУРУНЦ Л. К. ЗОЛОТОЕ УТРО

М., 1955. 455 стр.

Повесть о жизни азербайджанских детей во время 1-й мировой войны и в первые годы революции.

ЗБАНАЦКИЙ Ю. О. ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА

М., 1955. 168 стр.

Повесть украинского писателя о партизанах Украины в годы Отечественной войны.

ЗОРЬЯН С. Е. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

М., 1955. 382 стр.

Автобиографическая повесть известного армянского писателя о своих детских и юношеских годах, о сближении с революционной молодежью, которая боролась за лучшую жизнь для народа.

ИВАНЕНКО О. Д. ПУТИ ТАРАСА

М., 1955. 504 стр.

Повесть о жизни великого украинского поэта — Тараса Григорьевича Шевченко.

ЛЫНЬКОВ М. Т. МИКОЛКА-ПАРОВОЗ

М., 1955. 128 стр.

Повесть о приключениях мальчика в годы борьбы за советскую власть в Белоруссии в 1917—1918 гг.

НА БЕРЕГАХ АК-ИДЕЛИ

М., 1955. 351 стр.

Сборник рассказов и стихов башкирских писателей и поэтов о жизни пионеров и комсомольцев в городах и селах Башкирии.

СЛУЦКИС М. Г. ДОБРЫЙ ДОМ

М., 1955. 352 стр.

Повесть о ребятах одного детского дома в Литве в послевоенные годы, о верной дружбе и товариществе, возникшей в большой семье доброго дома.

ТАЛВИР А. У НАС НА БУЛЕ

М., 1956. 103 стр.

Повесть о детстве мальчиков чувашской деревни накануне 1-й мировой войны.

ТРУБЛАНИИ Н. П. ИЗБРАННОЕ

М., 1955. 359 стр.

В однотомнике украинского писателя помещены его приключенческие повести «Шхуна «Колумб» и «Лахтак» и рассказы о Заполярье.

УПИТ А. М. ДАЛЬНИЕ ДОРОГИ

М., 1955. 248 стр.

В этот сборник вошли рассказы известного советского писателя Латвии, написанные им для детей. Среди них — маленькая повесть «Поездка Вильнита на восток» — о латышском мальчике, который во время эвакуации в 1941 году отстал от родителей и, благодаря заботе советских людей, снова попал в свою семью.

ЦВИРКА П. К. САХАРНЫЕ БАРАШКИ

М., 1955. 207 стр.

Рассказы известного литовского писателя о жизни в старой литовской деревне и о новой жизни в Советской Литве.

ЦИРУЛИС Г. и ИМЕРМАНИС А. СОКРОВИЩЕ ШЕСТОГО КЛАССА

М., 1955. 183 стр.

Повесть латышских писателей о шестиклассниках — собирателях почтовых марок.

ШЛЯХУ С. ТОВАРИЩ ВАНЯ

М., 1955. 192 стр.

Герои повести — участники подпольной партизанской борьбы против фашистов в Молдавии в годы Великой Отечественной войны.